



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





11178



Korolenko, V. G.

Владиміръ Короленко.

ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ.

КНИГА ВТОРАЯ.

1) Рѣка играетъ.—2) На затмѣніи.—3)
Ать-Даванъ.—4) Черкесъ.—5) За иконой.—
6) Ночью.—7) Тѣни.—8) Судный день (Юмъ-
кипуръ).

Издание редакціи журнала „Русская Мысль“.



МОСКВА.



Типо-лит. Высочайше утв. Товар. И. Н. Кушнеревъ и №,
Пименовская ул., собственный домъ.

1893.



P63467

26/15

1891

v2

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
Рѣка играетъ. (Эскизы изъ дорожнаго альбома).	1
На затменіи. (Очеркъ съ натуры).	43
Атъ-Даванъ. (Изъ сибирской жизни).	69
Черкесъ. (Очеркъ).	131
За иконой.	160
Ночью. (Очеркъ).	231
Тѣни. (Фантазія).	277
Судный день (Юмъ-кипуръ). (Малорусская сказка).	315

РѢКА ИГРАЕТЪ.

(Эскизы изъ дорожнаго альбома).

I.

Проснувшись, я долго не могъ сообразить, гдѣ я...

Надо мной разстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее бѣлое облако. Закинувъ нѣсколько голову, я могъ видѣть въ вышинѣ темную деревянную церковку, наивно глядѣвшую на меня изъ-за зеленыхъ деревьевъ, съ высокой кручи. Вправо, въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ меня, стоялъ какой-то незнакомый шалашъ, влѣво—сѣрый неуклюжій столбъ съ широкою досчатою крышей, съ кружкой и съ доской, на которой было написано:

„Пожертвуйте проходящѣи
на колоколо господне“.

А у самыхъ моихъ ногъ плескалась рѣка...

Этотъ-то плескъ и разбудилъ меня отъ сладкаго сна. Давно уже онъ прорывался къ моему сознанию безпокоющимъ шепотомъ, точно ласкающій, но вмѣстѣ безпо-

падный голосъ, который подымаетъ на зарѣ для неизбежнаго трудового дня. А вставать такъ не хочется...

И опять закрылъ глаза, чтобъ отдать себѣ, не двигаясь, отчетъ въ томъ, какъ это я очутился здѣсь, подъ открытымъ небомъ, на берегу плещущей рѣчки, въ сосѣдствѣ этого шалаша и этого столба съ простодушнымъ обращеніемъ къ проходящимъ.

Понемногу въ умѣ моемъ возстановились предшествующія обстоятельства. Предыдущія сутки я провелъ на „Святомъ озерѣ“, у невидимаго града Китежа, толкаясь между народомъ, слушая гнусавое пѣніе нищихъ-слѣпцовъ, останавливаясь у импровизованныхъ алтарей, подъ развѣсистыми деревьями, гдѣ безпоповцы, скитники и скитницы разныхъ толковъ пѣли свои службы, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ, въ густыхъ кучкахъ народа, кипѣли страстные религіозные споры. Ночь я простоялъ всю на ногахъ, сжатый въ густой толпѣ у старой часовни. Мнѣ вспомнились утомленные лица миссіонера и двухъ священниковъ, кучи книгъ на аналоѣ, огни восковыхъ свѣчей, при помощи которыхъ спорившіе разыскивали нужные тексты въ толстыхъ фоліантахъ, возбужденныя лица раскольниковъ и православныхъ, встрѣчавшихъ многоголосымъ говоромъ каждое удачное возраженіе. Вспомнилась старая часовня, съ раскрытыми дверями, въ которыя виднѣлись желтые огоньки у иконъ, между тѣмъ какъ по синему небу ясная луна тихо плыла и надъ часовней, и надъ темными, спокойно шептавшимися, деревьями. На зарѣ я съ трудомъ протолкался изъ толпы на свѣжій воздухъ и, усталый, съ го-

ловой отяжелѣвшей отъ безплодной схоластики этихъ споровъ, съ сердцемъ сжимавшимся отъ безотчетной тоски и разочарованія,—поплелся полевыми дорогами по направленію къ синей полосѣ приветлужскихъ лѣсовъ, вслѣдъ за вереницами расходившихся богомольцевъ. Тяжелыя, нерадостныя впечатлѣнія уносилъ я отъ береговъ Святого озера, отъ невидимаго, но страстно взыскуемаго народомъ града... Точно въ душномъ склепѣ, при тускломъ свѣтѣ угасающей лампадки провелъ я всю эту безсонную ночь, прислушиваясь, какъ гдѣ-то за стѣной кто-то читаетъ мѣрнымъ голосомъ заупокойныя молитвы надъ заснувшею на-вѣки народною мыслью.

Солнце встало уже надъ лѣсами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около 15 верстъ лѣсными тропами, вышелъ къ рѣкѣ и тотчасъ же свалился на песокъ, точно мертвый, отъ усталости и вынесенныхъ съ озера суровыхъ впечатлѣній.

Вспомнивъ, что я уже далеко отъ нихъ, я бодро отряхнулся отъ остатковъ дремоты и привсталъ на своемъ песчаномъ ложѣ.

II.

Дружескій шепотъ рѣки оказалъ мнѣ настоящую услугу. Когда, часа три назадъ, я укладывался на берегу, въ ожиданіи ветлужскаго парохода,—вода была далеко, за старою лодкой, которая лежала на берегу кверху днищемъ; теперь ее уже взмывало и покачивало при-

ливомъ. Вся рѣка торопилась куда-то, пѣнилась по всей своей ширинѣ и приплескивала почти къ самымъ моимъ ногамъ. Еще полчаса,—будь мой сонъ еще нѣсколько крѣпче,—и я очутился бы въ водѣ, какъ и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, выиграла. Нѣсколько дней назадъ шли сильные дожди; теперь изъ лѣсныхъ дебрей выкатился паводокъ, и вотъ рѣка вздулась, заливая свои веселые, зеленые берега. Рѣзвые струи бѣжали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бѣжали дальше, отчего по всей рѣкѣ, въ перегонку, неслись клочья желтовато-бѣлой пѣны. По берегамъ зеленый лопухъ, схваченный водою, тянулся изъ нея, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тѣмъ какъ въ нѣсколькихъ шагахъ, на большей глубинѣ, и лопухъ, и мать-мачиха, и вся зеленая братія стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивнякъ, съ зелеными нависшими вѣтвями, вздрагивалъ отъ ударовъ зыби.

На томъ берегу весело кудрявились ракита, молодой дубнячокъ и ветлы. За ними темныя ели рисовались зубчатою чертой; далѣе высились красивые осокори и величавыя сосны. Въ одномъ мѣстѣ, на вырубкѣ, бѣлѣли клади досокъ, свѣжіе бревна и срубы, а въ нѣсколькихъ саженьяхъ отъ нихъ торчала изъ воды верхушка затонувшихъ перевозныхъ мостковъ... И весь этотъ мирный пейзажъ на моихъ глазахъ какъ будто оживалъ, переполняясь шорохомъ, плескомъ и звономъ буйной рѣки. Плескались шаловливыя струи на стрежнѣ, звенѣла зыбь,

ударя въ борта старой лодки, а шорохъ стоялъ по всей рѣкѣ отъ лопавшихся то и дѣло пушистыхъ влочеви пѣны, или, — какъ ее называютъ на Ветлугѣ, — рѣчного „цвѣту“.

И казалось мнѣ, что все это когда-то я уже видѣлъ, что все это такое родное, близкое, знакомое: рѣка съ кудрявыми берегами, и простая сельская церковь надъ кручей, и шалашъ, и даже приглашеніе къ пожертвованію на „колоколо господне“, такими наивными каракулями глядѣвшее со столба...

Все это ужъ было когда-то,
Но только не помню когда...

невольно вспомнились мнѣ слова поэта.

III.

— Гляжу я, братецъ, вовсе тебя заплескивать рѣка-те. Это домой ходилъ. Иду назадъ, а самъ думаю: чай проходящаго-те у меня поняла ужъ Ветлуга. Крѣпко же спалъ ты, добрый человѣкъ!

Говорить сидящій у шалаша, на скамеечкѣ, мужикъ среднихъ лѣтъ, и звуки его голоса тоже мнѣ какъ-то пріятно знакомы. Голосъ басистый, грудной, немного осипшій, будто съ сильнаго похмѣлья, но въ немъ слышались ноты такія же непосредственныя и наивныя, какъ эта рѣка, и эта церковь, и этотъ столбъ, и на столбѣ надпись.

— И чего только дѣлаетъ, глади-ко-ся, чего только дѣлаетъ Ветлуга-те наша... Ахъ ты! Бѣды вѣдь это, право бѣды...

Это перевозчикъ Тюлинъ. Онъ сидитъ у своего шалаша, понутивъ голову и какъ-то весь опустившись. Одѣтъ онъ въ ситцевой грязной рубахѣ и синихъ пестрядиныхъ портахъ. На босу ногу надѣты старые отопки. Лицо молоджавое, почти безъ бороды и усовъ, съ выразительными чертами, на которыхъ очень ясно выдѣляется особая ветлужская складка, а теперь, кромѣ того, видна сосредоточенная угрюмость добродушнаго, но душевно угнетеннаго человѣка...

— Унесетъ лодку-те...—говоритъ онъ, не двигаясь и взглядомъ знатока изучая положеніе дѣла.—Безпремѣнно утащить!

— А тебѣ бы,—говорю я, разминаясь,—вытащить надо.

— Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь чего дѣлать, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагиваетъ, приподнимается, дѣлаетъ какое-то судорожное движеніе и опять безпомощно ложится по-прежнему.

— Тю-ю-ю-ли-йнь!—доносится съ другого берега призывный кличъ какого-то путника. На вырубѣ, у сѣзда къ рѣкѣ, виднѣется маленькая-маленькая лошадевка, и маленькій мужикъ, спустившись къ самой водѣ, отчаянно машетъ руками и вопить тончайшею фистулой:

— Тю-ю-ю-ли-йнь!...

Тюлинъ все съ тѣмъ же мрачнымъ видомъ смотреть на вздрагивающую лодку и качаетъ головой.

— Вишь, вишь ты—опять!... А вѣчѣръ еще, глѣко-ся, дальше мостковъ была вода-те... Погляди, за ночь чего еще надѣлать. Бѣды озорная рѣчушка! Это учнетъ играть, и учнетъ тебѣ играть, братецъ ты мой...

— Тю-ю-ю-ли-йнъ, лѣш-ша-ай!—звенить и обрывается на томъ берегу голосъ путника, но на Тюлина этотъ призывъ не производитъ ни малѣйшаго впечатлѣнія. Точно этотъ отчаянный вопль—такая же обычная принадлежность рѣки, какъ игривые всплески зыби, шелестъ деревьевъ и шорохъ рѣчного „цвѣту“.

— Тебя, вѣдь, это зовутъ,—говорю я Тюлину.

— Зовутъ,—отвѣчаетъ онъ невозмутимо, тѣмъ же философски-объективнымъ тономъ, какимъ говорилъ о лодкѣ и проказахъ рѣки.—Иванко, а Иванко! Иванко-о-о!

Иванко, свѣтловолосый парнишка лѣтъ десяти, вползаетъ червей подъ крутояромъ и такъ же мало обращаетъ вниманія на зовъ отца, какъ тотъ—на вопли мужика съ того берега.

Въ это время по крутой тропинкѣ отъ церкви спускается баба съ ребенкомъ на рукахъ. Ребенокъ кричитъ, завернутый съ головой въ тряпки. Другой—дѣвочка лѣтъ пяти—бѣжитъ рядомъ, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлинъ становится сразу какъ-то еще угрюмѣе и серьезнѣе.

— Баба идетъ,—говоритъ онъ мнѣ, глядя въ другую сторону.

— Ну?—говоритъ баба злобно, подходя вплотъ къ Тюлину и глядя на него презрительнымъ и сердитымъ взглядомъ. Отношенія, очевидно, опредѣлились уже давно:

для меня ясно, что безпечный Тюлинъ и озабоченная, усталая баба съ двумя дѣтьми—двѣ воюющія стороны.

— Чѣ еще нукашь? Что тебѣ, бабѣ, нужно? — спрашиваетъ Тюлинъ.

— Чѣ-инѣ, спрашиваѣтъ еще... Лодку давай! Чай черезъ рѣку ходу-то нѣту мнѣ, а то бы не стала съ тобой, съ путаникомъ, и баять...

— Ну-ну! — съ негодованіемъ возражаетъ перевозчикъ.—Что ты какъ сильна пришла. Разговаривашь...

— А что мнѣ не разговаривать! Залилъ шары-те... Чего только міръ смотритъ, пьяницы-те наши, давно бы тебя, нѣгодя пьянаго, съ перевозу шугнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

— Лодку? Эвонъ парень тебя перемахнетъ... Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-ѵ!... А вотъ я сейчасъ вицею его, подлеца, вытяну. Слышь, проходящій!...

Тюлинъ поворачивается ко мнѣ.

— Ну-ко ты мнѣ, проходящій, вицію дай, хар-ро-шую!

И онъ, съ тяжелымъ усиліемъ, дѣлаетъ видъ, что хочетъ приподняться. Иванко мгновенно кидается въ лодку и хватается весла.

— Двѣ копѣйки съ неѣ. Дѣвку такъ! — командуетъ Тюлинъ лѣниво и опять обращается ко мнѣ:

— Бѣда моя: голову всеѣ разломило.

— Тю-ю-ли-инъ! — стонетъ опять противоположный берегъ. — Перево-о-ѵзъ!...

— Тятка, а тятка! Паромъ кричатъ, вить, — говоритъ Иванко, у котораго, очевидно, явилась надежда на освобожденіе отъ обязанности везти бабу.

— Слышу. Давно ужъ зѣвать, — спокойно констатируетъ Тюлинъ. — Сговорись тамъ. Можетъ, еще и не надо ему... Можетъ, еще и не поѣдетъ... Отчего бы такое голову ломить? — обращается онъ опять ко мнѣ тономъ самаго трогательнаго довѣрія.

Угадать причину не трудно: отъ бѣдняги Тюлина водкой несетъ точно изъ полуштофа, и даже до меня, на разстояніи двухъ сажень, то и дѣло доносятся острые струйки перегару, смѣшивался съ запахомъ рѣки и береговой зелени.

— Кабы выпилъ я, — говоритъ Тюлинъ въ раздумьи, — а то не пилъ.

Голова его опускается еще ниже.

— Давно не пью я... Положимъ, вчера выпилъ...

И опять Тюлинъ погружается въ глубокое раздумье.

— Кабы много... Положимъ, довольно я выпилъ вчера... Такъ вѣдь сегодня не пилъ!

— Такъ это у тебя, видно, съ похмѣлья, — пробую я навести его догадливость на настоящую дорогу.

Тюлинъ смотритъ на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишненною основанія.

— Развѣ либо отъ этого. Ноньче немного же выпилъ я.

Пока, такимъ образомъ, Тюлинъ медленнымъ, мучительнымъ, но за то вѣрнымъ путемъ подходилъ къ истинной причинѣ своихъ страданій, — мужикъ на той сторонѣ окончательно лишился голоса.

— Тю-ю-ю... — чуть слышно летѣло оттуда, изъ-за пороха рѣчныхъ струекъ.

— Развѣ либо отъ этого. Это ты, братецъ, должно быть, вѣрно сказалъ. Пью я винище это, лакаю, братецъ, лакаю...

IV.

Между тѣмъ, тщетно вопившій мужикъ смолкаетъ и, оставивъ лошадь съ телѣгой на томъ берегу, переправляется къ намъ, вмѣстѣ съ Иванкомъ, для личныхъ переговоровъ. Къ удивленію моему онъ самымъ благодушнымъ образомъ здороваётся съ Тюлинымъ и садится рядомъ на скамейку. Онъ значительно старше Тюлина, у него сѣрая борода, голубые, выцвѣтшіе, какъ и у Тюлина, глаза, на головѣ грешневикъ, а на лицѣ, гдѣ-то около губъ, ютится та же ветлужская складка.

— Страдаешь?— спрашиваетъ онъ у перевозчика съ улыбкой почти сатирическою.

— Голову, братецъ, всеё разломило. И отъ чего бы?

— Винища поменьше пей.

— Развѣ либо отъ этого. Вотъ и проходящій то же баесть.

— А лодку у тея, гляди, унесетъ.

— Какъ не унести. Просто таки и унесетъ.

Оба смотрятъ нѣсколько времени, какъ вздрагиваетъ, точно въ агоніи, опрокинутая лодка.

— Давай паромъ, што ли,—ѣхать надо.

— Да тебѣ надо ли еще ѣхать-то? Чай въ Красиху пьянствовать?...

— А ты ужь нарисился...

— Выпито. Голову всеё разломило, бѣды! А ты, можеть, лучше не ѣзди.

— Чудакъ! Чай у меня дочь тамъ выдана. Звали къ празднику. И баба со мной.

— Ну, баба, такъ, стало-быть, не миновать, ѣхать видно. Э-эхъ, шестовъ нѣтъ!

— Какъ нѣтъ? Чѣ хлопашь зря? Эвона шесты-те!

— Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать видишь: приплескивать Ветлуга-те.

— А ты что же, чудакъ, шестовъ не запасъ, коли видишь, что приплескивать?... Иванко, сгоняй за шестами-те, парень.

— Сходилъ бы самъ, — говоритъ Тюлинъ. — Тяжело вить.

— Ты сходи, — твое дѣло!

— Не мнѣ ѣхать, — тебѣ!

И оба мужика, да и Иванко третій спокойно остаются на мѣстахъ.

— Ну-ко я его, подлеца, вицей вытяну... — опять произносить Тюлинъ, дѣлая новый опытъ примѣрнаго вставанья. — Проходящій, да-ко ты мнѣ вицю...

Иванко съ громкимъ, гнусавымъ ревомъ снимается съ мѣста и бѣжитъ трусцой на гору, къ селу.

— Не донесеть, — говоритъ мужикъ.

— Тяжело вить! — подтверждаетъ Тюлинъ.

— А ты бы добѣжалъ хоть встрѣчу-те, — совѣтуетъ мужикъ, глядя на усилія муравья Иванка, появляющагося на верху угора съ длинными шестами.

— И то хотѣлъ сказать тебѣ: добѣги-ко-сь.

Оба сидятъ и глядятъ.

— Естигнѣ-ѣ-ѣй! Лѣшай!...—слышится съ той стороны пронзительный и желчный бабій голосъ.

— Баба кричитъ,—говорить мужикъ съ нѣкоторымъ безпокойствомъ.

Тюлинъ сохраняетъ равнодушіе,—баба далеко.

— А какъ у меня меринъ сорвется, да мальчонку съ бабой ушибеть...—говоритъ Евстигнѣй.

— А рѣзва лошадь-то?

— Бѣды.

— Ну, такъ очень просто можетъ ушибить. Да ты бы, послушай, тово... назадъ бы. Что тебѣ ѣхать-то, какъ надобность?

— Ахъ, чудакъ! Да нешто не видишь: съ бабой собрался. Какъ можно, что не ѣхать!

Иванко, выбиваясь изъ силъ, приволакиваетъ наконецъ шести и съ ревомъ кидаетъ ихъ на берегъ. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.

— Эй, проходящій,—обращается онъ ко мнѣ какъ-то ободрительно. — Ну-ко, послушай, и ты съ нами на паромъ! А то, видишь вотъ, больно ужъ рѣка-те наша рѣзва.

Мы все взошли на скрипучій досчатый паромъ; Тюлинъ—последній. Повидимому, онъ размышлялъ нѣсколько секундъ, поддаваясь соблазну: ужъ не достаточно ли народу и безъ него. Однако, все-таки, взмошелъ, шлепая по водѣ, потомъ съ глубокою грустью посмотрѣлъ на колья, за которые были зачалены чалки, и сказалъ съ

кроткой укоризной, обращенною ко всѣмъ, кромѣ, конечно, его самого:

— Э-эхъ! Чалки-те, чалки никто и не отвязалъ. Н-ну!

— Да вѣдь ты, Тюлинъ, послѣдній взошелъ на паромъ. Тебѣ бы и надо отвязать,—протестую я.

Онъ не отвѣчаетъ, косвенно признавая, быть можетъ, всю справедливость этого замѣчанія, и такъ же лѣнливо, съ тою же безпросвѣтною скорбью, спускается въ воду, чтобъ отвязать чалки.

Паромъ заскрипѣлъ, закачался и поплылъ отъ берега. Перевозный шалашъ, опрокинутая лодка, холмикъ съ церковью—мгновенно, будто подхваченные невѣдомою силой, уносятся отъ насъ, а мысокъ съ зеленою подмытою ивой летитъ намъ на-встрѣчу. Тюлинъ поглядѣлъ на мелькающій берегъ, почесалъ густую шапку своихъ волосъ и пересталъ пихаться шестомъ.

— Несетъ, вить.

— Несетъ,—отвѣтилъ мужикъ, съ натугой налегая на чегенъ правымъ плечомъ.

— Пылео несетъ.

— Да ты что сталъ? Что не пхаешься?

— Поди пхнись. Съ лѣваго-те борту не маячить.

— Ну?

— То-то и ну!

Мужикъ ожесточенно сунулъ свой шестъ и чуть не бултыхнулся въ воду,—его чегенъ тоже не досталъ до дна. Евстигнѣй остановился и сказалъ выразительно:

— Подлецъ ты, Тюлинъ!

— Самъ такой! Пошто лаешься?

- За што тебѣ деньги плѣчены, подлая фигура!
— Поговори!
— Пошто длинныхъ шестовъ не завелъ?
— Заведѣны.
— Дагѣ што нѣту ихъ?
— Дома. Нешто мальчонко приволокѣтъ двадцати-то четвертей?
— Говорю: подлой ты человѣкъ!
— Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!
Спокойствіе Тюлина, видимо, смиряетъ возмущеннаго Евстигнѣя. Онъ спимаетъ грешневикъ и скребетъ голову.
— Куда-жь мы теперича? Къ Козьмѣ-Демьяну (въ Козьмодемьянскѣ) сплывемъ, аль ужъ какъ?...

V.

Дѣйствительно, рѣзвое теченіе, будто шутя и насмѣхаясь надъ нашимъ паромомъ, уноситъ неуклюжее сооруженіе все дальше и дальше. Кругомъ, обгоняя насъ, бѣгутъ, лопаются и пузырятся хлопья цвѣту. Передъ глазами мелькаетъ мысокъ съ подмытою ивой и остается назади. Назади, далеко, осталась вырубка съ новенькою избушкой изъ свѣжаго лѣсу, съ маленькою телѣгой, которая теперь стала еще меньше, и съ бабой, которая стоитъ на самомъ берегу, причить что-то и машетъ руками.

— Куда-жь мы теперича? Эхъ, бѣды, право бѣды,— безнадежно, глядя на бабу, говоритъ Евстигнѣй.

Положеніе, дѣйствительно, довольно критическое. Шесть уходитъ въ глубь не маяча, т.-е. не доставая дна.

Тюлинъ, не обращая вниманія на причитанья Евстигнѣя, серьезно смотритъ на рѣку. Для него опасность—всѣхъ больше, потому что придется непремѣнно подымать паромъ противъ теченія. Онъ, видимо, подтянулся, его взглядъ становится разумнѣе, тверже.

— Иванко, держи по плёсу!—командуетъ онъ сыну.

Мальчишка на этотъ разъ быстро исполняетъ приказъ.

— Садись въ гребі, Евстигнѣй.

— Да у тея еще есть ли гребі-то?—сомнѣвается тотъ.

— Поговори со мной!

На этотъ разъ слова Тюлина звучатъ такъ твердо, что Евстигнѣй покорно лѣзетъ съ помоста и прилагивается къ весламъ, которыя оказываются лежащими на днѣ.

— Проходящій, лѣзь и ты... въ тую-жь фигуру.

Я сажусь „въ тую-жь фигуру“, т.-е. къ правому веслу. Команда нашего судна, такимъ образомъ, готова. Иванко, на лицѣ котораго совершенно исчезло выраженіе нѣсколько гнусавой безпечности, смотритъ на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлинъ суетъ шесть въ воду и ободряетъ сына: „держи, Иванко, не зѣвай мотри“. На мое предложеніе—замѣнить мальчика у руля—онъ совершенно не обращаетъ вниманія. Очевидно, они полагаются другъ на друга.

Паромъ начинаетъ какъ-то вздрагивать... Вдругъ шесть Тюлина касается дна. Небольшой „огрудокъ“ даетъ возможность „пихаться“ на разстояніи десятка сажень.

— Вались на переваль, Иванко, вали-ись на переваль!—быстро командует Тюлинъ, ложась плечомъ на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянетъ руль на себя. Паромъ дѣлаетъ оборотъ, но вдругъ рулевое весло взмахиваетъ въ воздухѣ и Иванко падаетъ на дно. Судно „рыскнуло“, но черезъ секунду Иванко, со страхомъ глядя на отца, опять сидитъ на мѣстѣ.

— Крѣпѣ!—командуетъ Тюлинъ.

Иванко завязываетъ руль бичевкой, паромъ окончательно „ложится въ переваль“, мы налегаяемъ на весла. Тюлинъ могучимъ толчкомъ подаетъ паромъ на перерѣзъ, и черезъ нѣсколько мгновений мы ясно чувствуемъ ослабѣвшій напоръ воды. Паромъ „ходко“ подается вверх.

Глаза Иванка сверкаютъ отъ восторга. Евстигнѣй смотритъ на Тюлина съ видимымъ уваженіемъ:

— Эхъ, парень,—говоритъ онъ, мотая головой,—кабы на тебя да не винище,—цѣны бы не было. Винище тебя оманывать...

Но глаза Тюлина опять потухли и весь онъ размякъ.

— Гребѣ, гребѣ... Загребывай, проходящій, поглубже, не спи!—говоритъ онъ лѣнливо, а самъ вяло тычетъ шестомъ, съ разстановкой и съ прежнимъ уныло-апатичнымъ видомъ. По ходу парома мы чувствуемъ, что теперь его шесть мало помогаетъ нашимъ весламъ. Критическая минута, когда Тюлинъ былъ на высотѣ своего признаннаго перевозническаго таланта, миновала, и искра въ глазахъ Тюлина угасла вмѣстѣ съ опасностью.

Около двухъ часовъ поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлинъ не воспользовался послѣднимъ „огрудкомъ“,— паромъ унесло бы на прямой плёсъ, и его не достать бы оттуда въ двое сутокъ. Такъ какъ пристать въ обычномъ мѣстѣ было невозможно,—мостки давно затопило,—то Тюлинъ пристаётъ къ глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спускъ телѣги. Мы съ Евстигнѣемъ хлопочемъ около этого дѣла, Тюлинъ равнодушно смотритъ на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на вѣтеръ всѣ негодующія слова, сидитъ, не двигаясь, на возу, точно окаменѣлая, и старается не смотрѣть на насъ, какъ будто всѣ мы опостылѣли ей до самой послѣдней крайности. Она точно застыла въ своемъ злобномъ презрѣніи къ „негодямъ-мужикамъ“ и даже не даетъ себѣ труда сойти съ ребенкомъ съ телѣги.

Лошадь пугается, закидываетъ уши и пятится назадъ.

— Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, рѣзвую, по заду,—совѣтуетъ Тюлинъ, нѣсколько оживляясь.

Горячая лошадь подбираетъ задъ и прыгаетъ съ берега. Минута треска, стукотни и грохота, какъ будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась въ рѣку, изломавъ тонкую загородку, но, наконецъ, возъ установленъ на качающемся и дрожащемъ паромѣ.

— Что, цѣла?—спрашиваетъ Тюлинъ у Евстигнѣя, озабоченно разсматривающаго телѣгу.

— Цѣла!—съ радостнымъ изумленіемъ отвѣчаетъ тотъ.

Баба сидитъ какъ изваяніе.

— Ну?—недоумѣваетъ и Тюлинъ.—А думалъ я: безпремѣнно бы ей надо сломаться.

— И то... вишь, какъ крутоярина.

— Чѣ ино! Самая такъ круча, что ей бы сломаться надо. Э-эхъ, а чалки-те опять никто не отвязалъ!—кончасть Тюлинъ съ тою же унылою укоризной и лѣниво ступаетъ на берегъ, чтобъ отвязать чалки.—Ну, загребывай, проходящій, загребывай, не спи!

Черезъ полчаса тяжелой работы веслами, криковъ—„навались“, „ложись въ переваль“ и „крѣпнѣ“, мы, наконецъ, подходимъ къ шалашу. Съ меня потъ льетъ, отъ непривычки, градомъ.

— Проси съ Тюлина косушку,—говорить, полушутя, Евстагнѣй.

Но Тюлинъ, видимо, не расположенъ къ шуткамъ. Долговременное пребываніе на берегу безлюдной рѣки, продолжительныя унылыя размышленія о причинахъ никогда не прекращающейся тяжелой похмѣльной хворости—все это, очевидно, располагаетъ къ серьезному взгляду на вещи. Поэтому онъ уставился въ меня своими стеклянными глазами, въ которыхъ начинается медленно проблескивать что-то вродѣ глубокаго размышленія, и сказалъ радушно:

— Причалимъ,—поднесу... И не одну, слышь, поднесу,—добавляетъ онъ конфиденціально, понижая голосъ, причемъ въ лицѣ его явственно проступаетъ если не удовольствіе, то, во всякомъ случаѣ, мгновенное забвеніе тяжелыхъ похмѣльныхъ страданій...

А съ горы, по неудобной дорогѣ, уже сползаютъ два воза.

— Ъдутъ... — скорбно говоритъ перевозчикъ.

— Да еще, можетъ быть, не поѣдутъ, — утѣшаю я, — можетъ быть, у нихъ не важное дѣло.

Я иронизирую, но Тюлинъ не понимаетъ ироніи, быть можетъ, потому, что самъ онъ весь проникнутъ какимъ-то особеннымъ безсознательнымъ юморомъ. Онъ какъ будто раздѣляетъ его съ этими простодушными кудрявыми березками, съ этими корявыми ветлами, со взывавшею рѣкой, съ деревянною церковкой на пригоркѣ, съ надписью на столбѣ, со всею этой наивною ветлужскою природой, которая все улыбается мнѣ своей милой, простодушной и какъ будто давно знакомою улыбкой...

Какъ бы то ни было, но на мое насмѣшливое замѣчаніе Тюлинъ отвѣчаетъ совершенно серьезно:

— Ежели безъ товару, само собой обождутъ. Неужто повезу, — голову всеё разломило.

VI.

Парохода все нѣтъ. Говорятъ, за часъ до прихода онъ будетъ еще „кричать“ гдѣ-то, на одной изъ выше-лежащихъ пристаней, но когда, часа черезъ три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять къ берегу, — о немъ ничего неизвѣстно. Рѣка продолжаетъ играть и даже разыгралась совсѣмъ не на шутку. Тюлинъ тащится къ своему шалашу по колѣни въ водѣ, лѣниво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей травѣ; онъ весь мокрый, широкіе штаны липнуть

къ его ногамъ, мѣшая идти; сзади, на чалкѣ, тащится за Тюлинымъ давешняя старая лодка, которую, согласно предсказанію знатока-перевозчика, унесло-таки теченіемъ.

— Что, Тюлинъ, здоровъ ли?

— Слава Богу. Не крѣпко чтой-то. Давай на ту сторону поѣдемъ.

— Зачѣмъ?

— Вишь, склѣка вышла. Плоты Ивахински рѣка размѣтывать хочетъ.

— Тебѣ-то что же?... Развѣ забота?

— А гляди-ко, Ивахинъ четвертуху волокѣтъ. Да что четвертуха! Тутъ, братъ, и полуведромъ поступишься...

Къ берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лѣтъ сорока-пяти, въ костюмѣ деревенскаго торговца, съ острыми безпокойными глазами. Вѣтеръ развѣвалъ полы его чуйки, въ рукѣ сверкала посуда съ водкой. Подойдя къ намъ, онъ прямо обратился къ Тюлину:

— Что, приплескивать?

— Бѣда!—отвѣтилъ Тюлинъ.—Чай самъ видишь.

— А плотишки у меня поняла ужъ?

— Подхватывать, да еще не подъ силу. А гляди подыметъ. Лодку у меня даве слизнула,—въ силу, въ силу бѣгомъ догналъ за переплескомъ...

— Ну?

— То-то. Вишь вымокъ весь до нитки.

— Ахъ ты!—отчаянно сказалъ купецъ, ударивъ себя по бедру свободною рукой.—Не оглянешься,—плоты у

меня размечеть. Что убытку-то, что убытку! Ну, и подлець народъ у насъ живетъ!—обратился онъ ко мнѣ.

— Чего бы я напрасно лаялъ православныхъ,—заступился за своихъ Тюлинъ.—Чай, у васъ ряда была...

— Была.

— На песокъ возить?

— То-то, на песокъ.

— Ну-къ на песокъ и есть, не въ другимъ мѣстѣ.

— Да вѣдь, подлецы вы такіе, рѣка песокъ-то ужъ покрываетъ!

— Какъ не покрыть,—покроетъ. Къ утру, что есть, слѣду не оставить.

— Вотъ видишь! А имъ бы, подлецамъ, только пѣсни горланить. Ишь орутъ! Имъ горюшка мало, что хозяину убытокъ...

Оба смолели. Съ того берега, съ вырубки, отъ новаго домика неслись нестройныя пѣсни. Это артель васюхинцевъ куражилась надъ мелкимъ лѣсоторговцемъ-хозяиномъ. Вчера у нихъ былъ расчетъ, причемъ Ивахинъ обсчиталъ ихъ рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своихъ дѣтокъ и выиграла на руку артели. Теперь хозяинъ униженно кланялся, а артель не ломала шапокъ и куражилась.

— Ни за сто рублей! Узнаешь, какъ жить съ артелью! Мы тя научимъ...

Рѣка прибывала. Ивахинъ струсилъ. Кинувшись въ село, онъ наскоро добылъ четверть и поклонился артели. Онъ не ставилъ при этомъ никакихъ условій, не упоминалъ о плотахъ, а только кланялся и умолялъ, чтобы

артель не попомнила на немъ своей обиды и согласилась испить „даровую“.

— Да ты, такой-сякой, не финти,—говорили артельщики.—Не заманишь!

— Ни за сто рублей не пойдемъ въ рѣку.

— Пуцай она, матушка, порѣзвится, да поигра́тъ на своей волюшкѣ.

— Пуцай покида́тъ бревнушки, пуцай поразмечетъ. Поди собирай!

Но четверть все-таки выпили и завели пѣсни. Голоса неслись изъ-за рѣки нестройные, дикіе, разудалые, и въ нимъ примѣшивался плескъ и говоръ буйной рѣки.

— Важно поютъ!—сказалъ Тюлинь съ восторгомъ и завистью.

Ивахину, кажется, пѣсня нравилась меньше. Онъ слушалъ безпокойно, и глаза его смотрѣли растерянно и тоскливо. Пѣсня шумѣла бурей и, казалось, не обѣщала ничего хорошаго.

— Много ли не додалъ вчера? — спросилъ Тюлинь просто.

Ивахинъ почесался и, не отрывая безпокойнаго взгляда съ того мѣста, откуда неслись нестройные звуки, отвѣтилъ такъ же просто:

— Объ двухъ красныхъ спорили.

— Много же, мотри! Какъ бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположеніе не кажется ему невѣроятнымъ.

— Хошь бы плоть-те повыволокли,—сказалъ онъ съ глубокою тоской.

— Чать выволокутъ,—успокоилъ Тюлинъ.

— Поговори имъ,—зайскивающе сказалъ торговецъ.—
Молъ, болѣ не приплескивать, назадъ, молъ, къ ночи
пойдетъ.

Тюлинъ отвѣтилъ не сразу; взглядъ его приковался
къ посудинѣ и, помолчавъ, онъ сказалъ сластолюбиво:

— Другую четверть волокѣшь?

— Другую.

— Споешь и третью. Перевезти, что-ль?

— Вези!

Лодка была на срединѣ, когда ее замѣтили съ того
берега. Пѣсня сразу грянула еще сильнѣе, еще нестрой-
нѣе, отражаясь отъ зеленой стѣны крупнаго лѣса, къ
которому вплоть подошла вырубка. Черезъ нѣсколько
минуть, однако, пѣсня прекратилась, и съ вырубки слы-
шался только громкій и такой же нестройный говоръ.
Вскорѣ Ивахинъ опять стрѣлой летѣлъ къ нашему бе-
регу и опять устремился съ новою посудиною на ту сто-
рону. Лицо у него было злое, но, все-таки, въ глазахъ
проглядывала радость...

Къ закату солнца вся артель „убилась“ за ивахин-
скими плотами. Подъ звуки унылой дубинушки бревна
выкатывали на берегъ и руками втаскивали на подъемы.
Скоро весь ивахинскій лѣсъ высылся въ клады на кру-
тойрѣ, недоступный для шаловливой рѣки.

Потомъ опять загремѣла пѣсня. Мокрые, усталые
артельщики допивали послѣднюю четверть. Ивахинъ,
потный, злой, но, все-таки, еще болѣе довольный, пере-
правился въ послѣдній разъ на нашу сторону и умчал-

ся къ селу; вѣтеръ размахивалъ полами его сибирки, а въ обѣихъ рукахъ были посудины, на этотъ разъ пустыя.

Тюлинъ, еще болѣе унылый, провожалъ его долгимъ взглядомъ.

— Ну что, побили?—спросилъ я у него.

Онъ перевелъ взглядъ на меня и спросилъ:

— Кого?

— Да Ивахина.

— Нѣ,—что его бить...

Я съ удивленіемъ посмотрѣлъ на Тюлина, и въ моемъ умѣ блеснула внезапная и неожиданная догадка: фیزیономія Тюлина припухла, а подъ глазомъ стоялъ фонарь, очевидно, новѣйшаго происхожденія.

— Тюлинъ, голубчикъ!

— Ну, что?

— Отчего у тебя синякъ?

— Синякъ... Да отчего ему быть, синяку?

— Да вѣдь тебя, Тюлинъ, должно быть, били.

— Кто меня билъ?

— Артельщики.

Тюлинъ задумчиво смотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза и сказалъ:

— Развѣ-либо отъ этого.... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взглядъ на меня и во взглядѣ мелькающая догадка:

— Развѣ-либо не Парѣенъ ли это меня саданулъ?...

— Пожалуй, что и Парѣенъ,—опять помогаю я медленному процессу новаго приближенія къ истинѣ.

— Безпремѣнно Пароень. Такой, скажу тебѣ, вредный мужичишко,—завсегда наровить какъ бы вибудь чело-вѣка испортить...

Вопросъ оказался достаточно разъясненнымъ. Мнѣ, правда, очень хотѣлось еще разузнать, какимъ образомъ гнѣвъ артели такъ неожиданно измѣнилъ свое направле-ніе, и артельная гроза, вмѣсто Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую фizioномію, но въ это время съ другого берега опять послышался призывъ:

— Тю-ю-юли-йнъ!...

Тюлинъ не повернулъ даже головы и лѣниво напра-вился къ шалашу, сказавъ мнѣ на ходу:

— Кличуть. Смахать бы тебѣ, а? Живымъ бы духомъ.

Но вдругъ онъ насторожился, повернулся и ожилъ. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разгля-дѣть красныя рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самымъ заманчивымъ образомъ махали руками.

— Зовутъ, вѣдь?—радостно сказалъ онъ, вопросительно глядя на меня.

— Разумѣется, зовутъ. Опять побьютъ, пожалуй...

— Нѣ,—што ты, Богъ съ тобой. Не можетъ быть! Угостить меня артели желательно, вотъ што!

И Тюлинъ съ удивительною живостью кинулся къ бе-регу. Связавъ зачѣмъ-то двѣ лодки,—носъ къ кормѣ,—онъ сѣлъ въ переднюю и быстро отпихнулся отъ берега, не оставивъ на этой сторонѣ ни одной.

VII.

Я понял эту невинную хитрость, когда услышалъ въ сумеркахъ скрипъ воза, съѣзжавшаго съ горы. Возъ неторопливо подъѣхалъ къ рѣкѣ. Лошадь фыркнула нѣсколько разъ и, откинувъ уши, уставилась съ удивленнымъ видомъ на измѣнившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

Отъ воза отдѣлился мужикъ, подошелъ къ самой водѣ, посмотрѣлъ, почесался и обратился ко мнѣ:

— Перевозчикъ гдѣ?

— Вонъ...— указалъ я на свѣтлую полосу, взрѣзавшую темную поверхность рѣки уже на серединѣ.

Онъ взглянулъ туда, опять помоталъ головой, прислушался къ пѣснямъ васюхинцевъ и сталъ поворачивать возъ.

— И подлый же мужичокъ здѣшній перевозчикъ живетъ,—сказалъ онъ, впрочемъ, довольно спокойно.—Гляди, вѣдь и лодки всѣ уволокъ... Всю ночь его теперь отсюда не достанешь.

Отведя лошадь, онъ подошелъ ко мнѣ и поклонился.

— Проходящіе будете?

— Проходящій.

— Не съ озера ли?

— Съ озера.

— Такъ. Много теперича народу идетъ. Завтра, что-есть, и то еще пойдутъ... Эхъ, какъ рѣка-то пылитъ, бѣда! Ежели, теперь, намъ съ вами на паромъ... да нѣтъ,

не управиться... Ночевать видно. А вы не къ пароходу ли?

— Къ пароходу.

— Ну, на зарѣ, раньше не будетъ. Ночевать, видно, и вамъ.

Онъ поставилъ за шалашомъ телѣгу и пустилъ на береговой откосъ стреноженную лошадь. Черезъ нѣсколько минутъ за шалашомъ закурился дымокъ.

Тюлинтъ, очевидно, приучилъ свою публику къ терпѣнію.

Солнце давно спряталось за горами и лѣсами, надъ Ветлугой опустились сумерки синіе, теплые, тихіе. Нашъ огонекъ разгорался, дымъ подымался прямо вверхъ. Было какъ-то даже странно это спокойствіе воздуха, на-ряду съ торопливымъ и буйнымъ движеніемъ на рѣкѣ, которая все продолжала приплескивать. Съ того берега все неслись пѣсни, и мнѣ казалось, что я различаю фистулу Тюлина въ общей разноголосицѣ. На одномъ изъ недалекихъ холмовъ, одинъ за другимъ, вспыхивали огни сосѣдней деревеньки. Днемъ я не замѣчалъ ея, — такъ ея сѣрыя избы и темныя крыши сливались съ общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивою стайкой огоньковъ на темной верхушкѣ холма и кое-гдѣ четырехугольники крышъ вырѣзались въ синевѣ неба.

Это деревня Соловьяха. Мой новый знакомый, отъ нечего дѣлать, рассказалъ мнѣ нѣкоторыя небезъинтересныя черты изъ жизни ея обитателей. Народъ въ Соловьяхъ живетъ предпріимчивый и гордый; въ окрестностяхъ они слыгутъ „воришканами“. Случилось разъ моему новому знакомому остановиться въ селѣ Благовѣщеніи, у дьячка.

Дѣло было зимой, къ вечеру. Сидятъ за столомъ. Вдругъ кто-то стукъ-стукъ въ оконце. Выглянулъ дьячокъ: стоитъ за окномъ Иванъ Семеновъ, сосѣдъ-старичокъ, и на ночь-легъ просится. „Да что ты, чай тебѣ до дому всего съ версту?“ — „Съ версту, молъ, съ версту, да мимо Соловьиhi идти. Какъ бы опять къ пролуби не свели“.

Оказалось, что между этимъ старичкомъ и соловьи-хинцами установились совершенно своеобразныя отно-шенія. Какъ только старикъ разживется деньгами, такъ непремѣнно напьется на селѣ, а какъ напьется, такъ и начнетъ хвастать: имѣю у себя „катеньку“ въ карманѣ. Пойдетъ послѣ этого домой,—его соловьихинцы и перей-мутъ на рѣкѣ, да прямо къ проруби.

— Хошь въ пролубь?

Ну, разумѣется, не хочетъ. Они и не неволятъ,—от-дай только имъ „катеньку“. Онъ отдаетъ,—дѣлать не-чего. Они опять:

— Хошь въ пролубь?

— Не желаю, братцы.

— Такъ никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

— Не скажу!

— Заклянись!

— Чтобъ мнѣ, говорить, на симъ мѣстѣ провалиться, коли скажу единой душѣ.

И не говоритъ. Сколько разъ этакъ его ловили,—на-доѣло ему, пересталъ вечеромъ мимо Соловьиhi ходить, особенно когда выпивши, а не сказалъ никому. „Водилъ, говорить, къ пролуби соловьихинцы“, а кто именно,—ни за что не скажетъ.

Послѣ этого разсказа я съ особымъ любопытствомъ взглянулъ на деревеньку „воришкановъ“. Ну гдѣ, думалось мнѣ, кромѣ Ветлуги, встрѣтите вы такую непосредственность и простоту приемовъ, и такое благородное довѣріе къ чужому слову, и такую простодушную увѣренность въ возможности „провалиться на симъ мѣстѣ“, въ случаѣ нарушенія клятвы?... Мой новый знакомый, самъ „ветлугай“, увѣрялъ, что другой этакой деревни нѣтъ нигдѣ больше по всей рѣкѣ. Въ Марьинѣ промывали года три назадъ „красноярками“ *),—ну, это дѣло другое. А положите въ незапертой избѣ деньги и уходите на сутки,—никто не тронетъ.

— Какъ же, всетаки, соловыхинцы?

— Такой у нихъ, позвольте сказать, обычай...

Ну, гдѣ еще, думалось мнѣ опять, найдется такая терпимость къ чужимъ обычаямъ?... И огоньки Соловяхи мигали мнѣ привѣтливо и простодушно: „нигдѣ, нигдѣ“...

— Вотъ и у Тюлина,—сказалъ я, улыбаясь,—тоже обычай.

— Вѣрно! Подлецъ мужичокъ, будь онъ проклятъ! А и то надо сказать: дѣло свое знаетъ. Вотъ подойдетъ осень или опять весна: тутъ онъ себя покажетъ... Другому бы ни за что въ водополь съ перевозомъ не управиться. Для этого случаю больше и держимъ...

— Миръ бесѣдъ!

— Милости просимъ.

Къ нашему огоньку, съ берестяными кошолками за

*) „Красноярками“ называютъ фальшивыя „бумажки“.

спиной, съ посошками въ рукахъ, подошли два странника. Одинъ изъ нихъ, скинувъ котомку, внимательно поглянулъ на меня и сказалъ:

— Этого мы человѣка видѣли.

— Не мудрено,—отвѣтилъ я.

— На Люндѣ были?

— Былъ.

— Тамъ и видѣли. По усердію, или обѣтъ былъ данъ Владычицѣ?

— А вы?

— Мы къ празднику ходили, стало-быть къ сродникамъ.

— Что-жь, садитесь къ огоньку.

— Да намъ бы на перевозъ,—до дому недалече. Къ утру и дошелъ бы я.

— Да, на перевозъ!... — виѣшался мой знакомый.— Тюлинъ послѣднюю ладью уволѣкъ. На паромѣ развѣ?...

— Гдѣ!... Больно рѣка разыграла.

— Да и шестовъ длинныхъ нѣтъ.

Другой изъ новоприбывшихъ подошелъ усталымъ шагомъ къ берегу, и тотчасъ же надъ рѣкой раздалось громко, протяжно:

— Тю-ю-ли-йнъ!... Лодку дава-а-ай!...

Окликъ покатился по рѣкѣ, будто подхваченный быстрымъ теченіемъ. Игривая рѣка, казалось, несетъ его съ собой, перекидывая съ одной стороны на другую межъ заснувшими во мглѣ берегами. Отголоски убѣгали куда-то въ черную даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно,—такъ грустно, что, прислушавшись, странникъ не рѣшился въ другой разъ потревожить это отдаленное вечернее эхо.

— Шабашъ!—сказалъ онъ и, махнувъ рукой, вернулся къ нашему огоньку.

— А парню-то и до дому рукой подать,—сказалъ первый изъ моихъ знакомыхъ:—и всего-то версты четыре, изъ Песошной! Слыхали про песочинцевъ?—спросилъ онъ съ лукавою усмѣшкой.

— Нѣтъ, я въ здѣшнихъ мѣстахъ не бывалъ.

— У нихъ, у песочинцевъ, тоже опять свой нравъ. Что ни городъ, то, говорятъ люди, норовъ, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы,—я вотъ рассказывалъ,—любятъ такъ, чтобъ чужое взять, а ужъ песочинцы—тѣ свое бережъ мастера. Это, годовъ можетъ пять назадъ, пошли семеро песочинцевъ въ село Благовѣщеніе желѣзо чинить: лемехъ тамъ, сошники, серпы и прочее деревенское орудіе. Ну, починили, идутъ назадъ къ рѣкѣ и сумы съ желѣзомъ въ рукахъ несутъ. А рѣка, какъ вотъ и теперь же, приплескивать сильно, играетъ, да еще вѣтеръ по рѣкѣ ходитъ, волну раскачалъ. А лодка-то, извѣстно, верткая. „А что, братцы вы моё,—говоритъ одинъ:—какъ лодку у насъ кувырнетъ, вѣдь желѣзо-то, пожалуй, утопнетъ. Давай, робяты, кошели къ себѣ привяжемъ, кабы желѣзо не потопить“.—„И то, молъ, дѣло!“ Такъ и сдѣлали. Къ рѣкѣ шли,—желѣзо въ рукахъ несли; въ лодку садиться,—давай на себя навязывать. Выѣхали на середину, рѣка лодку-те и начини заливать, лодка и опрокинъся. Ну, желѣзо-то крѣпко къ спинамъ привязано,—не потерялось. Такъ вмѣстѣ съ желѣзомъ хозяевы ко дву и пошли, всѣ семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинецъ не возражалъ и при свѣтѣ огонька на всѣхъ трехъ лицахъ моихъ собесѣдниковъ лежала одна и та же добродушно-насмѣшливая улыбка, съ особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мнѣ Тюлина.

— Ну, а вы-то откуда?—спросилъ я у старика, который видѣлъ меня на Люндѣ.

— А я, господинъ, самъ по себѣ. Безъ роду-племени, бездомной человѣкъ, солдатская кость.

— А все-таки родомъ съ Ветлуги?

— Съ нее матушки. Не одну путину сгонялъ по ней смолоду. Да и послѣ царской службы вотъ ужъ пятнадцатый годъ на ней околачиваюсь.

Солдатскаго въ этомъ старикѣ было очень мало: только развѣ нѣкоторая спокойная увѣренность рѣчи, да еще старый засаленный картузь съ какими-то едва замѣтными кантами и большимъ надорваннымъ козыремъ. Изъ-подъ козыря глядѣли и искрились порой сѣрые глаза, а около усовъ ютилась чуть замѣтная улыбка. Голосъ у стараго солдата былъ очень пріятный, грудной, съ „перекатцемъ“, выдававшимъ прежняго лихого пѣсельника, но теперь уже значительно осипшимъ отъ старости, отъ рѣчной сырости, а можетъ и отъ „винища“. Какъ бы то ни было, слушать этотъ голосъ съ юмористическою ноткой и глядѣть на ветлужскую усмѣшку стараго солдата было очень пріятно, и я вспомнилъ теперь, что, дѣйствительно, мы встрѣчались съ нимъ на озерѣ. Въ разгаръ самаго горячаго спора на тему: „съ татемъ, съ разбойникомъ, колыми паче съ еретикомъ не общайся“,—когда обѣ стороны засыпали другъ друга текстами и разными тонко-

стями начетчицкой діалектики, — этотъ старичокъ, съ надорваннымъ козыремъ и искрящимися глазами, вынырнулъ внезапно въ самой серединѣ, испортилъ всю бесѣду, рассказавъ очень просто и безъ всякихъ текстовъ простой житейскій случай. Рассказъ произвелъ на большинство сильное отрезвляющее впечатлѣніе; начеткики отнеслись къ нему съ явнымъ пренебреженіемъ. Какъ бы то ни было, бесѣда была совершенно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть можетъ, не одно проснувшееся сомнѣніе...

— Помилуйте, бабій разговоръ, просторѣчіе!—сказалъ мнѣ съ неудовольствіемъ одинъ изъ начетчиковъ.— Нешто это отъ писанія?

— Да это кто такой, не Ефимъ ли?—спросилъ другой, подошедшій къ концу разговора.

— Онъ.

— Пустой мужичонко, ветлугай. Въ работникахъ у насъ живалъ. Да что онъ можетъ?... Писанія не знаетъ, евангеліе одно читалъ...--И говорившій махнулъ рукой.

Ефимъ-ветлугай только улыбался своею особенной улыбкой, неизвѣстно къ чему относящеюся: къ предмету ли разговора, къ слушателямъ, или, быть можетъ, къ самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточкѣ... Какъ бы то ни было,—мнѣ казалось, что въ рассказѣ ветлугая я слышалъ первое еще на Свѣтлоярѣ живое слово.

Теперь мы опять завели разговоръ на ту же тему: о Люндѣ, о Свѣтлоярѣ и Китежѣ, объ уреневцахъ. Сре-

ди многочисленныхъ и разновѣрныхъ группъ, собирающихся на Свѣтлоярѣ, приносящихъ туда каждая свои книги, свои папѣвы и свою вѣру, въ особенности выдѣляются уреневскіе пачетчики, устраивающіе каждый годъ свой импровизованный алтарь подъ однимъ и тѣмъ же старымъ дубомъ, на склонѣ холма. Въ то время, какъ около австрійскаго священника, въ полуманатейкѣ и съ длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десятокъ молящихся,—около уреневского дуба стоитъ тѣсная большая толпа. Меня поразили суровыя, надменные лица этихъ пачетчиковъ. Тутъ были женщины, въ темныхъ скитскихъ платьяхъ, какой-то очень длинный субъектъ съ рѣзкими чертами, молодой мальчишка съ сумой нищаго, съ лицомъ покрытымъ оспой, лохматый юродивый... Они читали и пѣли по очереди, однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притомъ не обращая вниманія на все окружающее. Между тѣмъ какъ представители другихъ толковъ охотно вступали въ споры,—уреневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсѣмъ не отвѣчали. Казалось, для нихъ во всемъ мірѣ не существовало уже ничего азслуживающаго хотя бы малѣйшаго снисхожденія, и вся святость сосредоточилась на этомъ небольшомъ островкѣ, занятомъ ихъ тѣсно сомкнувшимися „стриженными гуменцами“ и оглашаемомъ ихъ унылыми папѣвами.

— Очень ужъ высоко сами себя держать,—говорилъ Ефимъ.—Народъ, нечего сказать, просужій, трезвый народъ, а только нашему брату у нихъ неловко.

— Почему это?

— Тоскливо. Наша вѣра, прямо сказать, много веселѣе, — отвѣтилъ за Ефима хозяинъ воза.

Молчавшій до сихъ поръ песочинецъ при этихъ словахъ улыбнулся какъ-то весело и сказалъ:

— Бывалъ вѣдь я у нихъ. Больно, братцы, чудно!

— А что?

— Да такъ. Это нанялся я у нихъ зимусь къ одному: брусу изъ лѣсу выволоччи. Пріѣхали мы съ молодымъ хозяиномъ на моей лошади ночью. На-утро проснулся я, а темно еще, дѣло зимнее. Гляжу: старуха свѣтецъ за-свѣчаетъ, потомъ молящія хочетъ образамъ. Образы-то хорошіе, украшенныя. Ну, думаю, и мнѣ пора, помолюсь, дай-ка, и я, да лошадь пойду снаряжать. Лѣзу тихонько съ полатей, сталъ за ей, давай себѣ креститься. Какъ тутъ она и обернись. Увидѣла меня и руками замахала: „Ты, говоритъ, что это дѣлаешь?“ — „А что, молъ, — молящія было похотѣла“. — „Погоди“, говоритъ. — „Чего годить? — самая пора“. — „Погоди, молъ, послѣ“. Ну, послѣ, дакъ и послѣ, опять я полѣзу на полати. Отмолилась она, свѣчки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погода, старче съ печки лѣзетъ, свою икону тащить на божницу, свою и свѣчку зажигать. Я опять съ полатей. Думаю: теперь и мнѣ можно. Только нацѣлился лобъ перекрестить, — старичиха меня за руку лапъ! „Ты што это?“ — „Да я, молъ, было молящія цѣлился“. — „Погоди, говоритъ, — не годится тебѣ“. Вотъ оказія! Опять видно на полати лѣзть. Ну, чего будетъ!... Тутъ опять молодича слѣзаетъ, да съ молодымъ хозяиномъ въ боковушкѣ свѣчку затеплили. У тѣхъ иконъ нѣту, — одно распятіе. Я

живымъ духомъ къ нимъ, опять себѣ нацѣливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятіе помолюсь.

— Ну, допустили, что-ль?—спросилъ одинъ изъ заинтересованныхъ слушателей, видя, что рассказчикъ остановился.

— Нѣ! Што вы думаете?—и тутъ не допустили! Отмолились сами, потомъ зовутъ: теперь, говорить, иди, молись себѣ. Возшелъ я въ боковушку, а тамъ голыя стѣны. Они и распятіе-то уволокли... Ахъ ты, шутъ васъ задави! Что мнѣ тутъ съ вами грѣшить, думаю себѣ. Не надо! Я лучше, коли такъ, дорогой поѣду, на солнушко Господне помолюсь.

— Три вѣры въ одномъ дому!—замѣтилъ солдатъ.

— Три и есть. Обѣдать время пришло. Ну, посадили меня, добраго молодца, чесь-чесью. Опять старики съ дочкой вмѣстѣ, намъ съ молодымъ хозяиномъ на особицю, да еще, слышь, обоимъ чашки-те разныя. Тутъ ужъ мнѣ за бѣду стало. Ахъ вы, говорю, такіе не эдакіе. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете. „А потому, — старуха баетъ, — и бракуемъ, што онъ по Русѣ ходитъ, съ вашимъ братомъ, со всякимъ поганымъ народомъ нахлѣбается“... Вотъ и поди ты, какъ они объ насъ понимаютъ.

— Д-да,—подтвердилъ хозяинъ воза, лежавшій уже съ руками заложенными за голову.—Вишь ты, какѣ грозны живутъ... А сами-те, безстыдники! Тепериче у настъ, поблизу, въ деревнѣ два брата; одинъ, стало быть, въ солдаты ушелъ, другой его бабу къ себѣ взялъ. Это невѣству-то, стало быть, да еще чижолую. Другой со служ-

бы вернулся, тоже долго не думалъ: родну-те сестру прежней жены въ себѣ. Да слышь: два брата на двухъ сестрахъ женаты, да мальчонкѣ-то солдатъ и дядей роднымъ, да чуть ли и тятькой не приходится. Такъ вотъ этимъ не брезгаютъ. Охо-хо-хо... Не спать ли пора?..

Водворилось не надолго молчаніе.

— Смѣшица по Русѣ пошла,—раздался черезъ минуту простодушный голосъ песочинца.

— Давно ужъ это,—сказалъ, укладываваясь, солдатъ,—не со вчерашняго дни.

— Чѣ не давно? Вотъ теперича молоканá опять...

— Ну, эти иная статья, другого роду. Спи-ложись, пустого не бай!

Но песочинецъ, объятый размышленіемъ о „смѣшицѣ“, которая пошла „по святой Русѣ“, долго еще не могъ улечься. Онъ сидѣлъ, ковырялъ вѣткой въ огнѣ и, увидя, что я тоже еще не сплю, кивнулъ лукаво въ сторону Ефима и произнесъ:

— Особа статья, говорить... Чего не особа статья! Самъ съ ими водитца, богамъ нашимъ молитьца не сталъ, молоко по пятницамъ жретъ. Самъ видывалъ, а то бы и баять не надо...

И онъ тоже сталъ прилаживаться на песочкѣ.

VIII.

Я поднялся и посмотрѣлъ кругомъ.

Рѣка скрылась въ темной синевѣ вечера. Луна еще

не подымалась, звѣзды тихо, задумчиво мигали надъ Ветлугой. Берега стояли во мглѣ, неясные, таинственные, какъ будто прислушиваясь къ немолчному пороку все прибывающей рѣки. Поверхность ея была темна, не видно было даже „цвѣту“, только кое-гдѣ мерцали, растягивались и тотчасъ исчезали на бѣгущихъ струяхъ дрожащія отраженія звѣздъ, да порой игривая волна вскакивала на берегъ и бѣжала къ намъ, сверкая въ темнотѣ пѣной, точно животное, которое рѣзвится, пробѣгая мимо человѣка...

Артель все еще бушевала на другомъ берегу, но пѣсня, видимо, угасала, какъ нашъ костеръ, въ который никто не подбрасывалъ больше хворосту. Голосовъ становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уже удалая головушка полегла на вырубкѣ и въ кустарникахъ. Порой какой-нибудь дикій голосина выносился удалѣе и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальныхъ, и пѣсня гасла.

Я тоже улегся рядомъ со спящими ветлугаями, любуясь звѣзднымъ небомъ, начинавшимъ загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А съ горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый возъ, подходили пѣшеходы и, постоявъ на берегу, или безнадежно выкрикнувъ раза два лодку, безропотно присоединялись къ нашему табору, задержанному военною хитростью перевозчика Тюлина.

Огни въ деревушкѣ на холмѣ давно погасли одинъ за другимъ. Столбъ съ надписью то выдѣлялся, окрашенный огнемъ костра, то утопалъ въ темнотѣ.

Вдали, за рѣкой, запѣвалъ соловей.

— Перево-о́зъ!

— Перевозъ, перевозъ, перррево-о-о́зъ!

— Эй, перевоз-чикъ, живѣй—э-эй!

— Го-го-го-го-о-о!...

Громкіе крики, раздавшіеся шумно, внезапно, рѣзко и звонко, точно труба на зарѣ, разбудили меня и весь нашъ таборъ, пріютившійся у огонька. Крики наполнили, казалось, землю и небо, отдаваясь въ мирно-спавшихъ лощинахъ и заводяхъ Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинецъ, котораго вчера такъ сконфузилъ его собственный скромный окликъ заснувшей рѣки, теперь глядѣлъ съ какимъ-то испугомъ и спрашивалъ:

— Что такое? Съ нами крестная сила, что такое?

Начинало свѣтать, рѣка туманилась, нашъ костеръ потухъ. Въ сумеркахъ по берегу видѣлись странныя группы какихъ-то людей. Одни стояли вокругъ насъ, другіе у самой воды кричали перевозчика. Не вдалекѣ стояла телѣга, запряженная круглою сытою лошадей, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчасъ же узналъ уреневцевъ... Тутъ были и третьеводнешнія скитницы въ темныхъ одеждахъ, и длинный субъектъ съ мрачнымъ лицомъ, и рябой нищій, и лохматый „юродъ“, и еще какія-то личности въ томъ же родѣ.

Теперь они стояли вокругъ нашего, лежащаго въ повалку, табора, глядя на насъ съ безцеремоннымъ любо-

пытствомъ и явнымъ пренебреженіемъ. Мои спутники какъ-то сконфуженно пожимались и, въ свою очередь, глядѣли на новоприбывшихъ не безъ робости. Мнѣ почему-то вдругъ вспомнились англійскіе пуритане и индепенденты временъ Кромвеля. Вѣроятно, эти святые такъ же надменно смотрѣли на простодушныхъ грѣшниковъ своей страны, а тѣ отвѣчали имъ такими же сконфуженными и безотвѣтными взглядами...

— Эй вы, ветлугай-водохлѣбы! Гдѣ перевозчикъ?

— Перевозъ, перевозъ, перре-во-бъзъ!...

Можно было подумать, что цѣлая армія вторглась въ мирныя владѣнія безпечнаго перевозчика. Голоса уреневцевъ гремѣли и раскатывались надъ рѣкой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убѣгала отъ погрома, вся опять бѣлая отъ цвѣту. Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

— Ну-ка,—думалось мнѣ,—устоить ли и теперь тюлинскій стоицизмъ?

Къ моему удивленію, взглянувъ на рѣку, я увидѣлъ въ утренней мглѣ лодочку Тюлина уже на срединѣ. Очевидно, философъ-перевозчикъ тоже находился подъ обаяніемъ грозныхъ уреневскихъ богатырей и теперь гребъ изо всѣхъ силъ. Когда онъ присталъ къ берегу, то на лицѣ его виднѣлась сугубая угнетенность и похмѣльная скорбь; это не помѣшало ему, однако, быстро побѣжать на гору за длинными шестами.

Нашъ таборъ тоже зашевелился. Хозяева ночевавшихъ возовъ вели за чолки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станутъ дожидаться.

даться, и они опять останутся на жертву тюлинскаго самовластія...

Черезъ полчаса нагруженный паромъ отвалилъ отъ берега.

У потухшаго костра мы остались вдвоемъ съ Ефимомъ, который разгребалъ пальцами золу, чтобы закурить уголькомъ носогрѣйку.

— А вы что же не переправились заодно?

— Ну ихъ, не люблю, — отвѣтилъ онъ, раскуривая. — Мнѣ не къ спѣху, — пойду себѣ по росѣ... А вотъ вамъ такъ, пожалуй, пора собираться. Слышите: пароходъ сверху бѣжитъ.

Черезъ минуту и я могъ уже различить гулкіе удары пароходныхъ колесъ, а черезъ четверть часа надъ мысомъ появился бѣлый флагъ, и „Николай“ плавно выбѣжалъ на плѣсо, мигая блѣднѣющими на разсвѣтѣ огнями и ведя зачаленную сбоку большую баржу.

Солдатъ услужливо подалъ мня въ тюлинской лодочкѣ на бортъ парохода, и тотчасъ же самъ вынырнулъ въ ней изъ-за кормы, направляясь къ тому берегу, гдѣ грузный паромъ высаживалъ уреневцевъ.

Солнце давно золотило верхушки приветлужскихъ лѣсовъ, а я, бессонный, сидѣлъ на верхней палубѣ и любовался все новыми и новыми уголками, которые съ каждымъ поворотомъ щедро отрывала красавица-рѣка, еще окутанная кое-гдѣ синеватою мглою.

И я думалъ: отчего же это такъ тяжело было мнѣ тамъ, на озерѣ, среди книжныхъ народныхъ разговоровъ, среди „умственныхъ“ мужиковъ и начетчиковъ, и такъ

легко, такъ свободно на этой тихой рѣкѣ, съ этимъ стихійнымъ, безалабернымъ, распущеннымъ и вѣчно страждущимъ отъ похмѣльнаго недуга перевозчикомъ Тюлинымъ? Откуда это чувство тяготы и разочарованія съ одной стороны и такого облегченія съ другой? Отчего на меня, тоже книжнаго человѣка, отъ *тѣхъ* вѣтъ такимъ холодомъ, такою отчужденностью, а этотъ кажется такимъ близкимъ и такъ хорошо знакомымъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ

Все это ужъ было когда-то,
Но только не помню когда...

Милый Тюлинъ, милая, веселая, шаловливая, взывавшая Ветлуга! Гдѣ же это и когда я видѣлъ васъ раньше?

НА ЗАТМЕНИИ.

(Очеркъ съ натуры).

I.

Продолжительный пароходный свистокъ. Я просыпаюсь. За тонкою стѣнкой парохода вода, кинутая колесомъ на обратномъ ходу, плещеть, стучить и рокочеть. Свистокъ стонетъ сквозъ этотъ шумъ, будто издалека, жалобно, протяжно и грустно.

Да, я ѣду смотрѣть затменіе въ Юрьевецъ. Пароходъ долженъ былъ придти туда въ 2¹/₂ часа ночи. Я только недавно заснулъ и теперь уже надо вставать. Приходится ждать нѣсколько часовъ гдѣ-нибудь на пустой улицѣ, такъ какъ въ Юрьевцѣ гостиницъ нѣтъ.

Какова-то погода? Я гляжу изъ окна. Пароходъ уже остановился; волна, разбѣгаясь отъ бортовъ, чуть поблескиваетъ и теряется въ темнотѣ. Дальній берегъ чуть виденъ во мглѣ, небо покрыто тучами, въ окно вѣетъ сыростью,—предвѣстники не особенно благопріятные для наблюдений...

Кое-кто изъ пассажировъ подымается. Лица сонныя и не совсѣмъ довольныя. Между тѣмъ снаружи слышно движеніе, кинуты чалки на пристань. „Готово!“

Пока я собираюсь, одинъ изъ пассажировъ, по виду мелкій волжскій торговецъ, успѣлъ уже сбѣгать на пристань и вернуться на пароходъ. Онъ ѣдетъ до Рыбиска.

— Ну, что тамъ?—спрашиваетъ у него товарищъ, лежащій на скамьѣ, въ бархатномъ жилетѣ и косовороткѣ. Оба они не особенно вѣрятъ въ затменіе.

— Кто его знаетъ,—отвѣчаетъ спрошенный.—Дождикъ не дождикъ, такъ что-то. А на берегу, слышь, башня видна и на башнѣ остроумъ стоитъ.

— Ну?

— Ей-Богу! Поди хоть самъ посмотри.

Уже нѣсколько дней въ народѣ ходятъ толки о затменіи и о томъ, что въ Нижній съѣхались астрономы, которыхъ сѣрая публика зоветъ то „остроумами“, то „астроломами“. Слова эти часто слышны теперь на Волгѣ и звучатъ частію иронически („Иностранные остроумы! Больше Бога знаютъ...“), частію даже враждебно, какъ будто поднятая ими суета и непонятныя приготовленія сами по себѣ могутъ накликать грозное явленіе. Вчера съ вечера брошюра „о солнечномъ затменіи 7 августа 1887 года“ мелькала среди простой публики. Въ ней объяснялось, что такое затменіе и почему удобно наблюдать его, между прочимъ, изъ Юрьевца. Но большинство пассажировъ третьяго, а также значительная часть второго класса относилось къ ней сдержанно и даже съ оттѣнкомъ холодной вражды.

Люди же „старой вѣры“ избѣгали брать ее въ руки и предостерегали другихъ.

Я выхожу. Пристань стоитъ довольно далеко отъ берега. Съ нея кинуты жидкіе мостки, и ее качаетъ вѣтромъ, причемъ мостки жалобно скрипятъ, визжатъ и стонутъ. Нашъ пароходъ уйдетъ дальше, между тѣмъ небольшая комната на пристани полна. Сонные, усталые и какъ будто чѣмъ-то огорченные пассажиры все прибываютъ. Снаружи, вмѣстѣ съ вѣтромъ, въ лицо вѣетъ отсырю и по временамъ моросить. Пробираетъ ознобъ.

Городишко, растянувшійся подъ горой по правому берегу, мерцаетъ кое-гдѣ то бѣлою стѣной, то слабымъ огонькомъ, то силуэтомъ высокой колокольни, поднимающейся въ мгlistомъ воздухѣ ночи. Гора рисуется неопредѣленнымъ обрѣзомъ на облачномъ небѣ, покрывая весь пейзажъ угрюмою массой тѣни. На рѣкѣ, у такой же пристани, какъ наша, молчаливо стоитъ „Самолетъ“, который привезъ сюда экстреннымъ рейсомъ „ученыхъ“ изъ Нижняго, а за рѣкой, на луговой сторонѣ, догараетъ пожарище: съ вечера загорѣлся лѣсной складъ и теперь огонь, какъ бы насытившись и уставши за ночь, вьется низко надъ землей, то застилаясь дымомъ, то опять вставая острыми гребнями пламени. Дремота, ночь, плескъ рѣки, стонъ пристаней и мостковъ въ предутренней темнотѣ, отсвѣтъ пожара и ожиданіе необычайнаго событія— все это настраиваетъ воображеніе, и взглядъ мой невольно ищетъ башни съ стоящимъ на ней „астрономомъ“, хотя, впрочемъ, я отлично понимаю, что это нелѣпость, тѣмъ болѣе, что фигура на башнѣ рѣшительно не могла бы

быть видима въ такой темнотѣ. Однако, проходя по палубѣ, загроможденной рабочими, я слышалъ тѣ же разговоры; многіе вглядывались и видѣли: стоитъ на башнѣ и чего-то караулитъ среди ночныхъ тумановъ.

Вглядѣвшись, въ свою очередь, я различаю высокій контуръ, врѣзавшійся въ небо. Сильно подозреваю, что это труба завода, чтѣ и оказывается справедливымъ. Мои собесѣдники вспоминаютъ, что дѣйствительно въ этомъ мѣстѣ стоитъ всѣмъ хорошо знакомый заводъ. Легенда падаетъ.

Оказывается, что пароходъ еще постоитъ за темнотою; обрадованная и озябшая публика кидается опять въ каюты. Открываютъ буфетъ, заспанные лакеи бѣгаютъ съ чайниками и подносами. На палубѣ идетъ тихій говоръ, кое-гдѣ читаютъ молитвы и обсуждаютъ признаки пришествія антихриста... Одинъ изъ этихъ признаковъ имѣетъ чисто-мѣстный характеръ. Какой-то старикъ рассказываетъ слушателямъ, что въ Юрьевецъ пріѣхалъ нѣмецъ-остроумъ и склоняетъ на свою сторону народъ. Гришка съ заводу уже проданъ за 25 рублей...

— Да вѣдь это его въ караульщики наняли, къ трубамъ,—объясняетъ кто-то изъ темноты.

— Въ караульщики!... А крестъ да поясъ зачѣмъ приказалъ снять? Какъ это поймешь?...

Это, дѣйствительно, понять трудно. Среди собесѣдниковъ водворяется молчаніе.

Черезъ нѣкоторое время я взглядываю въ окно каюты: небо бѣлѣетъ, на немъ проступаютъ мгlistыя очертанія тучъ, ползущихъ отъ сѣвера къ югу.

II.

Часу въ четвертомъ мы сошли на берегъ и направились къ городу. Сѣрѣло, тучи не расходились. У пристаней грузными, темными пятнами стояли пароходы. На нихъ не замѣтно было никакого движенія. Только нашъ начиналъ „шуровать“, выпускалъ клубы чернаго дыма и тяжело сопѣлъ, лѣнливо собираясь въ ранній путь.

Берегъ былъ еще пустъ. Ночные сторожа одни смотрѣли на кучки невѣдомыхъ людей, проходившихъ вдоль береговыхъ улицъ,—смотрѣли они молчаливо, но съ какимъ-то угрюмымъ вниманіемъ. Они поставлены „для порядку“, а тутъ и въ природѣ готовится безпорядокъ, и невѣдомые люди ни вѣсть зачѣмъ спозаранку пробираются въ мирный и ни въ чемъ неповинный городъ.

— Дозвольте спросить,—обратился одинъ изъ стражей къ кучкѣ молодыхъ господъ, проходившихъ впереди меня.—Нешто, къ примѣру, въ другихъ городахъ этой планиды не будетъ? На насъ однихъ Господь посылаетъ?

Господа засмѣялись и пошли дальше. Сторожъ стоялъ, посмотрѣлъ намъ вслѣдъ долго, внимательно, раздумчиво, и вдругъ застучалъ трещоткой. Ему отозвались другіе, потомъ залаяли собаки. „Начальство дозволяетъ, не пустить этихъ полунощниковъ нельзя, а все-таки... поберегайся!“—вѣроятно, это именно хотѣлъ сказать юрьевчанинъ своею трещоткой, со времени Алексѣя Михайловича, а можетъ-быть еще и ранѣе предупреждавшею чутко спящій городокъ о лихой невзгодѣ, частенько-таки налетавшей по ночамъ съ матушки Волги.

И городокъ просыпается. Я нарочно свернулъ въ переулокъ, чтобы пройти по окраинѣ. Кое-гдѣ въ лачугахъ у подножія горы виднѣлись огоньки. Въ одномъ мѣстѣ слабо сіяла лампадка и какая-то фигура то падала къ полу, то опять подымалась, очевидно, встрѣчая день знаменія Господня молитвой. Въ двухъ-трехъ печахъ виднѣлось уже пламя.

Вотъ скрипнула одна калитка; изъ нея вышелъ древній старикъ съ большою сѣдою бородой, прислушался къ благовѣсту, посмотрѣлъ на меня, когда я проходилъ мимо, суровымъ, внимательнымъ взглядомъ и, повернувшись лицомъ къ востоку, гдѣ еще не всходило солнце, сталъ усердно креститься.

Открылась еще калитка. Маленькая старушка торопливо выбѣжала изъ нея, шарахнулась отъ меня въ сторону и скрылась подъ темною линіей забора.

— А, Семенычъ! Ты, что ли, это?—вскорѣ услышалъ я ея голосъ. — Правда ли, нынче будто къ ранней обѣднѣ пораньше ударять? Сказывали, до *этого* чтобъ отслужить... Батюшки-свѣты! Глянь-ко, Семенычъ, это кто по горѣ экую рань ходитъ?

Часть пароходной публики, вѣроятно отъ скуки, взобралась на гору. Фигуры рисуются на свѣтлѣющемъ небѣ рѣзко и странно. Одна, вѣроятно стоящая много ближе другихъ на какомъ-нибудь выступѣ, кажется неестественно громадною. Все это, въ ранній часъ этого утра, передъ затменіемъ, надъ испуганнымъ городомъ производитъ какое-то рѣзкое, волшебное, небывалое впечатлѣніе...

— Носить ихъ, супостатовъ!—угрюмо ворчить старикъ.—Пріѣзжіе надо быть...

— И то, сказывали вчера: на четырехъ пароходахъ иностранные народы пріѣдутъ. Къ чему это, родимый, какъ понимать?..

— Власть Господня,—угрюмо говоритъ Семенычъ и, не простившись, уходитъ къ себѣ. Старуха остается одна на пустой улицѣ.

— Господи-и-й батюшко!—слышу я жалостный, испуганный старческій голосъ, и торопливые шаги стихаютъ гдѣ-то въ тѣни по направленію къ церкви. Мнѣ становится искренно жаль и эту старушку, и Семеныча, и весь этотъ напуганный людъ. Шутка ли ждать черезъ часъ кончину міра! Сколько призрачныхъ страховъ носится еще въ этихъ сумеречныхъ туманахъ, такъ густо нависшихъ надъ нашею святою Русью!...

Въ окнѣ хибарки, только-что оставленной старушкой, мерцалъ огонекъ зажженной ею лампадки и пѣтухъ хрипло въ первый разъ прокричалъ свое кукареку, чуть слышное изъ-за стѣнки.

На святой Руси пѣтухи кричатъ,
Скоро будетъ день на святой Руси...

неизвѣстно откуда всплыло въ моей памяти прелестное двустипіе давно забытаго стихотворенія, отъ котораго такъ и дышетъ утромъ и разсвѣтомъ... „Охъ, скоро-ль будетъ день на святой Руси“,—подумалъ я невольно,—тотъ день, когда разсѣются призраки, недовѣріе, вражда и взаимныя недоразумѣнія между тѣми, кто смотритъ въ

трубы и изслѣдуетъ небо, и тѣми, кто только припадаетъ къ землѣ, а въ изслѣдованіи видитъ оскорбленіе грознаго Бога?...

III.

А вотъ и укрѣпленный лагерь „остроумовъ“.

На небольшомъ возвышеніи у берега Волги, по сосѣдству съ заводомъ, котораго высокая труба казалась намъ ранѣе башней, на скорую руку построены небольшіе балаганчики, обнесенные низко досчатою оградой. Въ оградѣ, на выровненной и утрамбованной площадкѣ, стоитъ мѣдная труба на штативѣ, — вѣроятно, секстантъ, установленный по меридіану. Изъ-подъ навѣса нацѣлились въ небо телескопы разнаго вида и разныхъ размѣровъ. Все это еще закрыто кожаными чехлами и имѣетъ видъ артиллеріи въ утро передъ боемъ. А вотъ и войско. Укрывшись шинелями, спитъ нѣсколько городскихъ и крестьянъ-караульных, „согнанныхъ“ изъ деревень. Какой-то бородатый высокій мужикъ важно рассказываетъ по площадкѣ. Это — главный караульщикъ, приставленный отъ завода, тотъ самый Гришка, который за 25 рублей согласился снять съ себя не только крестъ, но и поясъ, и такимъ образомъ пріобщился къ тайнамъ остроумовъ. Въ настоящую минуту, когда я подхожу къ этому мѣсту, онъ активно проявляетъ свою роль. Какой-то предприимчивый парень, прикинувшись спавшимъ за оградой, подползъ къ самой большой трубѣ и Гришка поймалъ

его подъ нею. Хотѣлъ ли онъ заглянуть въ закрытую чехломъ трубу, чтобы подглядѣть какую-нибудь невѣдомую тайну, или у него были другія намѣренія, но только Гришка горячился и покушался схватить его за ухо.

— Дяденька, да вѣдь я ничего...

— То-то ничего! Вотъ экого же дуrolома по-началу поставили,—онъ всѣ трубы свертѣлъ, полдня послѣ наставляли... Нешто можно касаться? Она, труба-те, не зря ставится.

Гришка видимо апеллируетъ къ публикѣ, сомкнувшейся около ограды и, быть можетъ, простоявшей здѣсь съ са-о вечера. Но публика не на его сторонѣ.

— Гдѣ ужъ зря!—вздыхаетъ кто-то.

— Не надо бы и ставить-то.

— Жили, слава-те Господи, безъ трубъ. Живы были.

Какой-то сѣрый старичишко выдѣляется изъ проходившей на фабрику кучки рабочихъ и подходитъ къ самой оградѣ.

— Здравствуй, Гриша!

— Здравствуй.

— Караулишь?

— Караулю.

— Та-а-акъ.

— Мнѣ что-ка не караулить,—вдругъ обижается Гриша,—ежели я хозяиномъ приставленъ.

— Нешто это дѣло хозяйское?

— Меня ежели приставили, я долженъ исполнять...

— Двадцать пять рублей, сказываютъ, дали... Не дешевенько ли, смотри!

— Ну, хоть и поменьше дадутъ, и на томъ спасибо. Да ты што?... Что тебѣ? Небось, самого къ бочкѣ приставили, два года караулилъ.

— Бочка... Вишь къ чему прировнялъ!—подхватываетъ кто-то въ публикѣ.

— Бочка много проще. Бочка, братъ, дѣло русское,—извить старикъ.—А это, вишь ты, штука мудреная, къ бочкѣ ее не приравниаешь...

Разговоръ становится болѣе общимъ и болѣе оживленнымъ.

— Осади, осади, отдай назадъ!—вмѣшиваются двое полицейскихъ, принимая сторону Гриши, и стѣной отѣсняють зѣвакъ. Толпа „отдаетъ назадъ“ и останавливается какъ-то пассивно въ томъ мѣстѣ, гдѣ ее оставляють полицейскіе. Ея настроеніе неопредѣленно. Фабричный—человѣкъ тертый. Онъ сомнѣвается и недоумѣваетъ, но свое опасеніе выражаетъ только колею на смѣшкой; ребятамъ и подросткамъ просто любопытно, а можетъ быть они уже кое-что слышали въ школѣ. Настоящій же страхъ и прямое нерасположеніе къ „ученымъ“ и „иностраннымъ народамъ“ заключились въ стѣнахъ этихъ избушекъ, по окраинамъ, гдѣ робко мерцають всю ночь лампадки... Говорили, что наканунѣ собирались было кое-кто разметать инструменты и прогнать остроумовъ, почему начальство и приняло свои мѣры.


IV.

Свѣтаетъ все болѣе. На востокъ стоятъ почти неподвижно густыя дальнія облака, залегшія надъ горизонтомъ. Повыше плывутъ темныя, но уже не такія тяжелыя тучи, а подъ ними, клубясь и быстро скользя по направленію къ югу, несутся невысоко надъ землей отдѣльные влочки утренняго тумана. Эти три слоя облаковъ то сгущаются, заволакивая небо, то разрѣжаются, обѣщая кое-гдѣ просвѣты.

Вотъ образовалась яркая щель, точно въ стѣнѣ темнаго сарая на разсвѣтѣ; нѣсколько лучей столбами прорвались въ нее, передвинулись радіусами и потухли. Но свѣтъ отъ нихъ остался. Рѣка еще болѣе поблѣдѣла, противоположный берегъ приблизился, и огонь пожара, лѣниво догаравшаго на той сторонѣ Волги, сталъ меркнуть: очевидно за дальнею тучей всходило солнце.

Я пошелъ вдоль волжскаго берега.

Небольшіе домишки, огороды, переулки, кончавшіеся на береговыхъ пескахъ,—все это выступаетъ яснѣе въ блѣсой утренней мглѣ. И всюду замѣтно робкое движеніе, чувствуется тревожная ночь, проведенная безъ сна. То скрипнетъ дверь, то тихо отворится калитка, то сгорбленная фигура плетется отъ дома къ дому по огородамъ. Въ одномъ мѣстѣ, на углу, прижавшись къ забору, стоятъ двѣ женщины. Одна смотритъ на востокъ слезящимися глазами и что-то тихо причитаетъ. Дряхлый старикъ, опираясь на палку, ковыляетъ изъ



переулка и молча присоединяется къ этой группѣ. Всѣ взгляды обращены туда, гдѣ за меланхолическою тучей предполагается солнце.

— Ну что, тетушка,—обращаюсь я къ плачущей,—затменіе ждете?

— Охъ, не говори, родимый, что и будетъ! Напуганы мы, милый, то-есть до того напуганы... Ноченьку всеѣ не спали.

— Чѣмъ же напуганы?

— Да все планидой этой.

Она поворачиваетъ ко мнѣ лицо, разбухшее отъ бессонницы и искаженное страхомъ. Воспаленные глаза смотрятъ съ отгѣвкомъ какой-то надежды на чужого человѣка, спокойно относящагося къ грозному явленію...

— Сказывали вотъ тоже: солнце съ другой стороны поднимется, земли будетъ трясеніе, люди не станутъ узнавать другъ дружку... А тамъ и міру скончаніе...

Она глядитъ то на меня, то на древняго старца, молчаливо стоящаго рядомъ, опираясь на посохъ. Онъ смотритъ изъ-подъ насушенныхъ бровей глубоко сидящими угрюмыми глазами, и я сильно подозреваю, что это онъ именно почерпнулъ эти мрачныя пророчества въ какой-нибудь древней книгѣ, въ изъѣденномъ молю кожаномъ переплетѣ. Половина пророчества не оправдалась: солнце поднялось въ обычномъ мѣстѣ. Старецъ молчитъ, и по его лицу трудно разобрать, доволенъ ли онъ, какъ и прочіе безхитростные люди, или быть можетъ онъ предпочелъ бы, чтобы солнце сошло съ предначертаннаго пути и міръ пошатнулся, лишь бы авторитетъ кожа-

наго переплета остался незыблемъ. Все время онъ стоялъ молча и затѣмъ молча же и удалился, не подѣлившись болѣе ни съ кѣмъ своей дряхлою думой...

— Полно-те,—успокоиваю я напуганныхъ до истерики женщинъ,—только и будетъ, что солнце затмится.

— А потомъ... Что же, опять покажется, или ужь... вовсе?...

— Конечно, опять покажется.

— И я думаю такъ, что пустяки говорятъ все,—замѣчаетъ другая, побойчѣе.—Планета, планета, а что-жъ такое? Все отъ Бога. Богъ захочетъ—и безъ планеты погибнемъ, а не захочетъ—и съ планетой живы останемся.

— Пожалуй, и пустое все, а страшно,—слезливо говоритъ опять первая.—Вотъ и солнышко въ своемъ мѣстѣ взошло, какъ и всегда, а все-таки же... Господи-и!.. Сердешное ты наше-её... На зорькѣ на самой не весело подымалось, а теперь, гляди, играетъ роди-и-и-мое...

Дѣйствительно, изъ-за тучи опять слабо, точно улыбка больного, брызнуло нѣсколько золотыхъ лучей, освѣтило какія-то туманныя формы въ облакахъ и потасло. Женщины умиленно смотрятъ туда, съ выраженіемъ какой-то особенной жалости къ солнцу, точно къ близкому существу, которому грозитъ опасность. А не вдалекѣ трубы и колеса стоятъ въ ожиданіи точно приготовленія къ опасной операціи...

V.

Я углубляюсь въ улицы сосѣднія съ площадью.

На перилахъ деревяннаго моста сидитъ бородатый и лохматый мѣщанинъ въ красной рубахѣ, задумчивый и хладнокровный. Передъ нимъ старецъ вродѣ того, котораго я видѣлъ на берегу, съ острыми глазами, сверкающими изъ-подъ совиныхъ бровей какою-то своей особенною, злобною думой. Онъ трясетъ бородой и говоритъ что-то сидящему на перилахъ великану, жестикулируетъ и волнуется. Такъ какъ въ это утро сразу какъ будто разрушились всѣ условныя перегородки, отдѣляющія въ обычное время знакомыхъ отъ незнакомыхъ, то я просто подхожу къ бесѣдующимъ, здороваюсь и перехожу къ злобѣ дня.

— Скоро начнется...

— Начнется!—вспыхиваетъ старикъ, точно его ужалило, и сѣдая борода трясется сильнѣе. — Чему начинаться-то? Еще можетъ ничего и не будетъ.

— Ну, ужъ будетъ-то будетъ навѣрное.

— Та-акъ!... А дозвольте спросить,—говоритъ онъ уже съ плохо сдерживаемымъ гнѣвомъ:—нешто можно вамъ власть Господнюю узнать?... Кому это Господь-батюшка откроетъ? Или ужъ такъ надо думать, что Господь съ вами о своемъ дѣлѣ совѣтъ держалъ?...

— Велико дѣло Господне!...—какъ-то „вообще“, груднымъ басомъ, произноситъ великанъ, глядя въ сторону.— Было, положимъ, въ пятьдесятъ въ первомъ году. Я маль-

чишкомъ былъ малымъ, а помню. Такъ будто затемнило, даже пѣтухи стали кричать, испужалась всякая тварь. Ну, только что, дѣйствительно, тогда никто впередъ не упреждалъ. Оно и того... оно и опять отъявилось. А теперь, вишь ты... Конечно, что... затѣи все...

— Д-да!—отчеканиваетъ старецъ рѣшительно и зло.— Власть Господнюю не узнать вамъ, это ужъ вы оставьте, дуракамъ говорите пожалуйста! „Затменіе, планета!“ Такъ вотъ по-вашему и будетъ...

Онъ смотритъ на берегъ, гдѣ устроены балаганы, искося и сердито. Однако, когда я направляюсь туда, оба они слѣдуютъ за мною, хотя и небрежно, очевидно только со злою цѣлю: посмотрѣть на глупыхъ людей, которые вѣрятъ пустякамъ, а можетъ быть, при случаѣ... Впрочемъ, команда полицейскихъ поднялась уже вся, человѣкъ десять. Они отряхнулись отъ сырости, откашливаются и оправляются, смыкаясь около батареи невѣдомыхъ инструментовъ, покрытыхъ холодною росой.

— Осади! Отдай назадъ, осади! — произносятъ они дружно, и голоса ихъ, еще отсырѣвшіе и нѣсколько хриплые, звучатъ, тѣмъ не менѣе, очень внушительно.

VI.

Къ балаганамъ подходятъ еще солдаты. Они уставляютъ ружья въ возлы и располагаются у входа за ограду. Другая полурота маршируетъ съ барабаннымъ боемъ и останавливается на берегу.

— Солдаты пришли,—шепчутъ въ толпѣ, которая теперь лѣпится по бокамъ холмика, заглядывая за ограду. Мальчишки шныряютъ въ разныхъ направленіяхъ съ безпечными, но заинтересованными лицами. Какой-то общительный немолодой господинъ раздаетъ желающимъ стеклышки, смазанныя желатиномъ (увы!—оказавшіяся негодными). Въ училищѣ, служащемъ временнымъ пріютомъ для пріѣзжихъ ученыхъ, открывается окно верхняго этажа и въ немъ появляется длинная трубка, нацѣлившаяся на небо... „Астрономы“ проходятъ одинъ за другимъ къ балагану. Старикъ-нѣмецъ несетъ инструменты, съ угрюмымъ и недовольнымъ видомъ поглядывая на небо. Онъ ни разу не взглянулъ на толпу... Онъ пріѣхалъ издалека нарочно для этого утра, и вотъ безтолковый русскій туманъ грозитъ отнять у него ученую жатву. Профессоръ недовольно ворчитъ, пока его умные глаза пытливо пробѣгаютъ по небу.

Впрочемъ, облака рѣдѣютъ. Вѣтеръ все гонитъ ихъ съ сѣвера; нижніе слои по-прежнему почти неподвижно лежатъ на горизонтѣ, но второй слой двигается теперь быстрѣе, расширяя все болѣе и болѣе просвѣты. Кое-гдѣ уже синѣетъ небо. Клочки ночного тумана проносятся рѣже и видимо таютъ. Солнце ныряетъ, то появляясь въ вышинѣ, то прячась.

Трубы установлены, съ балагановъ сняты брезенты, ученые пробуютъ инструменты. Лица ихъ проясняются вмѣстѣ съ небомъ. Холодная увѣренность этихъ приготовленій видимо импонируетъ толпѣ.

— Гляди-ко, бабушки, сама вертится!... — раздается вдруг удивленный голосъ.

Дѣйствительно, большая черная труба съ часовымъ механизмомъ, пущеннымъ въ ходъ, начинаетъ быстро поворачиваться на своихъ странныхъ ногахъ, точно невиданное животное изъ металла, пробужденное отъ долгаго сна. Ее останавливаютъ послѣ пробы, направляютъ на солнце и опять пускаютъ въ ходъ. Теперь она автоматически идетъ по кругу, тихо, внимательно, зорко слѣдя за солнцемъ въ его обычномъ мгlistомъ пути. Клапаны сами открываются и закрываются, зияя матово-черными краями. Нѣмецъ опять говорить что-то быстро, ворчливо и непонятно, будто читаетъ лекцію, или произносить заклинанія.

Толпа удивленно стихаетъ.

VII.

Минутная тишина. Вдругъ раздается звонкій ударъ маятника метронома, отбивающаго секунды.

— Часы бьютъ. Должно шесть часовъ.

— Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать,—нѣтъ, не часы... Что такое?!...

— Началось,—догадывается кто-то въ толпѣ, видя, что астрономы припали къ трубамъ.

— Вотъ-те и началось, ничего нѣту, — небрежно и увѣренно произноситъ вдругъ въ заднихъ рядахъ голосъ стараго скептика, котораго я видѣлъ на мосту.

Я вынимаю свое стекло съ самодѣльной ручкой. Оно производитъ нѣкоторую ироническую сенсацію, такъ какъ бумагу, которой оно обклеено, я прилѣпилъ къ ручкѣ сургучомъ.

— Вотъ такъ машина!—говоритъ кто-то изъ моихъ сосѣдей.—За семью печатами...

Я оглядываю свой инструментъ. Дѣйствительно, печатей оказывается ровно семь,—роковая цифра. Однако, некогда заниматься кабалистическими соображеніями, тѣмъ болѣе, что моя „машина“ служитъ отлично. Среди быстро пробѣгающихъ озаренныхъ облаковъ я вижу ясно очерченный солнечный кругъ. Съ правой стороны, сверху, онъ будто обрѣзанъ чуть замѣтно.

Минута молчанія.

— Ущербилось!—внятно раздается голосъ изъ толпы.

— Не толкуй пустого!—рѣзко обрываетъ старецъ.

Я нарочно подхожу къ нему и предлагаю посмотреть въ мое стекло. Онъ отворачивается съ отвращеніемъ.

— Старъ я, старъ въ ваше стекло глядѣть. Я его, родимое, и такъ вижу, и глазами. Вонъ оно въ своемъ видѣ.

Но вдругъ по лицу его пробѣгаетъ, точно судорога, не то испугъ, не то глубокое огорченіе.

— Господи, Иисусе Христе, Царица Небесная...

Солнце тонетъ на минуту въ широкомъ мгlistомъ пятнѣ и показывается изъ облака уже значительно ущербленнымъ. Теперь уже это видно простымъ глазомъ, чему помогаетъ тонкій паръ, который все еще курится въ воздухѣ, смягчая ослѣпительный блескъ.

Тишина. Кое-гдѣ слышно нервное тяжелое дыханіе, на фонѣ напряженного молчанія метрономъ отбиваетъ секунды металлическимъ звонкомъ, да нѣмецъ продолжаетъ говорить что-то непонятное, и его голосъ звучитъ какъ-то чуждо и странно. Я оглядываюсь. Старый скептикъ шагаетъ прочь быстрыми шагами, съ низко опущенною головой.

VIII.

Проходитъ полчаса. День сіяетъ почти все такъ же; облака закрываютъ и открываютъ солнце, теперь плывущее въ вышинѣ въ видѣ серпа. Какой-то мужичокъ „изъ-за Пучежа“ въѣзжаетъ на площадь, торопливо поворачиваетъ къ забору и начинаетъ выпрягать лошадь, какъ будто его внезапно застигла ночь и онъ собрался на ночлегъ. Подвязавъ лошадь къ возу, онъ растерянно смотритъ на холмъ съ инструментами, на толпу людей съ поблѣднѣвшими лицами, потомъ находитъ глазами церковь и начинаетъ креститься механически, сохраняя въ лицѣ все то же испуганно-вопросительное выраженіе.

Между тѣмъ мальчишки и подростки, разочаровавшись въ желатинныхъ стеклахъ, убѣгаютъ домой и оттуда возвращаются съ самодѣльными, наскоро закопченными стеклами, которыхъ теперь появляется много. Среди молодежи царятъ безпечное оживленіе и любопытство. Старики вздыхаютъ, старухи какъ-то истерически ахаютъ, а кто даже вскрикиваетъ и стонетъ, точно отъ сильной боли.

День начинается замѣтно блѣднѣть. Лица людей принимаютъ странный оттѣнокъ, тѣни человѣческихъ фигуръ лежатъ на землѣ блѣдныя, неясныя. Пароходъ, идущій внизъ, проплываетъ какимъ-то призракомъ. Его очертанія стали легче, потеряли опредѣленность красокъ. Количество свѣта видимо убываетъ; но такъ какъ нѣтъ сгущенныхъ тѣней вечера, нѣтъ игры отраженного въ низшихъ слояхъ атмосферы свѣта, то эти сумерки кажутся необычны и странны. Пейзажъ будто расплывается въ чемъ-то, трава теряетъ зелень, горы какъ бы липаются своей тяжелой плотности.

Однако, пока остается тонкій серповидный ободокъ солнца, все еще царитъ впечатлѣніе сильно поблѣднѣвшаго дня, и мнѣ казалось, что рассказы о темнотѣ во время затмѣній преувеличены. Неужели, думалось мнѣ, эта остающаяся еще ничтожная искорка солнца, горящая какъ послѣдняя, забытая свѣчка въ огромномъ мірѣ, такъ много значить?... Неужели, когда она потухнетъ, вдругъ должна наступить ночь?

Но вотъ эта искра исчезла. Она какъ-то порывисто, будто вырвавшись съ усиленіемъ изъ-за темной заслонки, сверкнула еще золотымъ брызгомъ и погасла. И вмѣстѣ съ этимъ пролилась на землю густая тьма. Я уловилъ мгновеніе, когда среди сумрака набѣжала полная тѣнь. Она появилась на югѣ и точно громадное покрывало быстро пролетѣла по горамъ, по рѣкѣ, по полямъ, обмахнувъ все небесное пространство, укутала насъ и въ одно мгновеніе сомкнулась на сѣверѣ. Я стоялъ теперь внизу, на береговой отмели, и оглянулся на толпу. Въ

ней царило гробовое молчаніе. Даже нѣмецъ смолкъ и только метрономъ отбивалъ металлическіе удары. Фигуры людей сливались въ одну темную массу, а огни пожара на той сторонѣ опять пріобрѣли прежнюю яркость...

Но это не была обыкновенная ночь. Было настолько свѣтло, что глазъ невольно искалъ серебристаго луннаго сіянія, пронизывающаго насквозь синюю тьму обычной ночи. Но нигдѣ не было сіянія, не было синевы. Казалось, тонкій, не различимый для глаза пепелъ рассыпался сверху надъ землею, или будто тончайшая и густая сѣтка повисла въ воздухѣ. А тамъ, гдѣ-то по бокамъ, въ верхнихъ слояхъ чувствуется озаренная воздушная даль, которая сквозитъ въ нашу тьму, смыкая тѣни, лишая темноту ея формы и густоты. И надъ всею смущенною природою чудною панорамой бѣгутъ тучи, а среди нихъ борьба... Круглое, темное, враждебное тѣло точно паукъ впилося въ яркое свѣтило, и они несутся вмѣстѣ въ заоблачной вышинѣ. Какое-то сіяніе, льющееся измѣнчивыми переливами изъ-за темнаго пятна, придаетъ зрѣлищу движеніе и жизнь, а облака еще усиливаютъ эту иллюзію своимъ тревожнымъ, безшумнымъ бѣгомъ.

— Владычице святая, Господь - батюшка, помилуй насъ грѣшныхъ!—говоритъ какая-то старушка и бѣжитъ съ холмика ко мнѣ на встрѣчу.

— Куда ты, тетка?...

— Домой, родимый, домой,—помирать, видно, всѣмъ, помирать съ дѣтками съ малыми...

Нѣсколько человѣкъ быстро идутъ вдоль берега; впе-

реди, размахивая руками и мрачно сдвинувъ брови, шагаетъ угрюмый атлетъ-рабочій.

— Нѣтъ, какъ онъ могъ узнать, вотъ что!—останавливается онъ вдругъ съ возбужденнымъ видомъ.—Говорили тогда ребята: раскидать надо ихнія трубы,—продолжаетъ онъ, обращаясь прямо ко мнѣ, такъ какъ я въ это время подошелъ къ этой взволнованной кучѣ.—Вишь нацѣпились въ Бога!... Отъ этого всей нашей странѣ можетъ гибель произойти. Шутка ли: Господь знаменіе посылаетъ, а они въ него трубами... А какъ Онъ, батюшка, прогнѣвается, да вдругъ сюда, въ это самое мѣсто полыхнетъ молоньей?...

— Да вѣдь это сейчасъ пройдетъ,—говорю я.

— Пройдетъ, говоришь? Должны мы живы остаться?—Онъ спрашиваетъ какъ человѣкъ, потерявшій планъ дѣйствій и тяготящійся ко всякому, рѣшительно высказываемому, убѣжденію.

— Конечно, пройдетъ, и даже очень скоро.

— А какъ?

Я смотрю на часы.

— Да, должно быть, менѣ минуты еще.

Всѣ мы стоимъ вмѣстѣ, поднявъ глаза къверху, туда, гдѣ все еще продолжается молчаливая борьба свѣта и тьмы. Вдругъ вверху, съ правой стороны, вспыхиваетъ искорка, и сразу, такъ же внезапно, какъ прежде онъ набѣжалъ на насъ, мракъ убѣгаетъ теперь къ сѣверу. Темное покрывало взметнулось гигантскимъ взмахомъ въ безпредѣльных пространствахъ, пробѣжало по волнистымъ очертаніямъ облаковъ и исчезло. Свѣтъ струится

теперь, послѣ темноты, еще ярче и веселѣе прежняго, разливаясь побѣднымъ сіяніемъ. Теперь появились опять тѣ же блѣдныя тѣни и странные цвѣта, но они производятъ другое впечатлѣніе: то было угасаніе и смерть, а теперь наступило возрожденіе...

IX.

Солнце, солнце!... Я не подозревалъ, что и на меня его новое появленіе произведетъ такое сильное, такое облегчающее, такое отрадное впечатлѣніе, близкое къ благоговѣнію, къ преклоненію, къ молитвѣ... Что это было: отзвукъ стараго, залегающаго въ далекихъ глубинахъ каждаго человѣческаго сердца, преклоненія передъ источникомъ свѣта, или, проще, я почувствовалъ въ эту минуту, что этотъ первый проблескъ прогналъ прочь густо столпившіеся призраки предразсудка, предубѣжденія, вражду этой толпы... Мелькнулъ свѣтъ—и мы стали опять братьями... Да, не знаю, что это было, но только и мой вздохъ присоединился къ общему облегченному вздоху толпы... Мрачный рабочій стоялъ съ поднятымъ вверхъ лицомъ, на которомъ разлилось отраженіе родившагося свѣта. Онъ улыбался.

— Ахъ ты...—повторилъ онъ совершенно съ другимъ, благодушнымъ выраженіемъ.—И до чего только народъ дошелъ. Н-ну!...

Конечъ страхамъ, конечъ озлобленію. Въ толпѣ говоръ и шумъ.

— Должны мы Господа благодарить... Дозволилъ намъ живымъ остаться Батюшка!...

— А еще хотѣли остроумовъ бить. То-то вотъ глупость...

— А развѣ правда, что хотѣли бить?—спрашиваю я, чувствуя, что теперь можно уже свободно говорить это, безъ прежней напряженной неловкости.

— Да вѣдь это что: отъ питія это, отъ виннаго. Пья непьючій мужичокъ первый и взбунтовался... Ну, да вѣдь ничего не вышло, слава-те Господи!

— А у насъ, братцы, мужики и безъ остроумовъ знали, что будетъ затменіе,—выступаетъ внезапно мужичокъ изъ-за Пучежа.—Ей-Богу... Потому старики учили: ежели, говорятъ, мѣсяцъ по зарямъ ходить,—непремѣнно къ затменію... Ну, только въ какой день,—этого не знали... Это, нечего говорить, было намъ неизвѣстно.

— А они, видишь, какъ рассчитали. Въ аккурать! Какъ ихній маятникъ ударилъ, тутъ и началось...

— Премудрость...

— Зачѣмъ и разумъ даденъ человѣку...

— Вишь и опять выиграло... Гляди, какъ разгорается!

— Сдвигается тьма-то!

— Теперь сползетъ небось!

— Сдвинется на сторону и шабашъ.

— И опять радуется всякая тварь...

— Слава Христу, опять живы мы...

— А что, господа, дозвольте спросить у васъ...— благодушно подходитъ въ это время кто-то къ самой оградѣ. Но ближайшій изъ наблюдателей нетерпѣливо машетъ рукой: онъ смотритъ и считаетъ секунды.

— Не мѣшай!—останавливаютъ изъ толпы.—Чего лѣзешь, не видишь, что ли?

— Отдай, отдай назадъ, осади!—вполголоса, но уже безъ всякой внушительности, произносятъ городовые. Солдаты, ружья къ ногѣ, носы кверху, съ наивною неподвижностью тоже слѣдятъ за солнцемъ. Гришз, торжествующій, смѣшался съ толпой и имѣетъ такой видъ, какъ будто готовъ принимать поздравленія съ благополучнымъ окончаніемъ важнаго дѣла. Астрономическая наука пріобрѣла въ его лицѣ ревностнаго адепта. Окруженный любопытными, отъ которыхъ еще недавно слышалъ язвительныя насмѣшки, онъ теперь объясняетъ имъ что-то очень авторитетно:

— Труба... она вещь не простая. Сдвинь ее, ужъ она не дѣйствуетъ. Она по звѣздѣ теперича ставится.

— Какъ можно сдвинуть, вещь понятная!—ласково и какъ будто заискивающе поддакиваютъ собесѣдники.

— Тонкая вещь!

— А не грѣхъ это, братцы?—раздается сзади нерѣшительный вопросъ, остающійся безъ отклика.

Солнце играетъ все сильнѣе; туманъ все болѣе и болѣе утончается и уже становится трудно глядѣть невооруженнымъ глазомъ на увеличивающійся серпъ солнца. Чирикаютъ примолкшія было птицы, луговая зелень на зарѣчной сторонѣ проступаетъ все ярче, облака разцвѣчиваются... Въ настроеніи толпы недовѣріе, вражда и страхи умчались куда-то далеко вмѣстѣ съ пеленой полной тѣни, улетѣвшей въ безпредѣльное пространство...

Я ищу старика-скептика. Его нигдѣ нѣтъ; окна во

многихъ домишкахъ, тщательно задернутыя занавѣсами, теперь открываются. Какая-то старушка робко открываетъ свою закупоренную хибарку, высовываетъ сначала голову, оглядывается вдоль улицы, потомъ выходить наружу. Къ ней подбѣжала дѣвочка лѣтъ двѣнадцати.

— Баушка, баушка, а я вотъ все видѣла!

— Ты зачѣмъ убѣжала, грѣховодница, когда я не приказывала тебѣ?...

Но дѣвочка не слушаетъ и продолжаетъ съ веселымъ возбужденіемъ:

— Все видѣла, какъ есть. И никакихъ страстей не было. По небу стрѣлы пошли и потомъ солнышко, слышь, темнѣить, темнѣи-и-ить...

— Ну?

— Ну, и все потемнѣло. Задернулось вотъ все одно... чугуннымъ листомъ. Ей-Богу правда, такъ вотъ за-слонка-те передъ солнцемъ и стоитъ. А потомъ съ другой-те стороны вдругъ прыснуло и пошло выходить, и пошло тебѣ выходить, и опять разсвѣтало.

Бабушка ворчитъ что-то, но старое брюзжаніе звучитъ уступчиво и тихо, а дѣтскій голосъ звенитъ съ молодымъ торжествомъ.

Мы сидѣли уже на пароходѣ, когда послѣдній слѣдъ затменія скользнулъ ни для кого уже незамѣтно съ просіявшаго солнечнаго диска.

Въ третьемъ классѣ въ публикѣ живо ходила по рукамъ брошюра: „О солнечномъ затменіи 7-го августа 1887 года“...

1887—92 гг.

АТЪ-ДАВАНЪ *).

(Изъ сибирской жизни).

I.

— Н-ну, ужь и дорогà!—сказалъ мой спутникъ, Михайло Ивановичъ Копыленковъ. — Самая это проклятая путина, хуже которой ужь и быть невозможно... Правду ли я говорю, ай нѣтъ?

Къ сожалѣнію, Михайло Ивановичъ говорилъ совершенную правду. Мы ѣхали внизъ по Ленѣ. По всей ширинѣ ея торчали въ разныхъ направленіяхъ огромныя льдины, по-мѣстному—„торосья“, которыя сердитая, быстрая рѣка швыряла осенью другъ на друга, въ борьбѣ со страшнымъ сибирскимъ морозомъ. Но морозъ, наконецъ, побѣдилъ. Рѣка застыла и только гигантскіе „торосья“, цѣлый хаосъ огромныхъ льдинъ, нагроможденныхъ въ безпорядкѣ другъ на друга, задавленныхъ внизу или кинутыхъ непонятнымъ образомъ кверху, остался безмолвнымъ свидѣтелемъ титанической борьбы, да кое-

*) Атъ-Даванъ—станція на Ленѣ, около 300 верстъ выше Якутска

гдѣ еще зіяли длинныя, никогда не замерзающія прогалыны, въ которыхъ прорывались и выпѣли быстрыя рѣчныя струи. Надъ ними тяжело колыхались холодныя клубы пара, точно въ полыньяхъ, дѣйствительно, былъ кипятокъ.

А съ обѣихъ сторонъ надъ этимъ причудливымъ ледянымъ полемъ стояли молчаливыя, огромныя Ленскія горы. Жидкая лиственъ цѣплялась по склонамъ, широко раскидывая корни, но камень не даетъ ей расти, и склоны устланы сплошь густою древесною падалью. Ближе вы видите трупы деревьевъ, запыленные снѣгомъ, съ вырванными изъ почвы, судорожно скрюченными корнями. Дальше эти подробности исчезаютъ, а къ вершинѣ горы склонъ покрытъ валежникомъ, точно густою сѣтью. Упавшія деревья кажутся безчисленными иглами, точно хвой въ сосновомъ лѣсу, а между ними еще живыя тянутся такія же прямыя, такія же тонкія и жалкія лиственницы, пытающія счастья надъ трупами предковъ. И только на ровной, будто обрѣзанной, вершинѣ лѣсъ сразу становится гуще и тянется длинною, темною траурною каймой надъ бѣлымъ скатомъ берега.

И такъ на десятки, на сотни верстъ. Цѣлую недѣлю уже нашъ возокъ ныряетъ жалкою точкой между торосьями, колыхаясь точно лодочка на бурномъ морѣ... Цѣлую недѣлю я гляжу на полосу блѣднаго неба межъ высокими берегами, на бѣлые склоны съ траурною каймой, на „пади“ (ущелья), таинственно выползающія откуда-то изъ тунгусскихъ пустынь на просторъ великой рѣки, на холодныя туманы, которые тянутся безъ конца,

свиваются, развертываются, тѣсняются на сжатыхъ скалами поворотахъ и безшумно втягиваются въ пасти ущелій, будто какая-то призрачная армія, расходящаяся на зимнія квартиры. Тишина томить душу. И только по временамъ по рѣкѣ ухнетъ вдругъ тяжелымъ стономъ треснувшій ледъ, зашипить, какъ пролетающее ядро, отдастся эхомъ, какъ пушечный выстрѣлъ, пронесется куда-то далеко, назадъ, въ оставленные нами пустынные извилины Лены, и долго еще звенить отголосками и умираетъ, пугая воображеніе причудливыми, внезапно воскресающими дальними стонами...

Мнѣ было грустно. Мой спутникъ томился и нервничалъ. Возокъ нашъ то и дѣло видало съ боку на бокъ и уже не разъ онъ опрокидывался совсѣмъ. При этомъ, къ великой досадѣ Михайла Ивановича, случалось все какъ-то такъ, что валились мы неизмѣнно въ его сторону. Это было естественно, но все же причиняло ему большое неудовольствіе. Однако, случись иначе, мнѣ грозила бы серьезная опасность, тѣмъ болѣе, что въ такихъ случаяхъ онъ, съ своей стороны, не дѣлалъ ни малѣйшихъ усилій. Только крикнетъ бывало и дѣловито обращается къ ямщику:

— Подымай!

Ямщикъ, какъ ни трудно, подымаетъ и мы ѣдемъ далѣе.

Мнѣ казалось, что уже мѣсяцъ отдѣляетъ меня отъ Якутска, изъ котораго мы выѣхали всего дней шесть назадъ, и чуть не цѣлая жизнь отъ ближайшей цѣли путешествія, Иркутска, до котораго осталось болѣе двухъ тысячъ верстъ.

Ѕдемъ мы тихо: сначала насъ держали неистовыя морозныя метели, теперь держитъ Михайло Ивановичъ. Дни коротки, но ночи свѣтлы, полная луна то и дѣло глядитъ сѣвось морозную мглу, да и лошади не могутъ сбиться съ проторенной „по торосу“ узкой дороги. И однако, сдѣлавъ станка два или три, мой спутникъ, купчина сырой и рыхлый, начинаетъ основательно разоблачаться передъ камелькомъ или желѣзною печкой, безъ церемоніи снимая съ себя лишнюю и даже вовсе не лишнюю одежду.

— Что вы, Михайло Иванычъ!—пытаюсь я протестовать въ такихъ случаяхъ.—Станокъ бы еще можно сегодня...

— Куда къ шуту торопиться-то,—отвѣчаетъ Михайло Ивановичъ.—Чайкомъ ополоснуть утробу-те, да на боковую.

Ѕсть, „полоскаться“ чаемъ и спать—все это Михайло Ивановичъ могъ производить въ размѣрахъ по-истинѣ изумительныхъ, и все это совершалъ тщательно, съ любовью, почти съ благоговѣніемъ.

Однако, кромѣ этого, у него были еще и другія соображенія:

— Народъ здѣсь, — говорилъ онъ таинственно, — на копѣйку до чрезвычайности, братецъ ты мой, жаденъ. Бѣдовый самый народъ, потому что золотомъ набалованъ.

— Ну, золото-то далеко, да и не слышно ничего такого о здѣшнихъ мѣстахъ.

— А вотъ, какъ насъ съ тобой ограбятъ, такъ и услышишь, да поздно... Чудакъ!—прибавлялъ онъ, быстро

впадая въ „сердце“,—какая это есть сторона, не знаешь, что ли? Это тебѣ не Рассей! Гора, да падь, да полынья, да пустыня... Самое гиблое мѣсто!

Вообще Михайлу Ивановичу „здѣшняя сторона“ не внушала ничего, кромѣ искренняго омерзѣнія и безглицности. Все здѣсь, начиная съ угрюмой природы и людей и кончая безсловесною тварью, не избѣгало съ его стороны самой придирчивой критики. Онъ зналъ только одно: здѣсь, если „пофартить“, можно скоро и крупно разжиться („въ день человѣкомъ сдѣлаешься“), и поэтому жилъ здѣсь уже нѣсколько лѣтъ, зорко выглядывая „случаю“ и стремясь неуклонно къ извѣстному „предѣлу“, послѣ котораго намѣревался вернуться „въ свою сторону“, куда-то къ Томску. Въ этомъ отношеніи онъ напоминалъ человѣка, которому за извѣстное вознагражденіе предложили пробѣжать голымъ по сильному морозу. Михайло Ивановичъ согласился, и вотъ теперь онъ бѣжитъ, ухая и пожимаясь, къ своему предѣлу. Только бы добѣжать, только бы схватить, а тамъ... пропадай хоть пропадомъ вся эта гиблая сторона,—Михайло Ивановичъ не пожалѣетъ.

Въ данное время, кажется, онъ уже значительно приблизился къ предѣлу и, быть можетъ, именно поэтому ужасно нервничалъ: а что, дескать, ежели именно теперь кто-нибудь у него схваченное-то и вырветъ?... Михайло Ивановичъ, о которомъ я слышалъ много разсказовъ, рекомендовавшихъ въ самомъ яркомъ свѣтѣ его предпріимчивость, доходившую до дерзости въ началѣ здѣшней карьеры,—теперь трусилъ, какъ баба, и мнѣ

по-неволѣ приходилось изъ-за этого проводить съ нимъ скучнѣйшіе вечера и долгія ночи на пустынныхъ станкахъ угрюмой и безлюдной Лены...

II.

Въ одинъ изъ такихъ морозныхъ вечеровъ я былъ разбуженъ испуганнымъ восклицаніемъ Михайла Ивановича. Оказалось, что мы оба заснули въ возкѣ и когда проснулись, то увидѣли себя на льду, подъ каменистымъ берегомъ, въ совершенно безлюдной мѣстности. Колокольчика не было слышно, возокъ стоялъ неподвижно, лошади были распряжены, ямщикъ исчезъ и Михайло Ивановичъ протиралъ глаза съ испугомъ и удивленіемъ.

Вскорѣ, однако, недоумѣніе наше разсѣялось. Я взглянулъ въ ровный каменный берегъ, уходявшій стѣной въ даль и искрившійся подъ лучами луны. Невдалекѣ тропинка исчезала въ разсѣлинахъ скалъ, а прямо надъ головой свѣсился высокій крестъ якутской могилы. Хотя могила на берегу, даже и совсѣмъ пустынномъ, не рѣдкость, такъ какъ якутъ старается лечь на вѣчный покой непремѣнно на возвышенности, у воды, въ такихъ мѣстахъ, гдѣ много дали и простора,—но все же я узналъ Атъ-Даванскую станцію, которую замѣтилъ уже въ первую свою поѣздку. Красный сланецъ, съ причудливыми слоями, напоминавшими какія-то невѣдомыя письмена, ровный, будто искусственно сложенный обрывъ, жидкія лиственицы, якутская могила съ крестомъ и срубомъ и, наконецъ, длинная пелена бѣлаго дыма,

тихо нависшая съ берега надъ рѣкой,—все это вспомнилось мнѣ сразу. Здѣсь нѣтъ вѣзда, берегъ представляетъ отвѣсную стѣну, и потому зимой сани оставляютъ на рѣкѣ, а лошадей приводятъ прямо на ледъ. Михайло Ивановичъ тоже скоро успокоился, тѣмъ болѣе, что на узкой тропинкѣ уже мелькали фонари.

Черезъ минуту мы были на верху, на станціи.

Маленькая станціонная комната была наполнена; отъ раскаленной желѣзной печки такъ и пыхало сухимъ жаромъ. Двѣ сальныя свѣчки, оплывшія отъ теплоты, освѣщали притязательную обстановку полуякутской постройки, обращенной въ станцію. Генералы и красавицы чередовались на стѣнахъ съ объявленіями почтового вѣдомства и патентами въ черныхъ рамахъ, сильно засиженныхъ мухами. Вся обстановка обнаруживала ясно, что станція кого-то ждала, и мы не имѣли основаній приписать всѣ эти приготовленія себѣ.

— Вотъ, братецъ ты мой, и чудесно!—радостно говорилъ Михайло Ивановичъ, принимаясь за перемены со всякою дорожною снѣдью.—Эка теплота-то благодатная! Тутъ ужъ, шабашъ, ночуемъ безпремѣнно. Эй, кто тамъ... писарь, что ли? Самоварчикъ бы намъ, да кипяточку для пельменей...

— Ну, нѣтъ, Михайло Ивапычъ,—попытался я,—еще рано. До N доѣдемъ, а тамъ и ночлежничать можно.

— Лошадей, милостивый государь, нѣтъ,—послышался зади меня дребезжащій, слащавый и какъ будто робѣющій голосъ.

Я оглянулся. Въ комнату входилъ небольшой круглый

человѣчекъ неопредѣлennaго возраста, одѣтый довольно оригинально. Кургузый сюртучокъ, клѣтчатыя панталоны, пивейный жилетъ, сорочка съ манжетами и даже старинною плойкой, цвѣтной галстукъ съ золотыми мухами по зеленому полю,—все это слегка уже полинявшее, слежалое, какъ будто надѣтое по случаю, напоминало о какихъ-то давно прошедшихъ временахъ. На ногахъ у вошедшаго были тяжелыя валенки, на-ряду съ которыми кургузый нѣмецкій костюмъ выглядѣлъ очень комично. Впрочемъ, маленькій человѣчекъ не сознавалъ, повидимому, этого контраста и выступалъ щеголевато мелкими, „щепоткими“ шагами.

Физиономія незнакомца, какъ и вся фигура, была какая-то сѣренькая, тоже какъ будто слегка подержанная или лежалая и теперь приглаженная и почищенная для случая. Въ улыбкѣ, въ сѣрыхъ глазахъ, въ тонѣ голоса замѣтна была претензія на нѣкоторую вультурность. Маленькій человѣчекъ какъ будто хотѣлъ показать, что онъ видалъ лучшіе дни, знаетъ „обращеніе“ и при другихъ обстоятельствахъ стоялъ бы съ нами на равной ногѣ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ какъ-то сжимался и робѣлъ, какъ будто его слишкомъ часто осаживали и онъ боялся того же отъ насъ.

— Какъ же нѣтъ лошадей,—возразилъ я, посмотрѣвъ въ книгу, выложенную, повидимому, недавно на видномъ мѣстѣ:—двѣ тройки должны быть на станціи.

— Такъ точно,—покорно отвѣтилъ онъ,—должны находиться. Только, собственно... какъ бы вамъ, милостивый государь, объяснить...

Онъ замаялся.

— Пожалѣйте меня, господа проѣзжающіе, не требуйте, — произнесъ онъ вдругъ чрезвычайно жалобнымъ и приниженно-просящимъ голосомъ.

— Но почему же это? — удивился я.

— Экіе вы, право! — съ неудовольствіемъ вмѣшался Михайло Ивановичъ, успѣвшій уже стащить съ себя даже брюки. — Почему, да почему? Ну, куда вы торопитесь? Дѣти у васъ, что ли, плачутъ?... Видишь, вѣдь, братецъ ты мой: человѣкъ слезно проситъ, — значитъ, причина!

— Такъ точно-съ, — обрадовался незнакомецъ и обратился къ Копыленкову съ сочувственною улыбкой, обдергивая полы своего пиджака, — такъ точно-съ, какъ вы изволили замѣтить: неужели безъ причины стану чинить господамъ проѣзжающимъ задержку? Никогда-съ!

Послѣднее слово онъ произнесъ какъ-то даже гордо, выпрямился при этомъ и обдернулъ пиджакъ.

— Ну, хорошо, — сказалъ я, сдаваясь тѣмъ охотнѣе, что понималъ невозможность вытянуть моего быстро разоблачившагося спутника изъ этой теплой комнаты на трескучій вечерній морозъ. — Но все же объясните вашу причину, если это не тайна?

Сочувственная улыбка озарила все лицо маленькаго человѣчка. Онъ увидѣлъ, что дѣло сладилось, и намѣревался отвѣтить мнѣ съ видимою благосклонностью, но вдругъ насторожился. Снаружи, сквозь трескъ желѣзной печурки, слышался звонъ.

Дверь отворилась, староста, полуякутъ по наружно-

сти, осторожно вошелъ въ комнату, тщательно заперъ дверь и сказалъ:

— Почта келле, Василь Спиридонычъ...

— А, почта, — успокоился старичокъ. — Ну, баръ-антахъ (ступай), чтобъ живо!... Сейчасъ иду, извините меня, почтенные господа...

Онъ вышелъ. Станція переполнилась движеніемъ. Хлопали двери, скрипѣли ступени, ямщики таскали баулы и сумки, суетливый звонъ уводимыхъ и перепрягаемыхъ троекъ тѣснился каждый разъ въ отворяемую дверь, ямщики кричали другъ на друга по-якутски и ругались на чистомъ русскомъ діалектѣ, доказывая этимъ свое руссійское происхожденіе...

III.

Черезъ нѣсколько минутъ въ комнату не вошелъ, а вбѣжалъ какой-то человекъ небольшого роста, въ сильно потертой казенной шинели, въ якутскомъ малахаѣ и обвязанный шарфомъ. Онъ вбѣжалъ такъ торопливо, какъ будто за нимъ кто гонится, и тотчасъ же направился къ желѣзной печкѣ.

Скинувъ шинель, онъ остался въ какой-то жиденькой шубкѣ, на кроличьемъ мѣху, сильно похожей на женскую кацавейку; когда же снялъ и шубку, то подъ ней оказался старый, изорванный подъ мышками мундиръ почтоваго вѣдомства.

Дѣйствительно, это былъ почталіонъ, такъ торопли-

во убѣгавшій отъ мороза, который на протяженіи длиннаго перегона видимо одержалъ надъ нимъ значительныя побѣды. Бѣдный молодой человѣкъ рвалъ съ себя настывшія одѣянія, какъ будто въ нихъ засѣлъ цѣлый рой пчелъ, и, не снимая еще малахая и шарфа, быстро скинулъ съ ногъ валенки, которыя и уложилъ подошвами къ печѣѣ. Святіе шарфа и малахая заняло болѣе времени. Якуты и карымы не носятъ бороды и усовъ. Это вошло уже въ эстетическія привычки, но объясняется чисто-климатическими условіями: бѣдняга-почталіонъ, повидимому, дорожилъ этими атрибутами, и теперь жидкая бородѣнка и такіе же усики, которыми онъ, быть можетъ, плѣнялъ гдѣ-нибудь въ Киренскѣ какую-нибудь заѣзжую невѣсту изъ семьи состоятельнаго поселенца,—превратились въ одну сосульку, плотно соединившую его голову съ малахаемъ и шарфомъ. Нужно было не мало времени, пока, наконецъ, представитель почтоваго вѣдомства, совавшій голову чуть не въ самое пламя и разминавшій льдины полузастывшими пальцами, предсталъ передъ нами въ своемъ настоящемъ видѣ: молодое, но значительно отекавшее лицо, безпокойные, но тусклые глаза, испуганная подвижность во всей фигурѣ, короткій и узкій мундиръ, лопнувшій по швамъ, и заячьи чулки на ногахъ.

— Че!—отряхнулся онъ.— Тымны берть, морозъ улаханъ (очень холодно, большой морозъ)... Позвольте рюмочку, господа!

— Угощайся, — отвѣтилъ Копыленковъ благодушно.— Несчастный ты самый человѣкъ.

Глаза молодого человѣка какъ-то опять испуганно заморгали. Холодное сожалѣніе купца только ярче напомнило ему холодъ дороги, и проглоченная рюмка пролетѣла будто льдинка. Вслѣдствіе этого, онъ налилъ другую и отправилъ ее вслѣдъ за первой. Только тогда испуганное выраженіе начало исчезать съ лица бѣднаго малаго.

— Вѣрно,—сказалъ онъ.—Собачья жизнь... Да и морозы же стоятъ, удивительное дѣло...

— Одежонка у тебя ой-ой плоха. Не по здѣшнему мѣсту.

— Одежа ничего. А впрочемъ... на восемь рублей не очень нащеголяешь...

Почта пробѣгаетъ по этому огромному тракту одинъ разъ въ недѣлю. Зимой трехтысячный путь она дѣлаетъ въ 19 дней, лѣтомъ, конечно, дольше. Осенью и весной, когда Лена еще не стала, или уже тронулась и ледоходъ мѣшаетъ движенію лодокъ, почту везутъ въ переметныхъ сумахъ верхами. Цѣлый караванъ вьючныхъ лошадей жметъ тогда между рѣкой и каменными горами, то огибая, по брюхо лошади въ водѣ, какую-нибудь выдавшуюся скалу, то карабкаясь по каменистымъ тропинкамъ, то мелькая на вершинахъ чуть не подъ облаками. Трудно себѣ представить занятіе, требующее больше выносливости, присутствія духа, терпѣнія и здоровья... Три тысячи верстъ!... Ямщикамъ тоже трудно, но ямщики давно вернулись по домамъ и отдыхаютъ въ ожиданіи рѣдкаго проѣзжающаго, порой даже до слѣдующей почты, а почталіонъ опять трясется въ сѣдлѣ,

или качается на бурной волнѣ огромной рѣки, или ко-
ченѣтъ, забившись межъ кожаными баулами въ саняхъ.
И это при обычныхъ почтовыхъ окладахъ...

Правда, почталіонъ изобрѣтаетъ еще постороннія сред-
ства. Въ Иркутскѣ онъ запасается бочонкомъ дешевой
водки, которую продаетъ на станкахъ писарямъ и ям-
щикамъ, купить только-что вышедшіе календари, возъ-
метъ на комиссію пачку лубочныхъ картинъ. Всѣ ху-
дожественныя произведенія, обильно украшающія стѣны
станковъ, ему обязаны доставкой своей въ эти далекія
страны. Онъ совершенствуетъ эстетическіе взгляды по-
луякутовъ станочниковъ, водворяя на стѣнахъ гравиро-
ванные портреты получившихъ гдѣ-то премію красавицъ,
онъ содѣйствуетъ популярности генераловъ, онъ же раз-
вѣнчиваетъ ихъ, замѣняя старыхъ героевъ новѣйшими...
Однако, эта полезная дѣятельность мало скрашиваетъ
судьбу горемыки-почталіона, и если онъ остается живъ
въ своей плохой одежонкѣ среди необычайныхъ моро-
зовъ, то приписываетъ это, главнымъ и даже исключи-
тельнымъ образомъ, водкѣ, которой выпиваетъ на каж-
дой станціи огромное количество, безъ всякихъ види-
мыхъ послѣдствій, благо она достается ему дешево и
доставляетъ даже нѣкоторый,—право же, невинный при
этихъ условіяхъ,—доходъ...

Отъ него же, главнымъ образомъ, этотъ трехтысяч-
ный трактъ, съ его почти единственными обитателями,
станочниками, узнаетъ новости, совершающіяся въ дале-
комъ мірѣ.

Такой-то подвижникъ почтоваго вѣдомства стоялъ те-

перь у желѣзной печки, съ подогнутыми отъ холода ногами, протянувъ руки къ пламени и кидая жадные взгляды на наши бутылки.

— А, это у васъ коньякъ... Коньячку я еще хвачу,— произносилъ онъ вдругъ, съ робкою фамиллярностью, подбѣгалъ къ столу, наливаль, опрокидываль и опять убѣгалъ къ огню все съ тѣмъ же видомъ человѣка, испуганнаго внутреннимъ ознобомъ.

— Слышь, почта, давай чайкомъ побалуемся,—предложилъ Копыленковъ.

— Невозможно, господа почтенные,—тороплюсь. Слушай, парень,—дружески обратился онъ къ вошедшему въ эту минуту писарю,—поберегайся! Ёдетъ вѣдь...

Старичокъ вздохнулъ.

— Что Богъ дастъ! Ждемъ давно, хоть бы ужъ какъ-нибудь скорѣе...

— Теперь живо. Мнѣ бы вотъ какъ-нибудь улетѣть, не напоротся бы. Да гдѣ, не уйти! Догонить. Хорошо, если на дорогѣ гдѣ-нибудь...

— Тебѣ-то что?

— Да все отъ грѣха подальше. А слышь, парень, про жалобы-то узналъ вѣдь...

— Ну?

— То-то... Сказываютъ, обозлился.

— Авось Богъ милостивъ. Мы не жаловались...

— Да вы это про кого?—спросилъ Копыленковъ.

— Арабинъ, курьеръ... Теперь изъ Верхоянска обращается.

— Такъ, такъ, такъ! Вотъ почему у тебя и лошадей-то

не оказалось. Понялъ! А вдругъ бы мы у тебя лошадей-то послѣднихъ и взяли...

— Совершенно вѣрно-съ... Судите сами: прїѣдутъ они сюда и вдругъ я имъ объявлю: нѣтъ лошадей! Что же это-съ?... Вѣдь тогда имъ здѣсь ночевать-съ...

Копыленковъ захохоталъ.

— Ну, онъ тебя, братецъ, за ночь-то съѣстъ и съ пиджакомъ съ твоимъ.

Почталіонъ тоже засмѣялся, какъ-то порывисто закинувъ голову назадъ. Старичокъ постарался улыбнуться, но больше изъ вѣжливости. Глаза его были задумчивы.

— Богъ знаетъ, Богъ знаетъ... Прошлый разъ убежала Царица Небесная... Скотиной все-таки назвалъ.

— Удостоилъ?

— Да-съ. Это что же-съ... Конечно, по прежнему времени, состоявши въ чинѣ коллежскаго секретаря, могъ обижаться... Ну, между прочимъ, въ настоящемъ ничтожномъ положеніи обязанъ терпѣть... Вы самоварчикъ изволили приказывать? — спохватился онъ вдругъ. — Ахъ, Боже мой, что же я-съ... Сейчасъ будетъ готово, — два самовара у насъ. Ежели въ случаѣ прїѣдетъ, и ему подадимъ... Сейчасъ...

IV.

Черезъ нѣсколько минутъ не старая еще и довольно красивая женщина, при входѣ которой почталіонъ опять

закинулъ голову и засмѣялся своимъ прерывистымъ смѣхомъ, а писарь сталъ какъ-то особенно серьёзенъ,—внесла небольшой самоварчикъ и принялась уставлять чайную посуду... Мы пригласили къ чаю старичка и почталіона. Послѣдній отказался и такъ же быстро, какъ прежде скидалъ съ себя, сталъ натягивать свои не со-всѣмъ высохшія одѣянія. Писарь тоже пытался отказаться изъ приличія, но затѣмъ, на вторичное приглашеніе, согласился, видимо польщенный.

— Съ превеликимъ удовольствіемъ раздѣлю компанію,—сказалъ онъ и затѣмъ, застегнувъ пиджакъ на всѣ пуговицы и взявшись рукой за спинку стула, поклонился и произнесъ:—въ такомъ случаѣ, считаю за честь рекомендоваться: Кругликовъ, Василій Спиридоновъ, бывшій коллежскій секретарь... Пріятно пріобрѣсти знакомство.

— Значить, служилъ?—спросилъ Копыленковъ.

— Такъ точно-съ, по комиссаріатской части, во флотѣ-съ...

Почталіонъ облачился, сунулъ намъ всѣмъ на прощаніе руку, еще разъ сказалъ: „а, это спиртъ у васъ. Хватитъ еще спирту“,—хватилъ и торопливо выбѣжалъ на морозъ. Я одѣлся и вышелъ за нимъ.

Нужно было подойти къ обрыву у могилы съ наклонившимся крестомъ, чтобъ увидѣть почту внизу.

Рѣка, загроможенная бѣлымъ тордсомъ, слегка искрилась подъ серебристымъ и грустнымъ свѣтомъ луны, стоявшей надъ горами. Съ того берега, удаленнаго версты на четыре, ложилась густая неопредѣленная тѣнь, вдали

неясно видѣлись береговья сопки, покрытыя лѣсомъ, уходящія все дальше и дальше, сопровождаая плавные повороты Лены... Становилось и жутко, и грустно при видѣ этой огромной ледяной пустыни.

Почта,—три тройки,—двинулась, колокольчики сразу, какъ-то сбивчиво и шумно, заговорили подъ моими ногами, какъ будто ободряя другъ друга. Три черныя пятна, точно фантастическія многосоставныя животныя, шевельнулись по снѣгу и замелькали между торосьями, становясь все меньше и меньше. Ихъ давно уже не было видно, а звонъ все стоялъ такой же ясный въ морозномъ, точно стеклянномъ воздухѣ... Каждый колокольчикъ говорилъ по-своему; разстояніе уменьшало только силу, но не ясность звука. Потомъ все исчезло внезапно, только торосья искрились фантастическимъ хаосомъ, да сопки тихо спали въ тѣни, и какія-то неясныя грѣзы передвигались подъ дальними берегами.

Чуть не все населеніе станка провожало почту... На бѣдпомъ Атѣ-Даванѣ, пріютившемся подъ каменными горами, этотъ пролетъ рѣдкой почты—цѣлое событіе.

Но станокъ ждалъ и томился ожиданіемъ еще другого событія.

Когда почта исчезла и звонъ затихъ, гурьба ямщиковъ, тихо подымавшихся съ рѣки, прошла мимо меня, разговаривая по-якутски. Мнѣ трудно было разобрать эти тихія рѣчи, однако я понялъ, что говорятъ они не о тѣхъ, кто уѣхалъ, а о комъ-то, кто долженъ пріѣхать сверху. При этомъ имя „Арабынъ-тойона“ раза два коснулось моего слуха.

Я остался еще на берегу, привлекаемый грустнымъ очарованіемъ. Воздухъ былъ неподвиженъ и полонъ какой-то чуткой, кристаллической ясности, не нарушаемой теперь ни однимъ звукомъ, но какъ будто застывшей въ пугливомъ ожиданіи... Стоить опять треснуть льдинѣ, и морозная ночь вся содрогнется, и загудитъ, и застонетъ. Камень оборвется изъ-подъ моей ноги—и опять надолго наполнитъ чуткое молчаніе сухими и рѣзкими отголосками, какъ будто ищущими и не могущими найти успокоенія.

Морозъ все крѣпчалъ. Зданіе станціи, которое на-половину состояло изъ юрты и только на-половину изъ русскаго сруба, сіяло огнями. Изъ трубы надъ юртой цѣлый вѣникъ искръ торопливо мотался въ воздухѣ, а бѣлый, густой дымъ подымался сначала вверхъ, потомъ отгибался къ рѣкѣ и тянулся далеко, до самой ея середины... Лдины, вставленныя въ окна, казалось, горѣли сами, переливаясь радужными оттѣнками пламени...

Я еще разъ окинулъ взглядомъ окружающую картину, полную захватывающей грусти, и пошелъ въ избу.

V.

Въ ямщицкой огромный камелекъ, плотно сбитый изъ глины, зіялъ, точно раскрытая огненная пасть сказочнаго чудовища. Огонь съ невѣроятною силой рвался въ трубу, какъ будто цѣлая рѣка пламени струилась вверхъ. Наклонныя стѣны юрты то тѣсно сдвигались, охва-

ченныя багрянымъ отблескомъ, то утопали чуть замѣтно во тмѣ; тогда юрта казалась огромною пещерой съ темными сводами. Группа огненныхъ же фигуръ, будто только что 'отлитыхъ изъ неостывшаго еще металла, сомкнулась полукругомъ около камина. Въ срединѣ, уставившись на огонь задумчивыми глазами и опершись подбородкомъ на руки, сидѣлъ молодой станочникъ съ рѣзко инородческими чертами, представитель этого страннаго, наполовину обьякутившагося населенія средней Лены. Изъ горла его лились, примѣшиваясь къ шипѣнію и треску пламени, странные—то протяжные, то истерически-прерывистые—звуки. Это была якутская пѣсня-импровизація,—пѣсня, въ которой только привычное ухо можетъ уловить признаки своеобразной гармоніи. Господи Боже, какъ только не выражается человѣческое чувство!... Но такъ какъ красота, все-таки, въ самомъ чувствѣ, то есть своя доля красоты и въ этомъ дикомъ, гортанномъ, прерывистомъ завываніи, похожемъ то на плачь, то на шумъ вѣтра въ дикомъ ущельи... Достаточно было взглянуть на эти бронзовыя лица станочниковъ Атѣ-Давана, чтобъ убѣдиться въ присутствіи захватывающаго и поглощающаго душевнаго движенія, царившаго въ грязной, непривѣтливой юртѣ.

Молодой станочникъ пѣлъ, остальные слушали, изрѣдка поощряя пѣвца рѣзкими, произвольными короткими восклицаніями. Мы имѣемъ свои пѣсни, записанныя, положенныя на ноты, въ которыхъ болѣе сложное чувство кристаллизовалось въ постоянную форму. Дивная тайга, каменистыя тропинки надъ Леной, угрюмый и сирот-

Атъ-Даванъ—имѣютъ свои пѣсни. Онѣ не записаны, не выработаны, не такъ гармоничны и довольно грубы, но за то каждая изъ нихъ рождается по первому призыву, отзывается, какъ оолова арфа, своею незаконченной и незакругленною гармоніей на каждое дуновение горнаго вѣтра, на каждое движеніе суровой природы, на каждое трепетаніе бѣдной впечатлѣніями жизни... Иппецъ-станочникъ пѣлъ объ усилившемся морозѣ, о томъ, что Лена стрѣляетъ, что лошади забились подъ утесы, что въ каминѣ горитъ яркій огонь, что они, очередные ямщики, собрались въ числѣ десяти человекъ, что шестерка коней стоитъ у коновязей, что Атъ-Даванъ ждетъ Арабынъ-тойона, что съ сѣвера, отъ великаго города, надвигается гроза и Атъ-Даванъ содрогается и трепещетъ...

Пѣсенный якутскій языкъ отличается отъ обиходнаго приблизительно такъ же, какъ нашъ славянскій отъ нынѣшняго разговорнаго. Пѣсенный языкъ родился гдѣ-то далеко, въ невѣдомыхъ глубинахъ Средней Азіи, откуда великое смѣшеніе народовъ бросило жалкій осколокъ какого-то племени на дальній сѣверо-востокъ. Онъ сохранилъ на сѣверѣ пышные образы и краски далекаго юга... Отъ сѣвера же, отъ пугливаго морознаго воздуха, въ которомъ трескъ льдины вырастаетъ въ пушечный выстрѣлъ, а паденіе ничтожнаго камня гремитъ какъ обвалъ,—пѣсня пріобрѣла пугливую наклонность къ чудовищнымъ гиперболамъ, къ гигантскимъ, устрашающимъ преувеличеніямъ. Вотъ почему, надо думать, якутскій Иванушка, бѣдный сиротина Эръ-Соготохъ, въ

своихъ горестныхъ странствіяхъ натывается то и дѣло на сказочныхъ молодцовъ, самый меньшій изъ которыхъ обладаетъ икрами въ обхватъ старой ливеницы, а глаза его вѣсятъ по пяти фунтовъ.

Я сталъ въ тѣни не замѣченный и слушалъ пѣсню становника объ Арабинъ-тойонѣ... Арабинъ, Арабинъ!... Я гдѣ-то слышалъ эту фамилію. Мнѣ стоило значительнаго усилія отодвинуть отъ себя сказочную фигуру—и изъ-за нея выдвинулась другая. Въ Иркутскѣ, въ знакомомъ домѣ, я нѣсколько разъ встрѣчалъ,—правда, мимо-летно,—козацкаго хорунжаго съ этою фамиліей. Это былъ человѣкъ ничѣмъ не выдававшійся, молчаливый, слегка даже застѣнчивый, тою особою застѣнчивостью, которою отличаются болѣзненно-самолюбивые люди. Я едва замѣтилъ его тогда, но потомъ слышалъ, что онъ чѣмъ-то обратилъ на себя вниманіе и что его употребляютъ для особыхъ порученій. Неужели это онъ? Неужели это о немъ я слышу теперь по всему пути,—о немъ, чье имя едва различалось въ иркутской толпѣ... Онъ уже третій разъ пролетаетъ по Ленѣ въ качествѣ курьера, и каждый разъ толки о немъ долго не смолкаютъ. На станціяхъ онъ велъ себя какъ человѣкъ, на единичныя усилія котораго возложено усмиреніе бунтующаго края. Врывался какъ ураганъ, бушевалъ, наводилъ паническій ужасъ, грозилъ пистолетомъ и... забывалъ всюду платить курьерскіе прогоны. Вѣроятно, благодаря этимъ пріемамъ, онъ исполнялъ порученія въ сроки, удивлявшіе самыхъ привычныхъ людей, и начальство отличало его еще болѣе. „Курьеръ“ стало кличкой и чуть не постоянною

профессіей Арабина. Скромный и застѣнчивый въ Иркутскѣ, онъ становился совершенно другимъ, лишь только выѣзжалъ изъ города. Быть искренне убѣжденнымъ, что всякая власть сильнѣе всякаго закона, и чувствовать себя цѣлыя недѣли единственнымъ представителемъ власти на огромныхъ пространствахъ, не встрѣчая нигдѣ ни малѣйшаго сопротивленія,—отъ этого можетъ закружиться голова и посильнѣе головы карыма—хорунжаго.

И она, дѣйствительно, кружилась. Въ послѣдній проѣздъ онъ уже скакалъ черезъ рѣдкіе города (Киренскъ, Верхотурскъ и Олекму), стоя въ повозкѣ и размахивая надъ головой краснымъ флагомъ. Въ этомъ было что-то фантастическое: двѣ тройки лошадей мчались какъ птицы, съ смертельнымъ ужасомъ въ глазахъ; ямщикъ походилъ на мертвеца, застывшего на облучкѣ съ вожжами въ рукахъ; сѣдокъ стоялъ, сверкалъ глазами и размахивалъ флагомъ... Мѣстные власти покачивали головами, обыватели разбѣгались. Въ этотъ проѣздъ Арабинъ отмѣтилъ свой путь такимъ количествомъ павшихъ лошадей, воплей и жалобъ, прорвавшихся, наконецъ, наружу, что почтовое начальство сочло необходимымъ вмѣшаться. Забѣгая впередъ, скажу только, что изъ-за Арабина поссорились два вѣдомства, что непосредственное начальство курьера вынуждено было, все-таки, отказаться отъ его услугъ, но, снабженный отличными рекомендаціями, онъ перешелъ на службу еще дальше на востокъ и тамъ, на Амурѣ, застрѣлилъ, наконецъ, наповаля станціоннаго смотрителя. Тогда объ Арабинѣ-той онѣ заговорили даже въ Россіи и только тогда узнали,

что судить, въ сущности, некого, такъ какъ знаменитый курьеръ былъ уже... вполне сумасшедшимъ.

Такова дальнѣйшая исторія грознаго и несчастнаго Арабѣнъ-тойона, ожидаемаго въ эту ночь на далекомъ Атъ-Даванѣ. Вотъ о комъ скрипѣла и завывала унылая якутская пѣсня въ ямщицкой юртѣ...

VI.

Въ станціонной комнатѣ Михайло Ивановичъ въ одномъ бѣлѣ сидѣлъ за столомъ. Кругликовъ помѣщался напротивъ, въ позѣ значительно болѣе свободной, чѣмъ прежде. По наивному оживленію, сверкавшему въ простодушно-хищныхъ глазахъ моего спутника, я сразу увидѣлъ, что ему удалось уже завязать одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, до которыхъ онъ былъ великій охотникъ. Это были именно разговоры чисто-біографическаго и отчасти стяжательнаго характера: кто, гдѣ и какимъ образомъ сѣумѣлъ нажить деньги. Всѣ подробности наживательскихъ драмъ имѣли для него какую-то особенную, обаятельную прелесть. Кругликовъ давалъ эти подробности охотно и съ объективнымъ спокойствіемъ человека, глядящаго на все это со стороны, глазами наблюдателя.

— Такъ, говоришь, прогорѣлъ?—спрашивалъ Михайло Ивановичъ, наклоняясь черезъ столъ.

— До основанія-съ!—отвѣтилъ Кругликовъ и подумавъ на блюдечко съ чаемъ.—Совсѣмъ-съ, такъ что, съ поз-

наменія вашего сказать, въ рубашкѣ одной остался, да п
та чужая.

— Ахъ ты, братецъ мой, какой человекъ пропалъ!

— Пропалъ? Ну, это зачѣмъ же-съ. Гдѣ же такому
человѣку пропасть? По здѣшнимъ-то мѣстамъ, я гово-
рю да такой-то головѣ...

— Дѣйствительно, шельма естественная. Говоришь, по-
правился?

— Да еще какъ поправился!...

— Ну, дѣла! Чѣмъ же онъ взялся-то?

Кругликовъ поставилъ блюдечко и загнулъ палецъ:

— Первымъ дѣломъ—женится онъ вторично на вдовѣ
съ капиталцемъ. Капиталь, положимъ, ничтожный...

— Постой! Говоришь: женится. А первая-то померла,
что ли?

— Живѣхонька-съ! Это ничего не составляетъ.

— Ай-ай-ай! Н-н-ну-съ? Что ты, братецъ, тянешь, го-
вори далѣе.

— Ну-съ, и сталъ легонечко поторговывать на при-
скахъ спиртомъ.

— Спиртомъ!.. Эхъ, дѣло-то какое! Да нѣтъ, нонѣ,
братъ, на спирту далеко не уѣдешь. Нонѣ, братъ, на
спиртовомъ-то дѣлѣ тюрьму себѣ заработаешь, а богатъ
не станешь. Не прежнія времена...

— Ахъ нѣтъ, позвольте-съ, это вы напрасно! Спирто-
вое дѣло оно само по себѣ, а ежели при этомъ пше-
ничка *)...

*) Золотой песокъ. Торговать пшеничкой—скупать тайнымъ образомъ
подъемное золото у присковъ рабочихъ.

— Ну, вотъ это такъ! Ежели ловкому человѣку...

— Этотъ ловокъ. Шире-далѣ, шире-далѣ и взошелъ онъ въ копѣйку настоящую.

Михайло Ивановичъ хлопнулъ себя рукой по колѣну.

— Ахъ ты, братецъ мой! Вотъ голова, такъ голова... Пей еще!—предложилъ онъ радушно, когда г-нъ Кругликовъ положилъ пустой стаканъ на блюдечко, въ знакъ того, что онъ доволенъ, но выпьетъ еще, если его попросятъ (опрокинуть стаканъ и положить на него огрызокъ захару — значило бы отказаться окончательно).— Пей! А что касающее должности, не сомнѣвайся. Опредѣлю, будешь доволенъ. Я, братецъ, люблю разговорчивыхъ людей. Только ужъ ты скажи мнѣ, по правдѣ-истинѣ, хмѣлемъ зашибаешься?

Г-нъ Кругликовъ посмотрѣлъ ему прямо въ глаза яснымъ взглядомъ и отвѣтилъ:

— Пью-съ... Пьяницей или, сказать, пропойцей себя не полагаю-съ, а пью съ... Но спросите: почему пью?—потому, что нахожусь въ горести послѣ прежней благополучной жизни. Вотъ и Иванъ Александровичъ,—навѣрно изволите знать, пріиски у него богатѣйшіе были,—говорить бывало: „зачѣмъ Кругликовъ, пьешь? Тебѣ бы, при твоёмъ умѣ, вовсе бы касаться не надо... Почеркъ имѣешь прекрасный, экипированъ прилично, самъ себя ведешь аккуратно... Тебѣ бы какое мѣсто можно занимать, только не касайся вина!“—„Такъ вотъ нѣтъ, сердце не дозволяетъ, Иванъ Александровичъ“, говорю ему.

Г-нъ Кругликовъ заволновался. Повидимому, онъ за-

былъ, кому и по какому поводу дѣлаетъ эти изліянія и, ударивъ себя въ грудь, продолжалъ:

„— Иванъ Александровичъ, благодѣтель, не суди! Господи! Да я бы смолу, понимаешь ты?—смолу бы кипящую пилъ, ежели бы могъ иной разъ себѣ облегченіе получить,—забвеніе горести!“—Смолу-у!... Боже мой, Создатель! за что ты судьбу мою въ эту гиблѹю сторону закинулъ?... Хлѣба пудъ—четыре съ полтипой, мяса—восемь рублей! Ни покою, ни пищи...

— Это вѣрно,—поддержалъ Михайло Ивановичъ:—кормя-то здѣсь дороги, нечего говорить.

— Эхъ, нѣтъ, не то! — съ тоской заговорилъ вдругъ маленькій писарь, и эта тоска глубоко-щемящею нотой прорвалась въ его голосъ, промелькнула въ лицѣ, измѣнила всю нѣсколько комичную его фигуру.—Не то-съ... Сердце закипаетъ во мнѣ, размышленіе одолеваетъ...

— Задумываешься?—перебилъ его Михайло Ивановичъ съ какимъ-то пугливымъ участіемъ.

— Бываетъ,—угрюмо сознался Кругликовъ.

— Ахъ, братецъ! Ты какъ-нибудь тово... брось... Самое это плохое дѣло. У меня, братъ, смолodu тоже было; насилиу отецъ покойникъ выгналъ. Послѣ женитьбы и то еще бывало,—нѣтъ, нѣтъ, да и засосетъ... На свѣтъ не глядѣлъ бы отъ мыслей отъ этихъ. Послѣднее дѣло.

— Чего хуже! Повѣрите: иной разъ ночью проснешься, опомнишься. „А гдѣ-то ты рожденъ, Василій Спиридоновъ, въ коихъ мѣстахъ юность свою провелъ?... А нынѣ гдѣ жизнь влачишь?..." Прислушиваешься, думаешь, не сонъ ли,—нѣтъ, не сонъ-съ. . Морозище трещитъ за

стѣнной, или вьюга воесть... къ окну, а въ окнѣ—слѣпая лѣдина... Отойдешь и сейчасъ къ шкапу. Наливаю, пью...

— Легче?

— Въ голову ударить,—ну, и омрачить отчасти... Затуманить, потому настойка у меня, водка настоена крѣпчайшая... А настоящаго облегченія не вижу.

— Вотъ оно дѣло какое! И вѣрно, что лучше бросить. Займись дѣломъ, оно, братъ, тоже по головѣ-то ударить не хуже настойки... А скажи ты мнѣ вотъ что: за что тебя сюда-то уперли?

Этотъ вопросъ, предложенный съ такою грубою внезапностью, прошелъ еще разъ по всей фигурѣ г-на Кругликова и еще разъ она преобразилась, теряя въ моихъ глазахъ прежній оттѣнокъ комизма. Казалось, какая-то искра пробивается изъ-подъ давно потухшаго, но еще не остывшаго вполнѣ пепелища.

Онъ какъ-то подернулся, потупился, и его голосъ, когда онъ попросилъ позволенія налить себѣ рюмку, сталъ глуше.

— Дозволите?

— Угощайся!

Онъ налилъ, осмотрѣлъ рюмку на свѣтъ, какъ будто ища тамъ отвѣта на мучительный вопросъ, выпилъ ее залпомъ и сказалъ:

— За любовь-съ!

Михайло Ивановичъ разинулъ ротъ отъ удивленія. Я долженъ сказать, что заявленіе г-на Кругликова, вы сказанное съ такою краткою рѣшительностью, было такъ неожиданно, что заставило и меня взглянуть на него съ

удивленіемъ. Кругликовъ, казалось, и самъ понималъ что своими словами произвелъ значительную сенсацію.

— Да говори ты, братецъ, толкомъ,—сказалъ, наконецъ, Михайло Ивановичъ съ досадою.

— Что-жь, я правду говорю,—отвѣтилъ Кругликовъ,— такъ какъ, собственно изъ любви къ одной дѣвицѣ, въ начальника своего, статскаго совѣтника Латкина, дважды изъ пистолета палилъ.

Это было уже слишкомъ.

Михайло Ивановичъ окаменѣлъ и смотрѣлъ на своего собесѣдника какими-то безсмысленными, мутными глазами. Онъ походилъ на путника, который, пробесѣдовавъ часа два съ самымъ любезнымъ, хотя и случайно встрѣченнымъ попутчикомъ, и совершенно очарованный его прекрасными качествами, вдругъ узнаетъ, что передъ нимъ не кто другой какъ *celebrissime* Ринальдо-Ринальдینی.

— Изъ пистолета?—протянулъ онъ растерянно.— Какъ же это ты такъ? Да ты вѣрно говоришь: изъ пистолета?!

— Такъ точно-съ. Пистолетъ настоящій.

— Палилъ?

— Два раза.

— Да вѣдь это, братецъ ты мой, такое дѣло, такое... самое, сказать тебѣ, политическое...

— Что тутъ подѣлаете! Судите меня, какъ знаете... Любовь-съ...

— Да вы расскажите, Василій Спиридонъ, какъ эта вся исторія вышла...—обратился я къ г-ну Кругликову.

— Да,—поддержалъ мою просьбу и Копыленковъ.—

Что-жь, братецъ, Расскажи, Расскажи,—ничего! Что ужъ тутъ... Удивительно!!

VII.

Г-нъ Кругликовъ отхлебнулъ послѣдній глотокъ чаю, опрокинулъ стаканъ, положилъ на донышко кусокъ сахара и отодвинулъ все это отъ себя. Послѣ этихъ приготовленій налилъ себѣ рюмку и опять посмотрѣлъ на свѣтъ. Я пожалѣлъ въ эту минуту, что я не живописецъ и не могу изобразить сложныхъ ощущеній, совмѣстившихся на оригинальномъ лицѣ атъ-даванскаго станціоннаго писаря, освѣщенномъ оплывшими сальными свѣчами. Круглый обликъ, пепельные, аккуратно причесанные волосы, съ чѣмъ-то вродѣ кока впереди, подстриженные котлетками бакенбарды и бритый подбородокъ. Въ сѣрыхъ глазахъ, внимательно глядѣвшихъ рюмку на свѣтъ, можно бы было прочесть и предвкушаемое удовольствіе, и тщеславную гордость заинтересовавшаго слушателей рассказчика, и искреннюю горечь разбитой жизни и жгучихъ воспоминаній. Онъ запрокинулъ голову, выпѣдилъ рюмку коньяку, поставилъ ее на столъ, обтеръ губы истрепаннымъ фуляровымъ платкомъ и обратился къ разсказу:

— Моя біографія жизни, почтенные господа, очень печальная... Чувствительный человѣкъ можетъ окончательно все понимать, а другіе смѣются-съ... Впрочемъ, это все равно-съ...

Онъ горько улыбнулся, все еще нѣсколько рисуясь, и затѣмъ спросилъ:

— Не случилось ли кому изъ васъ, почтенные господа, бывать въ Кронштадтѣ?

— Это гдѣ?—спросилъ Копыленковъ.

— Вблизи Петербурга, часа два пароходной ѣзды-съ, портовый городъ.

— Я бывалъ,—сорвалось у меня.

— Бывали-съ? Въ самомъ Кронштадтѣ-съ?...

Кругликовъ живо повернулся ко мнѣ, и глаза его сверкнули оживленіемъ.

— Да, бывалъ, и даже жилъ нѣсколько мѣсяцевъ.

— Великолѣпный городъ! Портъ, крѣпость, твердыня-съ, оплотъ, окно въ Европу-съ... Превосходный городъ, уголокъ Санктъ-Петербурга.

— Да, городъ хорошій.

— Ахъ, какъ можно, какъ можно!? Этакого другого города... да гдѣ вы найдете? Помилуйте. А правда ли-съ, что теперь, говорилъ мнѣ какъ-то проѣзжій офицеръ, на Екатерининской улицѣ чугунная мостовая положена?

— Вѣрно.

— Красота, должно быть!... А пристани-съ, купеческая стѣнка, фортъ Павелъ, фортъ Константинъ...

Онъ увлекался. Моя мысль тоже какъ-то мгновенно перенеслась съ угрюмой Лены въ Кронштадтъ, гдѣ я провелъ нѣсколько радостныхъ мѣсяцевъ еще студентомъ... Меня, какъ и Кругликова, охватили воспоминанія: плескала морская волна, сливающаяся съ невскою, свистѣлъ пароходъ, длинная дамба гудѣла подъ копытами извоз-

чичьихъ лошадей, везущихъ публику съ только-что приставшаго парохода, сновали катера, баркасы, дымились пароходы... Бѣлые ялики съ стройно взмахивающими веслами, грузные броненосцы, шпигъ нѣмецкой кирки, улицы перерѣзаны каналами доковъ, гдѣ среди домовъ, точно вѣты, невѣдомо какъ попавшіе въ средину города, стоятъ огромныя морскія громады съ толстыми мачтами, каменные дома, бульвары, казармы, блескъ и роскошь уголка столицы... И опять—лѣсъ мачтъ въ синемъ небѣ, Купеческая гавань, отлогая коса и шумъ морского прибоя... Синяя даль, свержающіе гребни волнъ и грузные форты, выступившіе далеко въ море... Облака, чайки съ бѣлыми крыльями, легкій катеръ съ сильно наклонившимся парусомъ, тяжелая чухонская лайба, со скрипомъ и стономъ рѣжущая волну, и далекій дымъ парохода тамъ, далеко, изъ-за Толбухина маяка, уходящаго въ синюю западную даль... въ Европу!...

Иллюзію нарушилъ, во-первыхъ, новый выстрѣлъ замерзшей рѣки. Должно быть морозъ принимался къ ночи не на шутку. Звукъ былъ такъ силенъ, что ясно слышался сквозь стѣны станціонной избушки, хотя и смягченный. Казалось, будто какая-то гигантская птица летитъ съ страшною быстротою надъ рѣкою и стонетъ... Стонъ приближается, растетъ, проносится мимо и съ слабѣющими взмахами гигантскихъ крыльевъ замираетъ вдали.

Копыленковъ нервно вздрогнулъ и затѣмъ, какъ это часто бываетъ послѣ испуга, съ досадою накинулся на Кругликова:

— Ну, такъ что же,—сказалъ онъ нетерпѣливо,—родомъ ты, что ли, изъ этого самаго городу? Началь, такъ ужь говори чуждомъ.

— Да-съ, родомъ,—отрѣзалъ Кругликовъ съ гордою улыбкою. На Сайдашиной улицѣ и свѣтъ увидалъ. Сайдашину извѣдите знать? У отца моего въ этой улицѣ собственный домъ находился, можетъ стоять еще и понынѣ. А родитель мой, надо сказать, хотъ и изъ ластовыхъ былъ, но мѣсто имѣлъ доходное и, понятное дѣду, сыну тоже далъ порядочнаго ходу. Образованіемъ не очень увлекался, ограничиваясь начатками грамоты и начертаніемъ, но какъ и самъ я былъ молодой человѣкъ интеллигентный, по службѣ исполнительъ и у начальства и сколько на виду по причинѣ родителя, то и стоялъ я, могу сказать, на лучшей линіи... Да-съ, по началу судьбы мой не того можно было ожидать, чѣмъ я нынѣ постигнуть. Ясное утро и—печальный закатъ-съ...

— Перопици!—наставительно произнесъ Копыленковъ.

— Ну-съ, и такъ сказалъ я вамъ, милостивые мои государи, что у родителя былъ собственный домъ на Сайдашиной улицѣ. А въ той же улицѣ насупротивъ, нѣсколько этакъ наискосокъ, проживалъ товарищъ моего отца, тоже изъ ластовыхъ, и, по выслугѣ, занималъ мѣсто и еще того доходнѣе.

— А какое?—не вытерпѣлъ Михайло Ивановичъ.

— Въ порту, гдѣ происходить ремонтъ и постройка морского флота судовъ... Облады тогда шли не очень, чтобы сказать, большіе, но сторонній доходъ по тому времени выпадалъ изобильно,—просто было! Можете су-

дить по тому, что съ должности рѣдкій день уходили не обмотавшись...

— То-есть это что же, насчетъ чего?...—недоумѣваю-ще спросилъ Копыленковъ, для котораго, какъ знатока по части самыхъ разнообразныхъ доходовъ, эта форма оказалась непонятной.

— Это видите въ чемъ состоятъ. Судно морского флота не то, что ваши паузки. Наружность само собой, крѣпленіе тамъ, ванты и прочее, но еще внутренняя отдѣлка требуетъ матеріалу дорогого и тонкаго. Великолѣпіе, блескъ, комфортъ, мебель одна чего стоитъ... Ну-съ, такъ вотъ, въ матеріальныхъ складахъ матеріи этихъ, ліонскаго бархату, аглицкихъ разныхъ... горы... Теперь представьте: надо ему уходить съ должности домой; снимаетъ онъ сюртукъ, беретъ кусокъ шелковой матеріи, обернетъ вокругъ корпуса, опять одѣвается, уходитъ. Пришелъ домой, разматываетъ его жена, какъ катушку какую,—вотъ и приобрѣлъ!

— Важная штука!... Только какъ же ихъ тамъ не щупаютъ, на выходѣ-то?

— Какъ можно! Рабочихъ, конечно, обыскиваютъ у воротъ, а съ господами и обращеніе другое, на довѣрчивомъ началѣ.

— Ничего, можно дѣла дѣлать... Только надо умному быть. Ежели на жаднаго человѣка, который не знаетъ мѣры,—живо пропасть можно. Все-таки вѣдь казна!

— Будьте добры, продолжайте,—въ свою очередь перебилъ я, видя, что теперь увлекается уже Копыленковъ.

— Да-съ, конечно, дѣло не въ этомъ. А что просто

было, это вѣрно. Просто, просто, а только что просвѣщенія было въ нашемъ кругу мало, а дикости много... Изъ-за этого я и крестъ теперь несу. Видите ли: была у этого папашина товарища дочка, на два года меня моложе, по восемнадцатому году, красавица! И умна... Отецъ въ ней души не чаялъ, и даже ходилъ къ ней студентъ—обученіемъ занимался. Сама напросилась,—ну, а отецъ любимому дѣтищу не перечилъ. Подвернулся студентъ человѣкъ умный, ученый и цѣну взялъ недорогую,—учи!

— Напрасно...—сказалъ вскользя Копыленковъ.

— Ну-съ, а я былъ той дѣвицѣ, Раисѣ Павловнѣ, нареченный женихъ. Родители наши—пріятели были, мы почти-что и выросли вмѣстѣ, и задумали отцы между собою такъ, чтобы непременно меня на ней женить. И мы, съ своей стороны, имѣли другъ къ другу расположеніе. Сначала-то, знаете, дружба, играемъ бывало вмѣстѣ, а потомъ ужъ и серьезно. Отъ родителей препятствія не видѣли и имѣли постоянное другъ съ дружкой обращеніе...

Грѣхъ вышелъ?—забѣжалъ впередъ Михайло Ивановичъ.

Никакого грѣха!—отрѣзалъ Кругликовъ холодно.— И въ мысляхъ не было,—оба младенцы чистые. Рая до чтенія была охотница, такъ вотъ въ этомъ больше и время проводили. Сначала Гуаки тамъ, рыцари разные, Францискъ Венецианъ,—чувствительныя исторіи!... Путяки, конечно, а правилось: марекграфиня, напимѣръ, бранденбургская, принцесса баварская, и при этомъ сви-

рѣпный сераскирь... Все такое-этакое... Возвышенные персона-сы и все насчетъ любви и вѣрности упражняются, претерпѣваютъ... Конечно, головы молоды! У меня все-таки служба, а она управится по домашности, какъ минута свободная—сейчасъ въ комнатѣ своей съ ногами на диванчикъ, въ платочекъ завернется и читаетъ. Подъ вечеръ — я съ должности вернусь — гулять идемъ, подъ ручку-съ. Въ Кронштадтѣ, извѣстно, какое гулянье: на крѣпостной валъ, на Купеческую стѣнку-съ ходимъ, на море смотримъ... Она мнѣ и рассказываетъ, что за день-то прочитала. Говорить, говорить, потомъ и задумается.

„— Вотъ, Васенька, говорить, какіе на свѣтѣ есть любители... Надо и намъ такъ же. Можешь ли ты въ испытаніи, напримѣръ, вѣрность сохранить?... Вдругъ бы ко мнѣ какой-нибудь свирѣпый сераскирь присватался“.

„Ну, я, конечно, съ своей стороны смѣюсь:

„— Могу-то я могу, да только вѣдь намъ, говорю, не къ чему, если насъ хоть завтра по родительскому приказу въ соборѣ обвинчаютъ“...

„Я-то смѣюсь, потому что, конечно, каждый день въ канцелярію хожу, я-то обращеніе въ свѣтѣ имѣю, а она—дитѣ...“

„— Видишь, говоритъ, вонъ, у маяка парусъ?

„— Вижу, корабль изъ-за границы идетъ.

„— А что, говоритъ, можетъ на этомъ кораблѣ пиратъ ѣдетъ: кинется вдругъ, городъ спалить, тебя копьемъ пронзить, меня въ плѣнъ...“

„Задрожитъ сама, испугается, жметъ ко мнѣ. Ну, я ее опять успокою:

„— Что ты, Богъ съ тобой! Это бригъ идетъ голландской или тамъ аглицкой съ хлопкомъ. Мало ли ихъ, эгличей этихъ, и сейчасъ по улицамъ ходитъ. Конечно, буянять иной разъ, такъ вѣдь и въ полицію не долго...

„— Да,—говоритъ и Рая,—наша жизнь есть совсѣмъ другая... Вотъ и студентъ тоже все смѣется, а мнѣ, говорить, что-то скучно“,—и вздохнетъ.

„Ну, подошло время уже и о свадьбѣ думать. Начали отцы о приданомъ поговаривать. Такъ-то, молъ, такъ, а все-таки и дѣло дѣломъ. Вотъ разъ мой отецъ и говоритъ: „женить такъ женить, нечего откладывать! Я, говорить, своему даю шесть тысячъ, ты сколько?“

„— И я,—Раинъ-то родитель отвѣчаетъ,—столько же: ты шесть, такъ и я шесть.

„— Нѣтъ,—мой опять говоритъ,—мало! Самъ подумай: мой Вася можетъ время отъ времени въ чины взойти, а твоя дочь какая есть, такая и останется, тебѣ бы по настоящему и десяти тысячъ дать мало“.

„Слово за слово,—заспорили. Тотъ человѣкъ и горячій, а все-таки на восемь-то ужъ соглашался, а моего-то родителя будто муха укусила: укрѣпился на своемъ и только. Гвоздитъ одно, не спускаетъ ни копѣйки. Ну, тотъ и осердился,—тоже былъ съ нѣровомъ.

„— Когда такъ, говорить, когда ты своего щенка надъ моей Раичкой на цѣлыхъ четыре тысячи превознесъ, такъ я тебѣ покажу... Не надо! За генерала выдамъ, не твоему пащенку чета!“

— Нашла, значить, коса на камень,—засмѣялся Копыленковъ.

Кругликовъ взглянулъ на него съ какимъ-то удивленіемъ, какъ будто даже не слышалъ, и продолжалъ:

— Ох-хо-хо! Такъ-то вотъ изъ пустяковъ началось. Надо же вамъ сказать, что начальникъ нашъ, дѣйствительно, на Раю началъ умильнымъ окомъ поглядывать. Онъ хотя, скажемъ, не полный генералъ былъ, не выслужилъ еще, да мы-то, въ правленіи, не иначе его, какъ вашимъ превосходительствомъ звали. Самъ приказалъ: „Для чужихъ я, говорить, можетъ и меньше полковника, а своимъ подчиненнымъ я богъ и царь!“

— А что ты думаешь?—и вѣрно,—опять вставилъ Копыленковъ.

„Въ лѣтахъ онъ былъ преклонныхъ, бездѣтный вдовецъ, да ужъ очень видомъ-то противенъ. Сколько ни сватали изъ равныхъ себѣ,—никто не отдавалъ за него. Ну, и пала ему на глазъ Раичка. Ничего, что отецъ изъ лас-товыхъ и чиномъ много ниже,—понравилась очень. Разумѣется, она и не знала, тѣмъ болѣе, что я ужъ считался женихомъ, изъ себя—дѣло прошлое—былъ хорошъ, росту хоть не большого, да лицомъ пріятенъ, усики тамъ, волосы всегда напوماжены и щегольнуть любилъ... Да и отецъ-то ея сначала объ этомъ сватовствѣ тоже не думалъ,—все-таки жалѣлъ единственную дочку. А тутъ какъ забрало его за живое, всталъ на дыбы, захрапѣлъ и сейчасъ мнѣ отъ дому отказъ, какъ тестъ, а генералу надежду подаетъ... О-охъ! И стала у насъ въ Сайдашной улицѣ генеральская карета прокатываться...“

Глаза Кругликова стали влажны, искра изъ-подъ пепла пробила яснѣе. Къ сожалѣнію, онъ тотчасъ же

залилъ ее новою рюмкой воды. Рука, подносившая рюмку, сильно дрожала, вода плескалась и капала на пейную жилетку.

„А тамъ и чаще! Пѣшкомъ ужъ сталъ захаживать и подарки носить. Рая-то, положимъ, не принимала, да я-то ничего не зналъ. На порогъ сунуться не смѣю,—и родителя-то боюсь, и начальства опасуюсь. Ну, вдругъ, я туда, а онъ тамъ сидитъ, что тогда дѣлать? Убиваюсь... Вотъ однажды иду съ должности мимо одного дома, гдѣ студентъ этотъ квартировалъ,—жилъ онъ во флигелѣчкѣ, книгу сочинялъ, да чучелы дѣлалъ. Наставилъ на окнахъ и папель, и часекъ, и рыба тутъ у него хвостъ загнула, и ракъ ползетъ. Чудакъ! Да нѣтъ, не то что чудакъ, а видно такъ ему и нужно было. Только, гляжу, сидитъ на крылечкѣ, трубочку сосетъ. И теперь, говорятъ, въ чинахъ уже большихъ по своей части, а все трубки этой изо рта не выпускаетъ... Станный, конечно, народъ—ученые люди...“

Кругликовъ улыбнулся тихою улыбкой, всталъ, пошарилъ въ какой-то шкатулкѣ въ своей темной кѣтушкѣ и вынесъ старую книгу.

— Вотъ,—сказалъ онъ,—посмотрите... — Я взглянулъ, и на меня пахнуло давно прошедшимъ. Книга была изданія 60-хъ годовъ, полу-спеціального содержанія по естествознанію. Она дѣликомъ принадлежала тому общественному настроенію, когда молодое у насъ изученіе природы гордо выступало на завоеваніе міра. Міръ остался не завоеваннымъ, но изъ-подъ схлынувшей свѣжей волны возшло все-таки много побѣговъ. Между прочимъ, движеніе

это дало намъ не мало славныхъ именъ. Одно изъ этихъ именъ,—хотя, быть можетъ, и не изъ первыхъ рядовъ,—стояло на обложкѣ книги.

— Они-съ, Дмитрій Орестовичъ, сочинили, — сказалъ Кругликовъ, тщательно завертывая книгу въ какой-то почтовый бланкъ. Очевидно, онъ хранилъ ее съ гордостью, какъ одно изъ своихъ самыхъ лестныхъ воспоминаній о невозвратномъ прошломъ.

„Да, такъ иду мимо него, слышу, окликается:— „Эй, вы, господинъ Венецыянъ, подите-ка сюда!“

„Подошелъ я, вижу, что меня зоветъ. Шутникъ былъ.

„— Что угодно-съ?

„— Что вы это, говоритъ, маркграфиню - то бранденбургскую совсѣмъ, что ли, бросили? Вѣдь убивается.—Посмотрѣлъ на меня этакъ съ головы до ногъ...—И то, говоритъ, какъ объ этакомъ храбрѣмъ рыцарѣ не убиваться...“

„Вижу я, что это насмѣшка, а все-таки человѣкъ онъ былъ души добрейшей. Рая тоже сначала очень его боялась, потому что все больше смѣшкомъ да срывомъ, а послѣ очень хвалила. Я не обижаюсь и говорю ему:

„— Что мнѣ дѣлать, Дмитрій Орестовичъ, научите!

„— А вы, говорить, не знаете?

„— То-то, не знаю.

„— Ну, такъ и я тоже не знаю... А все-таки долженъ вамъ передать, что Райса Павловна ждетъ васъ сегодня въ сумерки у себя. Отца не будетъ, свирѣпый сераскиръ тоже въ Рамбовъ уѣхалъ. Прощайте!

„— Посовѣтуйте, Дмитрій Орестовичъ, какъ мнѣ быть!

повернулся, въ глаза не смотреть... Э-эхъ! чуялъ, вѣдь, что сына губить изъ-за гордости своей... Да, видно, судьба!...

„— Что, говорить, надо?

„Я въ ноги. Куда тутъ,—и слушать не хочетъ. Всталъ я тогда и говорю:

„— Ну, когда такъ, то я нахожусь въ совершенныхъ моихъ лѣтахъ. Женюсь безъ приданаго“.

„А родитель у меня, надо замѣтить, хладнокровенъ былъ. Шею имѣлъ покойникъ короткую и доктора сказали, что можетъ ему отъ волненія произойти внезапная кончина. Поэтому кричать тамъ или ругаться шибко не любили. Только, бывало, лицо кровью наливается, а голосъ и не дрогнетъ.

„— Вотъ, говорить, что: дуракъ ты, Вася, право дуракъ! Говоришь, а не сдѣлаешь... А я скажу, такъ ужъ будетъ по-моему. Помни это: при твоихъ совершенныхъ лѣтахъ я тебя одеру, какъ сидорову козу...

„— Не можетъ быть, говорю,—я чиновникъ.

„— Не вѣришь? Ладно“.

„Отворилъ окно, поманилъ пальцемъ... Жили у насъ во дворѣ, во флигелечкѣ, два брата—бомбардиры отставные, здоровенные подлецы, усищи у каждаго по аршину, морды красныя, сапожники: гдѣ починить, гдѣ подметку подкинуть, гдѣ и новую пару сшить, а болѣе насчетъ пьянства. Вошли въ комнату, стали у косяковъ, только усами водятъ, какъ тараканы: не перепадетъ ли? Отецъ подносить по рюмочкѣ.

„— Вотъ, говорить, вамъ, господа бомбардиры, шнап-

чувствительная, право, исторія!.. Ну-ка ты, бѣдняга, чебурахни стаканчикъ! Ничего, братъ, что дѣлать! Жизнь наша, братецъ, юдоль...

Кругликовъ стыдливо подошелъ, налилъ, выпилъ и обтеръ лицо фуляромъ.

— Простите, господа почтенные,—не могу... Въ послѣдній разъ я тогда Раичку свою обнималъ. Съ этихъ поръ уже она для меня Раиса Павловна стала, рукой не достать... воспоминаніе и святыня-съ... Недостойнъ...

— Ну, ну,—защищался Копыленковъ отъ новаго припадка чувствительности,—ты ужь, братецъ, какъ-нибудь того, какъ-нибудь досказывай дальше. Что ужь тутъ...

„Ну, просидѣли мы вечеръ этотъ, я и не замѣтилъ, какъ Раиса Павловна повеселѣла маленько. Часто у ней это бывало,—какъ солнышко изъ за-тучи!..

„— Полно, говоритъ, кого это мы хоронимъ. Ничего! Видно и наше время настало. Укрѣпляйся, Васенька, а ужь я-то не сдамся! Пока можно,—будемъ, говоритъ, о себѣ хлопотать, а нельзя станетъ,—вотъ, посмотри, что я купила намедни...“

„Сама смѣется, а изъ комода вынимаетъ пистолетикъ. Такъ, небольшая штучка,—ну, да вѣдь все-таки оружіе огнестрѣльное, не шутка. У меня даже въ пятки вступило... Вотъ подъ конецъ вечера я эту штучку-то у нея изъ стола взялъ да тихонечко въ карманъ боковой и спряталъ... Спряталъ, да такъ и забылъ, да и она-то не хватилась... Самъ на слѣдующій день храбрость на себя напустилъ, иду къ родителю. Сидѣлъ онъ у себя, чертежи дѣлалъ, судно они новое строили... Увидѣлъ меня,

жое помышленіе,—получше тебя женихъ найдется. Ступай!”

„Опустилъ я голову.

„— Желаю вашему превосходительству многія лѣта...”

„Вышелъ изъ кабинета, слезы у меня такъ и текутъ. Въ канцеляріи и то удивляются. Должно быть, говорить, вѣдомости перепуталъ. А ужъ какія тутъ вѣдомости,—свѣтъ мнѣ не милъ: тутъ—начальникъ, домой придешь—бомбардиры выбѣгаютъ изъ флигеля, на окно къ отцу смотреть, нѣтъ ли сигнала... Просто некуда стало податься, и что мнѣ дѣлать, не знаю, потому что выходу себѣ не вижу. Извожусь. Отецъ ужъ самъ сталъ замѣчать и бомбардирамъ запретилъ меня тревожить. Выскочили они разъ за сигналомъ, такъ я весь задрожалъ, грохнулся о землю, изо рта пѣна пошла. Ну, отецъ видитъ, что испортилъ меня тиранствомъ, велѣлъ оставить, подумывать сталъ, сдѣлался осторожнѣе. А гордость-то все-таки осталась... Царствіе небесное! Пока живъ былъ, не оставлялъ меня. Писалъ три раза въ годъ и деньги сюда посылалъ. Передъ смертью письмо прислалъ: „Простишь ли, сынъ мой, что я тебя несчастнымъ сдѣлалъ?...“ Богъ проститъ, конечно. Меня - то вотъ... меня-то никто не простилъ...”

— Ну?—прервалъ опять Копыленковъ тяжелое, хотя и не долгое молчаніе, и Кругликовъ продолжалъ рассказъ:

„Врагъ-то мой видитъ, что я ослабъ, тутъ-то и вздумалъ насѣсть. Черезъ недѣлю этакъ или маленько побольше зовутъ меня къ начальнику. Встрѣчаетъ серьезно.

„— Одѣвайтесь!“

„Я одѣлся. Выходить, приказываетъ въ карету садиться. Сѣлъ; поѣхали. Дорогой-то все молчалъ, потомъ говорить:

„— Знаете ли, молодой человѣкъ, куда вы ѣдете?

„— Не могу знать.

„— Подумайте хорошенько сами о себѣ. Отъ этого, говорить, зависитъ вся ваша будущность. Мнѣ, говорить, нужны преданные подчиненные, а кто не преданъ, говорить, кто только о своемъ удовольствіи думаетъ, такихъ мнѣ не надо-съ, такіе пусть уходятъ, такихъ на службѣ терпѣть невозможно-съ“...

„Вижу, сердится, дрожить весь въ каретѣ, а я сижу напротивъ и тоже дрожу.

„— Къ Раисѣ Павловнѣ мы ѣдемъ. Проси ее за меня замужъ идти, посоветуй! Ты ей другъ дѣтства, твоего совѣта она послушаетъ. А впрочемъ, какъ знаете, молодой человѣкъ, можетъ у васъ иныя мысли...

„— Радъ, говорю, заслужить... ваше превосходительство“.

„Люди потомъ говорили, которые меня видѣли, какъ я изъ кареты съ нимъ выходилъ: лица, говорятъ, не было на мнѣ; а что думалъ въ то время, ничего не помню. Послѣ приговоръ объявляли, тоже везли,—легче было, вѣрьте слову моему: легче было...

„Ну, приѣхали. Помню, входимъ въ гостиную, а навстрѣчу студентъ идетъ. Увидѣлъ меня, остановился.

„— А, говорить, такъ и думалъ! Хорошъ г-нъ Венеціанъ, нечего сказать... И сераскиръ тутъ же?

„Генераль позеленѣлъ весь и говоритъ, а все-таки не громко, чтобы Раиса Павловна не слыхала:

„— Я вамъ, молодой человѣкъ, не сераскирь, не серасс-кирь, а государя моего статскій совѣтникъ! Прошу впередъ не забывать-сь!...

„Студентъ усмѣхнулся и говоритъ:

„— Ну, тамъ коллежскій или какой, а только позволю себѣ доложить: напрасно беспокоитесь. До свиданья-сь!“ — И ушелъ.

„Генераль тоже ушелъ впередъ, а я въ гостиной остался... Потомъ, сколько уже тамъ времени прошло, не знаю, генераль опять дверь отворяетъ, пальцемъ меня манить. Вздвогнулъ я весь, точно смерть увидалъ, а встаю со стула, иду... въ комнату къ Раисѣ Павловнѣ. Сидитъ она въ креслѣ, за грудь держится, на дверь смотритъ. Хотѣла встать ко мнѣ, подбѣжать, что ли,—не можетъ. Глаза большіе-пребольшіе, смотрятъ мнѣ въ душу... Ахъ, Боже мой, Боже мой! Что я за человѣкъ за несчастный!...”

Опять водворилось короткое молчаніе.

— Странное дѣло, — продолжаетъ затѣмъ Василій Спиридоновичъ.—Показалось мнѣ опять: не она да и только, или вотъ: на горѣ на какой стоитъ высочайшей, что взглянуть трудно... Откинулась она на стулѣ, смотреть, ждать, что такое будетъ. Генераль засѣмнилъ, захопоталъ: къ ней повернется,—такъ и юлитъ, и голосъ не его; ко мнѣ повернется,—глаза вотъ такъ и выскочатъ.

„— Вотъ, говоритъ, Раиса Павловна, вы мнѣ не вѣ-

рили, онъ вотъ и пріѣхалъ! Послушайтеъ хоть его, друга вашего дѣтства...

„Она опять схватилась было, оперлась этакъ руками обѣими на столикъ, стоитъ, посмотригъ на меня и спрашиваетъ...

„— Ну, что же, говорите, что хотѣли сказать. Я слушаю...

„Генераль тоже повернулся, смотреть прямо на меня.

„— Вѣдь ты, Кругликовъ, пріѣхалъ моимъ сватомъ, не такъ ли? А что же ты, милый, молчишь? Такъ—такъ—такъ, а нѣтъ, ты скажи: нѣтъ! Тогда, ужъ значить, я совралъ Раисѣ Павловнѣ, я ужъ тогда обманщикъ. Говори: правду я сказалъ, или нѣтъ?

„— Такъ точно, вашество“...

— Вотъ убейте меня сейчасъ, не знаю, какъ и сказалъ. Будто кто другой во мнѣ говоритъ, а я слушаю. Кажется, задушилъ бы, кто и слова-то эти сказалъ, а сказалъ же!

— Нѣтъ, что-жъ, это ты хорошо, — позволилъ успокоившійся Копыленковъ. — Все-таки начальника уважилъ.

Кругликовъ опять посмотрѣлъ съ удивленіемъ, опять какъ будто не слышалъ, занятый рассказомъ, и обратился ко мнѣ:

— Да, вотъ сказалъ же!... Генераль отвернулся, сейчасъ ручку дѣловать. Она руки не отымаешь, не смотреть на него, повернула голову ко мнѣ.

„— А что, говоритъ, можете ли вы его, Семенъ Семеновичъ, въ лакеи къ себѣ взять?...—И засмѣялась.

„Генераль видитъ, что она смѣется, и самъ обрадовался.

„— Могу, говорить, если вы, моя королева, захотите!“

„— Возьмите, только жалованьемъ, говорить, — жалованьемъ-то... не обижайте...

„— Отлично!“—говоритъ генераль.

„Я стою, слушаю, будто не обо мнѣ это говорятъ. А у самого въ головѣ: пройти сейчасъ въ переднюю. Въ передней-то пальто виситъ, а въ пальто, въ боковомъ карманѣ—пистолетъ Раисы Павловны. Такъ вотъ и вижу его, какъ онъ въ боковомъ-то карманѣ прикурнулъ. Какъ бы, думаю, только генераль не замѣтилъ, а то какъ я выйду?

„Вышелъ, однако, тихонько, прошелъ черезъ гостиную, никого не встрѣтилъ. Въ передней—тоже. Къ вѣшалкѣ, къ пальто, въ карманъ,—пистолетъ тамъ! Всю недѣлю о немъ позабылъ, а тутъ вотъ вдругъ и вспомнилъ... Обрадовался. Вынулъ, посмотрѣлъ—заряды тутъ. Иду назадъ, крадусь. Въ гостиной половникъ лежитъ, шаговъ не слышно... Дверь приотворена, никто все-таки не видитъ. Рая сидитъ въ креслѣ, руками лицо закрыла; генераль тутъ же юлитъ, говоритъ что-то, дьяволить, проситъ... Повернись онъ только,—кажется, никогда бы этого и не было. Да вѣдь не повернулся. Выглянулъ я изъ-за двери, да тихонько, на цыпочкахъ—къ нему... Въ послѣднюю минуту Раиса Павловна услышала, что ли, открыла лицо, взглянула, да такъ и замерла. А я поскорѣе еще шага два ступилъ... Только бы, думаю, генераль-то не повернулся. И... бацъ, бацъ въ него... сзади все...

— Убилъ?—въ ужасѣ приподнялся Копыленковъ.

— Нѣтъ, не убилъ, — со вздохомъ облегченія, какъ будто весь рассказъ лежалъ на немъ тяжелымъ бременемъ, произнесъ Кругликовъ. — По великой ко мнѣ милости Господней, выстрѣлы-то оказались слабые и, при томъ, въ мягкія части-съ... Упалъ онъ, конечно, закричалъ, забарахтался, завизжалъ... Раиса къ нему кинулась, потомъ видитъ, что онъ живой, только раненъ, и отошла. Хотѣла ко мнѣ подойти, потомъ отъ меня... кинулась въ кресло и заплакала.

„— Господи, говоритъ, сзади... подкрался... какая нистость...“ И все пуще, да пуще и плачетъ, и смѣется... Истерика! А тутъ и люди сбѣжались. Ну, дальше - то извѣстно что: арестовали.

— Ну, выпьемъ!—сказалъ Копыленковъ. — Все, что ли? Очень ужъ страшно. Ахъ, братецъ ты мой! И отчаянные же вы, право отчаянные!... Какъ это вы можете только...

— Сужденъ старымъ судомъ, безъ снисхожденія. Можеть быть теперь бы... муку бы мою во вниманіе взяли, что я былъ человѣкъ измученный... А тогда всякая была вина виновата. Услали. Отецъ въ годъ постарѣлъ на десять лѣтъ, осунулся, здоровьемъ ослабъ, мѣста лишился, а я вотъ тутъ пропадаю.

— А Раиса Павловна?

Г. Кругликовъ всталъ, вошелъ въ свою каморку, снялъ со стѣны какой-то портретъ въ вычурной рамкѣ, сдѣланной съ очевидно-нарочитымъ стараніемъ какимъ-нибудь искуснымъ поселенцемъ, и принесъ его къ намъ. На портретъ, значительно уже выцвѣтшемъ отъ време-

ни, я увидѣлъ группу: красивая, молодая женщина, начина съ рѣзкими характерными чертами лица, съ умнымъ взглядомъ сѣрыхъ глазъ, въ очкахъ, и двое дѣтей.

— Неужели это?...

— Онѣ-съ,—сказалъ Кругликовъ почтительно. — Раиса Павловна. А это ихъ супругъ, Дмитрій Орестовичъ. Не забываютъ. Къ новому году жду письма-съ. И портретъ этотъ прислали по униженной моей просьбѣ, да и... деньгами когда... тоже самое...

Онъ говорилъ почтительно, какъ будто это была не та Рая, съ которой онъ нѣкогда читалъ о королевнахъ Ропцвынахъ и Францяхъ Венеціанскихъ. Только когда онъ указывалъ на старшую дѣвочку, тоненькую, свѣтловолосую, съ большими мечтательными глазами, то голосъ его опять слегка дрогнулъ.

— Похожа... двѣ капли воды Раиса Павловна дѣвочкой-съ.

Онъ быстро взялъ портретъ, къ которому потянулся было заинтересованный Копыленковъ, унесъ въ свою комнату и долго стоялъ тамъ у стѣны, какъ прежде передъ почтовымъ объявленіемъ

VIII.

Послѣ этого никакіе уже разговоры не плелись. Сторожъ принесъ въ печурку дровъ, въ ямщицкой куртѣ огромный камелекъ тоже заставили дровами, такъ какъ

огонь разводится на всю ночь. Пламя разгорѣлось и трещало. Въ пріоткрытую дверь все еще виднѣлись у огня фигуры ямщиковъ, лежавшихъ вокругъ камелька на скамьяхъ.

Ать-Даванъ успокоился на ночь.

Г. Кругликовъ отвелъ намъ сосѣднюю комнату, гдѣ Копыленковъ тотчасъ же заснулъ. Станціонная комната осталась незанятою.

— Для Арабина?—спросилъ я.

— Да,—какъ-то особенно угрюмо отвѣтилъ Кругликовъ. Женщина, прислуживавшая намъ, вѣроятно, давно спала, поэтому г. Кругликовъ хлопоталъ самъ. Онъ накидалъ въ самоваръ мелкаго льду, бросилъ углей и поставилъ его, на случай, у камелька. Потомъ принялся убирать со стола, причемъ не преминулъ, уставляя бутылки, выпить еще рюмку какого-то напитка. Онъ становился все болѣе угрюмъ, но, казалось, сонъ совсѣмъ не имѣлъ надъ нимъ власти.

Наконецъ, на Ать-Даванѣ все смолкло. Только по временамъ снаружи трещалъ морозъ, да въ потемнѣвшихъ комнатахъ, по которымъ пробѣгали теперь только трепетные красноватые отблески пламени, слышались по временамъ глухіе шаги и шлепанье валенокъ, а порой тихо звенѣла рюмка и булькала наливаемая жидкость. Г. Кругликовъ, которому расшевелившіяся воспоминапія, повидимому, не давали заснуть, какъ-то тоскливо совалясь по станціи, по временамъ вздыхалъ, молился, или ворчалъ что-то про себя.

Я забылся
.

Когда я очнулся, была все еще глухая ночь, но Ать-Даванъ весь опять ожилъ, сіялъ и двигался. Со двора несея звонъ, хлопали двери, бѣгали ямщики, фыркали и стучали копытами по скрипучему свѣгу быстро проводимыя подъ стѣнами лошади, тревожно звенѣли другіе съ колокольцами и все это какимъ-то шумнымъ потокомъ стремилось со станціи къ рѣкѣ.

Въ сосѣдней комнатѣ г. Кругликовъ, не торопясь, зажигалъ свѣчи; сѣрная спичка сначала кинула синеватый мертвенный свѣтъ, потомъ вдругъ разгорѣлась и освѣтила комнату.

Г. Кругликовъ поднесъ ее къ свѣтильнѣ, зажегъ свѣчу и повернулся. Передъ нимъ невдалекѣ стояла новая фигура. Человѣкъ въ оленьей дохѣ съ капишономъ, запорошенный спѣгомъ. Изъ-подъ оленьяго мѣшка глядѣли два черные глаза, слегка скошенные, какъ у карыма, виднѣлось блѣдное лицо, тонкій носъ и длинные, черные, опущенные книзу усы. По этимъ чертамъ я узналъ Арабынъ-тойона, котораго съ такимъ тихимъ трепетомъ и смиреніемъ ждалъ Ать-Даванъ уже нѣсколько дней. И, въ то же время, это былъ мой знакомый, козацкій хорунжій, незначительный и застѣнчивый въ Иркутскѣ.

Повидимому, первый выходъ обѣщалъ, что все сойдетъ благополучно. Арабынъ, очевидно, сильно усталъ: можетъ-быть отъ дороги, а можетъ-быть также—отъ роли грознаго Арабынъ-тойона... Казалось, онъ хочетъ просто отдохнуть, напиться чаю, прилечь... Теперь онъ стоялъ, слегка опустившись, съ соннымъ лицомъ, въ ожиданіи свѣта. Только по временамъ въ мутныхъ глазахъ заго-

ралось нетерпѣніе, да еще... Г. Кругликовъ совсѣмъ не былъ похожъ на того маленькаго, невзрачнаго и смѣшнаго человѣчка, который еще вчера униженно просилъ пожалѣть его и не требовать лошадей. Теперь онъ былъ угрюмъ, серьезенъ и сдержанъ. Движенія его были неторопливы и полны какой-то рѣшимости. Онъ даже какъ будто выросъ. Повидимому, вчерашній рассказъ, большое количество водки, пары которой только проходили черезъ его голову, разгоряченную старыми растревоженными воспоминаніями, и ночь безъ сна—все это не прошло для г. Кругликова даромъ.

— Чортъ возьми!—произнесъ Арабинъ нетерпѣливо.— Шевелись тамъ!

— Покорнѣйше прошу потише, здѣсь проѣзжающіе,—спокойно отвѣчалъ Кругликовъ.

Арабинъ снималъ свою шапку и, когда снялъ ее, то въ его черныхъ глазахъ сверкнуло что-то вродѣ изумленія. Однако, онъ все еще, повидимому, старался удержаться.

— Самоваръ!—буркнулъ онъ, кидая доху и садясь къ столу.

— Готовъ.

— Лошадей!

— Пожалуйте прогоны.

Голова Арабина, низко остриженная, съ тонкими, слегка торчащими по-монгольски ушами, повернулась тревожно и живо. Въ глазахъ сверкнуло уже что-то порѣзче простого удивленія. Онъ поднялся и произнесъ опять:

— Лошадей, живо!

— Прогоньте пожалуйста, — съ какимъ-то вызывающимъ спокойствіемъ отрѣзалъ г. Кругликовъ.

Вблизи меня что-то зашевелилось. Проснувшійся Копыленковъ, полусидя на кровати, старался безъ шума натянуть какую-то принадлежность костюма съ такимъ видомъ, будто на станціи начинался пожаръ. Его шея была вытянута, простодушно-хитрые глаза сверкали въ полутьмѣ отъ испуга и любопытства.

— Ну, что-то будетъ, — наклонясь вдругъ ко мнѣ, прошепталъ онъ, — бѣда!... И отчаянный же этотъ Кругликовъ... Помни, братецъ ты мой, мы съ тобой ничего не видали, — въ свидѣтели еще попадешь...

Только теперь, послѣ этихъ словъ, я сообразилъ положеніе вещей... Спрашивать у г. Арабина, извѣстнаго и грознаго Арабинъ-тойона, прогонь, да еще такимъ рѣшительнымъ тономъ, да еще какъ условіе подачи лошадей, — это было со стороны смиреннаго, пріютившагося подлѣ дикими горами Атъ-Давана неслыханная дерзость. Арабинъ вскочилъ, сердито дернулъ къ себѣ сумку, выхватилъ какую-то бумагу и порывисто швырнулъ ее Кругликову. Но всему было видно, что онъ, усталый и разбитый, хочетъ удержаться въ извѣстныхъ предѣлахъ, что ему теперь тяжела и непріятна роль грознаго Арабинъ-тойона, въ этотъ поздній часъ, на тепломъ и освѣщенномъ Атъ-Даванѣ. Но онъ не хотѣлъ также платить прогонь, тѣмъ болѣе, что эта тихая, смиренная Дена имѣетъ одну особенность: заплати г. Арабинъ на Атъ-Даванѣ — и его престижъ сразу падетъ, и уже

всюду, на протяженіи трехъ тысячъ верстъ, ямщики отъ станка до станка разнесутъ извѣстіе, что улаханъ Арабинъ-тойонъ сдался и платить... И всюду уже съ него неотступно потребуютъ тоже прогоновъ. Онъ, вѣроятно, надѣялся еще, что Кругликовъ забылъ, кто онъ такой, и бумага ему напомнитъ. Но вышло еще хуже.

Кругликовъ, все также не торопясь, развернулъ бумагу, прочиталъ ее внимательно, долго переводилъ глаза отъ строки къ строкѣ и потомъ сказалъ:

— Здѣсь вотъ сказано: „на четверку лошадей за прогоны“. А вы берете шестерку подъ двѣ повозки и не изволите платить прогоновъ. Незаконно-съ...

Голосъ его звучалъ также спокойно, но онъ какъ будто разнесся по всему Атъ-Давану. Шумъ, которымъ былъ полонъ станокъ, пріостановился, ямщики тѣснились съ робкимъ интересомъ къ дверямъ, ведущимъ изъ ямщицкой въ горницы, Копыленковъ притаилъ дыханіе.

Арабинъ вострепнулся, окинулъ станокъ вспыхнувшимъ взглядомъ, выпрямился, стукнулъ кулакомъ по столу и по лицу его пробѣжало злобщее выраженіе.

— Молчать!—крикнулъ онъ.—Это что... бунтъ?

— Никакого бунту-съ... по закону. Что въ самомъ дѣлѣ, до коихъ поръ...

Кругликовъ не успѣлъ окончить. Сильный ударъ свалилъ его съ ногъ... Арабинъ кинулся было къ лежащему...

Я вбѣжалъ въ ту комнату и остановился. Арабинъ стоялъ противъ меня, удивленный моимъ неожиданнымъ

появленіемъ. Это, вѣроятно, спасло и Кругликова, и самого Арабина отъ дальнѣйшихъ послѣдствій его изступленія. Блѣдное лицо его подергивалось, въ глазахъ бѣгало что-то безпокойное и больное. Казалось, козацкій хорунжій, забывшій на Ленѣ о томъ, что онъ только козацкій хорунжій, и самъ уже отвыкъ представлять себя иначе, какъ Арабынъ-тойономъ, могучимъ и грознымъ, съ головой выше приленскихъ сопокъ. И вдругъ мое появленіе перенесло его въ Иркутскъ, въ низкую комнату, гдѣ голова хорунжаго далеко не достигала потолка и не поднималась выше десятковъ другихъ, самыхъ обыкновенныхъ, головъ.

Однако Атъ-Даванъ не замѣтилъ ни этой растерянности, ни этого дупевнаго движенія. Онъ видѣлъ только ударъ, видѣлъ, что писарь лежалъ на полу. Двери изъ ямской захлопнулись, на дворѣ опять началась бѣготня. Изъ нашей комнаты слышался притворный храпъ Михайла Ивановича...

Очевидно, бунтъ, бунтъ въ Атъ-Даванѣ, прекратился, и Арабынъ-тойонъ остался для Атъ-Давана тѣмъ же могучимъ и грознымъ, о которомъ недавно пѣла пѣсня.

Черезъ нѣсколько мгновеній Кругликовъ поднялся съ полу, и тотчасъ же мои глаза встрѣтились съ его глазами. Я невольно отвернулся. Во взглядѣ Кругликова было что-то до такой степени жалкое, что у меня сжалось сердце,—такъ смотреть только у насъ на Руси... Онъ всталъ, отошелъ къ стѣнѣ и, прислонясь плечомъ, закрылъ лицо руками. Фигура опять была вчерашняя, только еще болѣе убитая, приниженная и жалкая.

Женщина торопливо внесла самоваръ, искося и съ жалостью кинувъ на хозяина быстрый взглядъ... Арабинъ, тяжело дыша, усѣлся за самоваръ.

— Я вамъ покажу бунтовать!—ворчалъ онъ. Дальше его разобрать было трудно. Слышно было, однако, какое-то упоминаніе о „свидѣтеляхъ“, которымъ г. Арабинъ совѣтовалъ отправиться ко всѣмъ чертамъ, и еще что-то въ томъ же родѣ.

IX.

Между тѣмъ въ полутьмѣ нашей комнаты Михайло Ивановичъ Копыленковъ спѣшно заканчивалъ свой туалетъ. Черезъ нѣсколько минутъ онъ появился въ дверяхъ, одѣтый, застегиваясь, покашливая и стараясь изобразить на лицѣ привѣтливую улыбку.

Арабинъ взглянулъ на это неожиданное появленіе съ выраженіемъ сердитаго недоумѣнія. Повидимому, онъ не могъ понять сразу, чтѣ нужно этому улыбающемуся, подпрыгивающему на ходу и кланяющемуся незнакомцу, однако пріязненные улыбки и поклоны озадачивали его и предупреждали вспышку не утихшей еще свирѣпости. Онъ подносилъ слегка дрожащею рукой блюдо съ горячимъ чаемъ и искося слѣдилъ за маневрами Копыленкова.

— Вамъ что надо?—вдругъ отчеканилъ онъ рѣзко, ставя блюдо на столъ.

Копыленковъ чуть-чуть дрогнулъ, но тотчасъ же опять принялъ прежнее выраженіе открытой любезности.

— Собственно ничего-съ. Почтеніе засвидѣтельство-
вать... Не изволили признать, видно... У Левъ Степано-
вича, у горнаго исправника, если изволите вспомнить,
имѣли разговоръ и даже-съ дѣльце одно происходило...

— А-а!... Ну, такъ,—произнесъ Арабинъ, опять при-
нимаясь за чай.— Теперь помню.

— Именно-съ, — обрадовался Копыленковъ. — А мо-
гу побеспокоить вопросомъ, по какому болѣе дѣлу изво-
лили...

— Не ваше дѣло!

— Это справедливо,—смирненно согласился Михайло
Ивановичъ.

Бѣдняга не могъ понять, что самое упоминаніе объ
Иркутскѣ, о горномъ исправникѣ, обо всѣхъ этихъ буд-
ничныхъ дѣлахъ не могло быть пріятно Арабинъ-той-
ону, все еще паходившемуся въ эпическомъ, сказочномъ
мірѣ.

— Справедливо-съ,—въ раздумьѣ еще разъ произнесъ
Копыленковъ и, чтобы удержать позицію, прибавилъ:—
Сердиться изволили тутъ мало-мало... Сейчасъ, то-есть,
я говорю... Да ужъ истинно, что въ здѣшнихъ мѣстахъ
ангелъ и тотъ разсердится. Вѣрно!

Онъ покосился въ сторону Кругликова и вздохнулъ:

— Необразованность!

Однако и это не помогло. Арабинъ не обратилъ на
него вниманія, допилъ стаканъ, вынулъ книжку, что-то
записалъ въ ней, потомъ торопливо одѣлся, рванулся
къ двери, потомъ остановился, взглянулъ, нѣтъ ли въ
дверяхъ кого-либо изъ ямщиковъ, и, будто обдумавъ что-

то, вдругъ рѣзкимъ движеніемъ швырнулъ деньги. Двѣ бумажки мелькнули въ воздухѣ, серебро со звономъ покатилося на полъ. Арабинъ исчезъ за дверью и черезъ минуту колокольчики бѣшено забили на рѣкѣ подь обрывомъ.

Все это было сдѣлано такъ неожиданно и быстро, что всѣ мы, трое безмолвныхъ свидѣтелей этой сцены, не сразу сообразили, чтò это значитъ. Какъ всегда въ денежныхъ вопросахъ, первый, однако, догадался Копыленковъ:

— Уплатилъ!—произнесъ онъ съ величайшимъ изумленіемъ.—Слышь ты, Кругликовъ? Вѣдь это, смотри, проигрыш. Вотъ такъ исторія!

Изъ ямщиковъ никто не былъ свидѣтелемъ этой уступки со стороны грознаго Арабынъ-тойона.

Х.

Позднимъ утромъ слѣдующаго дня мы съ Копыленковымъ опять усаживались въ свой возокъ. Морозъ не уменьшался. Изъ-за горъ, синѣвшихъ въ морозномъ туманѣ за рѣкой, блѣдными столбами прорывались лучи восходящаго солнца. Лошади бились и ямщики съ трудомъ удерживали озябшую тройку.

На Атъ-Даванѣ было грустно, сѣро и тихо. Кругликовъ, подавленный обрушившеюся вчера невзгодой, угнетенный и печальный, проводилъ насъ до саней, вздрагивая отъ холода, похмѣлья и печали. Онъ съ какимъ-то

подобострастіемъ подсаживалъ Копыленкова, запахивалъ его ноги кошмой, задерживалъ пологомъ.

— Михаилъ Ивановичъ, — произнесъ онъ съ робкою мольбой, — будьте благодѣтель, не забудьте насчетъ мѣстечка-то. Теперь ужъ мнѣ здѣсь не служить! Сами видѣли, грѣхъ какой вышелъ...

— Хорошо, хорошо, братецъ! — какъ-то неохотно отвѣтилъ Копыленковъ.

Въ эту минуту ямщики, державшіе лошадей, раскочились въ стороны, тройка кохватила съ мѣста и мы понесли по ледяной дорогѣ. Обрывистый берегъ убѣгалъ назадъ, туманныя сопки, на которыя я глядѣлъ вчера, — таинственныя и фантастическія подъ сіяніемъ луны, — надвигались на насъ теперь — хмурыя и холодныя.

— Ну, что - жь, Михаилъ Ивановичъ, — спросилъ я, когда тройка побѣжала ровнѣе, — доставите вы ему мѣсто?

— Нѣтъ! — отвѣтилъ Копыленковъ равнодушно.

— Но почему же?

— Вредный человѣкъ-съ, самый опасный, д-да!... Вы вотъ разсудите-ка объ его поступкахъ. Ну, захотѣлъ онъ тогда, въ Кронштадтѣ-то въ этомъ, начальника уважить, — и уважь! Отказался бы въ-чистую отъ невѣсты и былъ бы вѣкъ свой счастливъ. Мало ли ихъ, невѣстовъ этихъ! Отъ одной отступился, — взялъ другую, только и было. А его бы за это человѣкомъ сдѣлали. Нѣтъ, онъ, вотъ, смотрите-ка какъ уважилъ... изъ пистолета! Ты, братецъ, суди по человѣчеству: ну, кому это можетъ быть пріятно? И что это за поведеніе за такое... Сегодня онъ васъ такъ уважилъ, а завтра меня.

— Да вѣдь это давно было. Теперь онъ не тотъ.

— Нѣтъ, не скажи! Послушалъ бы, какъ онъ вчера съ Арабинымъ-то разговаривалъ...

— Я слышалъ: требовалъ прогоны, — это его обязанность.

Копыленковъ повернулся съ досадой ко мнѣ.

— Вѣдь, вотъ, умный ты человекъ, а простого дѣла не понимаешь. Прогонь!... Нешто онъ ему одному не платилъ? Чай онъ, можетъ, сколько тысячъ верстъ ѣхалъ, ни гдѣ не платилъ. На вотъ, ему подавай, велика птица!

— Обязанъ платить.

— Обязанъ! Кто его обязалъ-то, не вы ли съ Кругликовымъ со своимъ?

— Законъ!

— За-а-конъ... То-то вотъ и онъ вчера заладилъ: законъ. Да онъ знаетъ ли еще, какое это слово: „законъ“?

— Какое?

— А такое: разъ ты его скажи, десять разъ про себя поддержи, пока не спросятъ. А то, вишь ты, развеличался: законъ, по закону!... Дубина ты, а не законъ тебѣ!

Видя, что Михайло Ивановичъ начинаетъ сердиться свыше всякой мѣры, и опасаясь, чтобъ окончательно не испортить дѣла, я попробовалъ зайти, въ интересъ Кругликова, съ другой стороны.

— Однако вспомните, Михаилъ Ивановичъ, вѣдь вы же ему общались.

— Мало ли что общалъ... Разжалобился, оттого и общалъ... Подымай!—крикнулъ вдругъ Михайло Ивановичъ, такъ какъ возокъ, скользя съ наклонной

льдины, опять опрокинулся и опять Михайло Ивановичъ очутился подо мной.

Пришлось выйти. Вѣроятно, въ этомъ мѣстѣ борьба рѣки съ морозомъ была особенно сильна: огромныя, бѣлыя, холодныя льдины обступили насъ кругомъ, закрывая перспективу рѣки. Только по сторонамъ дикія и даже страшныя въ своемъ величїи горы выступили рѣзко изъ тумана, да вдали, надъ хаотически-нагроможденнымъ торосомъ, тянулась едва замѣтная бѣлая струйка дыма. Это, должно быть, и былъ Атѣ-Даванъ.

ЧЕРКЕСЪ.

Очеркъ.

I.

— Иванъ Семенычъ, а Иванъ Семенычъ!...

— Ммм... — послышалось въ отвѣтъ изъ глубины повозки.

— Только и есть у нихъ: мычать какъ коровы. У-у, падалъ, прости Господи, а не унтеръ, чтобъ васъ извило...

Я не видѣлъ лица унтеръ-офицера Чепурникова, произносившаго злобнымъ голосомъ эти слова, но ясно представлялъ себѣ его сердитое выраженіе и даже сверкающій глубокою враждой взглядъ, устремленный въ томъ направленіи, гдѣ предполагалось неподвижное, грузное тѣло унтеръ-офицера Пушныхъ.

Ночь была темна, а въ нашей повозкѣ, конечно, еще темнѣе. Колеса стучали по крѣпко смерзшимся колеямъ, надъ головой чуть маячилъ переплетъ обтянутаго кожей верха; онъ казался темнымъ полукругомъ и трудно было

даже разобрать, дѣйствительно ли это переплеть надъ самою головой, или темная туча, несущаяся за нами въ вышинѣ. Фартукъ былъ задернутъ, и въ небольшое пространство, оставшееся открытымъ, то и дѣло залетали къ намъ изъ темноты острыя снѣжинки, коловшія лицо точно иглами.

Дѣло было въ ноябрѣ, въ распутицу. Мы ѣхали къ Якутску, путь предстоялъ длинный, и мы мечтали о санной дорогѣ. На станціяхъ обнадеживали, что отъ Качуга по Ленѣ уже ѣздить на сапяхъ, но пока насъ немилосердно трясло по замерзшимъ колеямъ.

Унтеръ - офицеръ Чепурниковъ отдернулъ фартукъ. Рѣзкая струя вѣтра ворвалась къ намъ, и Пушныхъ зашевелился.

— Ямщикъ! Что, еще далече до станціи?

Ямщикъ нашъ былъ одѣтъ въ пеструю и мохнатую собачью доху, а такъ какъ темныя пятна этой дохи сливались съ темною же, какъ чернила, ночью, то на облучѣ намъ виднѣлась лишь странная куча бѣлыхъ заплатокъ, что производило самое фантастическое впечатлѣніе.

— Верстовъ еще съ десять, — слышалось оттуда.

— Хлопаешь, зря: ѣдемъ-ѣдемъ — все десять верстовъ.

Чепурниковъ нервничалъ и сердился.

Ямщикъ равнодушно пробурчалъ что-то, нѣсколько придержалъ лошадей и набилъ трубку. Мгновенно вспыхнувшій огонекъ освѣтилъ невѣроятной формы мохнатую шапку, обмерзшее лицо, отвернувшееся отъ вѣтра, и скрючившіяся отъ мороза руки.

— Ну, ты, поѣзжай, что ли! — сказалъ Чепурниковъ съ холоднымъ отчаяніемъ.

— Сейчас!

Огонекъ погасъ и на облучѣѣ опять замелькало только созвѣздіе изъ бѣловатыхъ пятенъ.

Телѣга качнулась, мы задернули фартукъ и опять по-песлись впередъ, среди холода и темноты.

Чепурниковъ нервно ворочался и вздыхалъ, Пушныхъ сладко всхрапывалъ. Этотъ гарнизонный счастливецъ обладалъ завидною способностью засыпать мгновенно при всякихъ обстоятельствахъ, и это служило главной причиной глубокой ненависти, которую питалъ въ нему, несмотря на недавнее знакомство, его дорожный товарищъ. Послѣдній пытался доказывать неоднократно, что Пушныхъ не имѣетъ никакого „полнаго права“ своей грузною фигурой занимать большую половину мѣста, назначеннаго для троихъ. Пушныхъ при этомъ жмурился и стыдливо улыбался. Онъ позволялъ даже Чепурникову всячески тираниить себя каждый разъ при усаживаніи въ повозку. Желчный унтеръ-офицеръ порывисто запихивалъ куда-нибудь его ноги, подбиралъ и укладывалъ руки, заталкивалъ въ самый дальній уголъ его спину, гнулъ его и выворачивалъ, точно имѣлъ дѣло съ тюфякомъ, а не съ живымъ человѣкомъ.

— Вотъ... вотъ!... такъ... этакъ!... — приговаривалъ Чепурниковъ, толкая и пихая какую-нибудь часть рыхлой фигуры товарища. — Р-раздуло васъ, прости Господи, горой!...

Пушныхъ конфузливо и виновато улыбался.

— Чѣмъ же я, Василь Петровичъ, въ эфтимъ случаѣ... Мы всѣ, то-есть, родомъ экіе... Ой, Василь Петровичъ, ты мало-мало полегче пихайся...

Чепурниковъ окидывалъ взглядомъ свою упаковку и оставался недоволенъ.

— Безз-совѣстные!—ворчалъ онъ.

Надо замѣтить, что оба мои спутника принадлежали къ разнымъ родамъ оружія, и Чепурниковъ, какъ жандармъ, считалъ себя неизмѣримо выше Пушкиныхъ уже тѣмъ, что его служба вмѣняла въ обязанность тактическое и вѣжливое обращеніе. Поэтому онъ обращался даже къ Пушкиныхъ не иначе, какъ во множественномъ числѣ, хотя при этомъ высказывался нерѣдко довольно безцеремонно: „безз-совѣстные вы эдакіе чурбаны!“—говорилъ онъ напримѣръ.

Но въ сущности всѣ мы понимали, что совѣсть тутъ не при чемъ. Особенно же когда, проѣхавъ версты полторы, Пушкиныхъ засыпалъ какъ камень,—тутъ ужъ вступали въ силу положительно одни физическіе законы: Пушкиныхъ, какъ тѣло наиболѣе грузное, опускался на дно повозки, вытѣсняя насъ кверху.

То же случилось и въ эту холодную ночь. Чепурниковъ жался къ краю повозки, я кое-какъ сидѣлъ въ серединѣ, стараясь какъ-нибудь не задавить Пушкиныхъ, который все совалъ подъ меня голову съ безпечностью соннаго человѣка. Я всматривался въ темноту; какія-то фантастическія чудовища неясно проползали въ вышинѣ, навѣвая невеселыя думы.

— Ну, и комапдировка выдалась... Не фартитъ мнѣ

да и только!—сказаль Чепурниковъ съ глубокою грустью и съ очевидною жаждой сочувствія.

Мнѣ было не до сочувствія. Для меня эта „командировка“ была еще менѣе удачной и мнѣ казалось, что это у меня на душѣ проплываютъ одни за другими безформенные призраки, которые неслись тамъ, въ вышинѣ.

— Эхъ, и что бы мѣсяцемъ раньше! Купилъ бы я въ Качугѣ шитиѣ, поставилъ бы парусъ—и каталъ себѣ внизъ по Ленѣ до самаго Якутска. Вѣдь это, какъ вы думаете, экономія?

— Конечно, экономія.

— То то вотъ, что экономія... А какъ по-вашему, сколько?...

— Не знаю.

— А вотъ погодите, разсчитаемъ. Три тысячи верстъ, по четыре съ половиной копѣйки, это выходитъ по сту по тридцати пяти рублей съ лошади. Ежели теперь на четверку, да на обратный путь хоть, скажемъ, на двѣ лошади... Поэтому экономія составляетъ сотъ восемь рублей на однихъ прогонахъ. Такъ, или нѣтъ?

Чепурниковъ разсчитывалъ съ какимъ-то сладострастнымъ наслажденіемъ и потомъ сказалъ со злостью:

— А теперь вотъ и за одну лошадь, смотрите, останется ли? Вспомните мое слово: станутъ намъ дальше и четвертую лошадь припрягать. Такой подлецъ народъ сталъ, такой подлецъ—и сказать вамъ не могу. Эгто что-бы служащему человѣку сколько-нибудь уважить,—никогда!

Мнѣ отъ этихъ разсчетовъ было ни тепло, ни холодно.

стомъ, что я положительно привязался къ нему и, входя на любую станцію, утомленный угрюмыми прилепскими видами, тотчасъ же разыскивалъ его глазами. И въ эту минуту я стремился къ нему подъ защиту. Тутъ ли онъ? Да, онъ тутъ и, значить, я не на холоду, а въ свѣтлой комнатѣ, и сердитое животное, пыхающее огнемъ— только желѣзная печурка, жарко натопленная листовичными дровами. Да, старикъ тутъ, и, значить, у меня есть добрый знакомый въ этомъ далекомъ и непривѣтливомъ краю, въ этомъ маленькомъ домикѣ съ полосатыми столбами, пріютившемся у подножія угрюмыхъ и мрачныхъ хребтовъ.

Пушныхъ, положивъ руки на столъ и голову на руки, тихонько всхрапывалъ, а Чепурниковъ суетился одинъ, то подкладывая дровъ, то распоряжаясь относительно самовара. Наконецъ, онъ удалился за перегородку, и черезъ минуту оттуда послышался сначала просто любезный, а потомъ и дружескій разговоръ.

— Я очень доволенъ; я даже такъ рассуждаю, — говорилъ писарь, — что васъ ко мнѣ самъ Богъ послалъ, право... Можете вѣрить слову.

Подъ дальнѣйшій тихій шепотъ новыхъ пріятелей я совсѣмъ заснулъ.

Кто-то тронулъ меня за руку. Я открылъ глаза и не сразу сообразилъ, въ чемъ дѣло. Надо мной стоялъ Чепурниковъ и на его обыкновенно подвижномъ лицѣ теперь лежало какое-то застывшее выраженіе. Онъ трогалъ мою руку, а самъ смотрѣлъ въ окно. Я невольно посмотрѣлъ туда же, но ничего особеннаго не увидѣлъ.

Въ стекла глядѣла ночь, и только пушистыя снѣжинки, налетая изъ мрака, садились снаружи на черныя стекла и тотчасъ же таяли. Казалось, бѣлыя насѣкомыя съ любопытствомъ заглядываютъ въ нашу комнату и черезъ мгновеніе отлетаютъ въ темноту, чтобы сообщить кому-то о томъ, что онѣ у насъ видѣли.

— Что такое?—спросилъ я съ невольною тревогой.

Чепурниковъ сѣлъ на стулъ и съ тѣмъ же задумчивымъ видомъ перевелъ на меня свои каріе глаза.

— А-а, господинъ...—сказалъ онъ тономъ довѣрія.— У насъ тутъ такое дѣло налаживается, просто ужъ и не знаю... Въ одинъ день человѣкомъ сдѣлаешься!

— Человѣкомъ?—переспросилъ я, все еще не отряхнувшись отъ сна.—Что-жь, это отлично.

— Вѣрно, въ одинъ день, господинъ!...—и Чепурниковъ вперилъ въ меня долгій, въ душу проникающій взглядъ.—Можете вы,—спросилъ онъ затѣмъ,—можете ли вы понимать служащаго человѣка?

— Ну?

— Служащему человѣку требуется голову свою какъ-нибудь прокормить и какой-нибудь дивидендъ себѣ пріобрѣсти. Такъ ли я говорю, ай нѣтъ?

— Такъ въ чемъ же дѣло?

— Въ томъ дѣло,—ночевать здѣсь придется!

— И прекрасно.

— То-то. А не быть бы мнѣ въ отвѣтъ, потому намъ по инструкціи воспрещается... Такъ ужъ вы, въ случаѣ чего, ни-ни... Такъ, дескать, встрѣтились, только и всего... На станкѣ, при перепряжкѣ... Поняли?

— Положимъ, ничего не понялъ. Съ вѣмъ встрѣтились?

— А вотъ погодите... Гаврилычъ, выльзай-ка сюда!

Станціонный писарь, внимательно слѣдившій за разговоромъ изъ-за перегородки, тотчасъ же вышелъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ тридцати, въ стоптанныхъ валеныхъ калошахъ, повязанный грязнымъ шарфомъ; движенія его не лишены были нѣкоторой торжественности. Видно, что жизнь на станціи и общеніе съ „проѣзжающими господами“ способствовали развитію въ немъ нѣкоторыхъ возвышенныхъ наклонностей.

— Это онъ вѣрно вамъ говорить, — наклонился писарь ко мнѣ, уставляясь въ меня своими большими черными глазами, немного напоминавшими чахоточнаго. — Дѣло первѣйшей важности, — большія можно тысячи приобрѣсти...

— Вотъ!—подчеркнулъ Чепурниковъ, испытующе заглядывая мнѣ въ глаза.

Я опять протеръ глаза. Этотъ шепотъ, важный видъ говорившихъ, застывшіе взгляды и загадочныя слова казались мнѣ просто продолженіемъ какого-то безсвязнаго сна...

— Да въ чемъ, наконецъ, дѣло?—спросилъ я съ досадой.

— Въ черкесѣ-съ...— и взглядъ писаря сталъ еще многозначительнѣе. — Неужто про черкеса не слыхали? Лицо по всей Ленѣ знаменитое.

— Я здѣсь въ первый разъ.

— Извините, не сообразилъ. Позвольте, я вамъ объ-

ясню. Этотъ черкесъ, да еще съ другимъ товарищемъ, по спиртовому дѣлу у насъ первые..., т.-е. проще вамъ сказать—спиртоносы, на пріиска запрещеннымъ способомъ спиртъ доставляютъ и вымѣниваютъ рабочимъ на золото. Отличныя дѣла дѣлаютъ...

— Ну-съ?

— Ну-съ, больше ничего, что завтра этотъ черкесъ будетъ здѣсь...

Онъ нахлопился къ моему уху.

— Золото въ Иркутскъ везетъ китайцамъ продавать... Ежели теперича самъ Богъ намъ его въ руки даетъ,—это значитъ Божіе благоволеніе... Третья часть въ нашу пользу, остальное въ казну...

— Понимаю... Но неужели онъ такъ безпеченъ, что прямо дастся вамъ въ руки?

— Какое дастся! Дьяволъ—не человѣкъ. Не въ первый разъ уже. Летитъ сломя голову, ямщикамъ на водку по рублю. Валяй! Лишь бы сзади козаки да исправникъ не пронюхали, да не нагнали. А у насъ народъ на станкахъ робкій... Да и на кого ни доведись—страшно; онъ живой не дастся. Ну, а теперь, все-таки, люди военные. Можно его навѣрняка взять.

— Ежели намъ удастся, и вы счастливы будете, господинъ!—сказалъ Чепурниковъ, у котораго загорѣлись глаза.—Тысячи и на вашъ фартъ не пожалѣю.

— Да ужъ только бы пофартило,—все такъ же поучительно прибавилъ писарь, — а ужъ дѣлать будетъ чего.

— Я думаю, казеннаго проценту за поимку тысячъ тридцать.

— Ну, это тамъ дѣло ваше! Мнѣ никакихъ денегъ не нужно, а переночевать я согласенъ съ величайшимъ удовольствіемъ.

— А вы, господинъ, берите, не отказывайтесь. Мы васъ обижать не согласны.

Я вышелъ изъ-за стола и сталъ укладываться на диванѣ.

Перспектива провести цѣлую ночь въ теплой комнатѣ, подъ благословляющею десницей почтеннаго старца, была такъ соблазнительна, что въ моей отяжелѣвшей головѣ не было другихъ мыслей... Чепурниковъ съ писаремъ удалились за перегородку и продолжали тамъ свою бесѣду о предстоящей кампаніи.

— Вѣрно ты знаешь, что завтра?

— Да ужъ вѣрно тебѣ говорю. Болдінъ сказывалъ. Выпили мы тутъ съ нимъ, онъ и проговорился... Они меня не боятся, потому я и самъ въ прежнія времена, признаться сказать...

— А трудно...—слышалось черезъ минуту.

— Трудно. Храбрость имѣетъ большую. Черезъ настоящій, молодчина!

— Отчаянный?

— Да ужъ безъ засады не взять.

— А какъ ничего нѣту?

— Чудакъ! Вѣдь ужъ мнѣ тогда здѣсь не житье, — неужто стану рисковать?

Я заснулъ. Мнѣ казалось, что я забылся только на мгновенье, но, очевидно, прошло довольно много времени. На станціи было тихо, на столѣ стоялъ самоваръ

и чайные приборы. Очевидно, мои спутники успѣли напиться чаю и улеглись спать. Свѣча была погашена, и только желѣзная печка освѣщала комнату вспыхивающими пламени...

— Гавриловъ!—послышался вдругъ тихій окликъ Чепурникова.—Не спите?

— Не сплю.

— А знаете, я вѣдь рассчиталъ.

— Ну?

— Тридцать двѣ тысячи восемьсотъ сорокъ рублей пятьдесятъ копѣекъ.

— Н-да,—сказалъ Гавриловъ изъ своего угла, — капиталъ хорошій. Только бы Богъ помогъ.

— Дай-то Господи! Капиталъ отличный. Вотъ бы Марѳа моя Степановна обрадовалась!

— Н-да. Возымѣли-бъ мы съ тобой хорошую копѣечку...

Сильнымъ сопѣніемъ Пушныхъ напомнилъ собесѣдникамъ о своемъ существованіи.

— Ишь сопить, свинья! — съ презрѣніемъ сказалъ Чепурниковъ. — А вѣдь и ему придется дать.

И черезъ полминуты онъ добавилъ съ закипающею досадою:

— Спрашивается: съ какой стати?

Опять тишина.

— Гавриловъ, а Гавриловъ!

— Что?

— А вы вѣрно знаете, сколько съ нимъ золота?

— Вѣрно. По этому самому расчету они ужъ и ду-

ванили. Черкесь съ Мандрыковымъ на себя весь песокъ взяли.

— Гм... Жалко!

— Что тебѣ жалко?

— Маловато выходить.

— Что такъ?

— Да такъ, не хватаетъ мнѣ мало-мало по моимъ разсчетамъ. Еще бы мнѣ тысячки хоть три, я бы на Горѣ у вдовы у Мятусовой домикъ купилъ. Славный домикъ, съ огородомъ и съ мензелинчикомъ. А теперь придется у Степапова купить. Тоже домикъ ничего, а нѣтъ того виду... Тотъ на господскую ногу... Я вѣдь службу-то брошу...

— Бросишь?

— Ну ее! Съ капиталомъ какая надобность? Теперь я передъ каждымъ офицеромъ тянусь, а тогда онъ у меня, офицеръ, на чашку кофею будетъ званъ. Такъ, ай нѣтъ?

— Пустое!—сказалъ писарь рѣшительно.

— Какъ пустое?

— Такъ, суета, честолюбіе одно, — подтвердилъ Гавриловъ философски. — Думаешь хорошо: станешь ты по этой причинѣ форсить, носъ кверху драть? — нѣтъ, братъ...

Я насторожилъ уши. Писарь говорилъ тихо и голосъ у него показался мнѣ чрезвычайно пріятнымъ. Я усталъ отъ холоднаго, угрюмаго пути и отъ этихъ жесткихъ, наивно-грабительскихъ разговоровъ. Мнѣ показалось, что я наконецъ услышу человѣческое слово. Мнѣ вспомни-

лись большіе глаза Гаврилова, и въ ихъ выраженіи теперь чудилась мнѣ человѣческая мечта о счастіи...

— Вотъ ты какъ разговариваешь,—сказалъ нѣскольکو озадаченный Чепурниковъ.—Ну, а ты что станешь дѣлать?

— Я?... Мнѣ бы привелъ Господь,—я бы женился.

— А ты развѣ не женатый?

Гавриловъ сдѣлалъ на своей постели нетерпѣливое движеніе.

— Ты знаешь ли,—спросилъ онъ рѣзко,—почемъ въ нашей сторонѣ пудъ хлѣба?

— Пожалуй, не два ли съ полтиной...

— То-то. Такъ неужто же при нашихъ достаткахъ жениться?

— А ты бы другого мѣста поискалъ.

— Бывалъ и въ другихъ мѣстахъ. Не фартитъ. На пріискахъ служилъ и спиртъ нашивалъ... Только и нажилъ, что ломоту въ ногахъ. Нѣтъ, по нашему мѣсту надо совсѣмъ безсовѣстному человѣку быть, тогда станешь богатъ...

— А невѣста ѣсть?

Гавриловъ молчалъ. Слабый огонекъ его цыгарки какъ-то задумчиво вспыхивалъ и угасалъ за перегородкой. Писарь курилъ и мечталъ.

— Поглядываю тутъ на одну. Да что! Я бѣденъ, она и того бѣднѣе. Такъ и не говорилъ ей ни разу... Другое бы дѣло, кабы Богъ помогъ... Уѣхали бы мы съ ней изъ этого гиблаго мѣста. Зажили бы себѣ тихонько, свое бы дѣло завели.

— Какое бы ты дѣло сталъ заводить?

— Я-то?

— Да.

Опять Гавриловъ замолчалъ, какъ будто не рѣшаясь посвятить Чепурникова во святая святыхъ своихъ мечтаній.

— Кабакъ въ своемъ мѣстѣ открылъ бы,—сказалъ онъ вдругъ рѣшительно.—Чего мнѣ лучше? Спокой!... А народъ у насъ къ вину наваженный...

III.

Огонь въ печкѣ угасалъ. Какъ это часто случается послѣ сильной усталости, я спалъ плохо. Забываясь на половину, я терялъ минутами сознаніе времени, но вмѣстѣ съ тѣмъ ясно слышалъ порывы вѣтра, налетаваго съ ленской стороны, слышалъ, какъ онъ шипитъ снаряжи у стѣнъ и сыплеть снѣгомъ въ окна.

Вдругъ съ однимъ изъ этихъ порывовъ до меня долетѣлъ слабый звонъ колокольчика. Звукъ этотъ чуть коснулся слуха и тотчасъ же потонулъ въ шипѣннн метели. Но черезъ минуту онъ повторился, опять исчезъ и потомъ зазвенѣлъ яснѣе, дольше, съ короткими перерывами. Чуткій Гавриловъ поднялся за перегородкой, зажегъ свѣчу и бинулъ нѣсколько полѣньевъ въ печку.

— Охъ-хо-хо!—зѣвнулъ онъ и перекрестилъ при этомъ ротъ.—Господи-владыко, Царица моя небесная!... Кого еще Богъ даетъ,—ужь не почтмейстеръ ли?

Дверь отворилась. Староста въдохъ и теплой шапкѣ появился на порогѣ съ ручнымъ фонаремъ.

— Проѣзжающіе, Степанъ Гаврилычъ!

— Слышу. Пожалуй, не почтмейстеръ ли изъ Киренска. Торопи ямщиковъ на всякій случай. Чтобъ безъ задержки.

— Выкатили. Лошадей хомутаютъ.

— Чтобы живо!

— Единымъ духомъ...—И голова старосты исчезла за дверью.

— А?... Что тутъ такое?—встрепенулся вдругъ Чепурниковъ и сѣлъ на полу, тревожно бѣгая по комнатѣ глазами.

— Ничего. Проѣзжающіе.

— Черкесь?

— Какой тебѣ черкесь... Спи-ложись.

Чепурниковъ упалъ на подушку. Онъ спрашивалъ сквозь сонъ.

Стукъ копытъ и звонъ колокольчика стихли у воротъ. Слышно было, какъ ямщики торопливо выпрягаютъ лошадей, побрякивая снимаемымъ колокольчикомъ, и еще по временамъ доносился со двора чей-то рѣзкій, повелительный голосъ.

Заслышавъ этотъ голосъ, Гавриловъ вдругъ насторожился и стоялъ нѣсколько секундъ удивленный и неподвижный, съ полураскрытою станціонною книгой въ рукахъ. Вдругъ на лѣстницѣ послышались шаги; Гавриловъ вздрогнулъ.

Дверь отворилась, староста просунулъ голову и сказалъ:

— Черкесь это пріѣхалъ.

Писарь поблѣднѣлъ и какъ-то метнулся къ Чепурникову, но тотъ уже вскочилъ, какъ ужаленный, сѣлъ на стулъ и протиралъ глаза.

— А, что? Гдѣ черкесь? Да вставайте вы, лежебоки!...

Хотя онъ говорилъ во множественномъ числѣ, но восклицаніе относилось къ одному Пушныхъ, лежавшему на полу у его ногъ. Несмотря на вѣжливую форму обращенія на „вы“, онъ толкнулъ грузнаго унтеръ-офицера такъ сильно, что тотъ сразу обнаружилъ признаки жизни. Онъ замычалъ, всталъ на четвереньки и сталъ тихо подниматься, точно на спинѣ его лежала громадная тяжесть. Писарь суетился, зажигалъ зачѣмъ-то стearиновую свѣчу на столикѣ у зеркала, Чепурниковъ шарилъ по стульямъ, разыскивая подъ платьемъ оружіе... Вообще, за минуту передъ тѣмъ спавшая въ безмолвіи и темнотѣ, станціонная комната теперь ожила и была полна движенія.

А на все это движеніе смотрѣлъ съ порога высокій стройный старикъ, въ которомъ съ перваго взгляда можно было {узнать такъ страстно ожидаемаго и все же такъ неожиданно нагрянувшаго черкеса.

IV.

Я видѣлъ, какъ онъ вошелъ. Едва только староста успѣлъ отойти отъ двери, какъ она опять отворилась и черкесь, безопасно держась за ручку, запелъ ногу на

порогъ. Изъ темныхъ сѣней его фигура выступила съ отчетливою рѣзкостью. Это былъ старикъ лѣтъ пятидесяти пяти, съ сухимъ и жесткимъ лицомъ, гладко обрѣтымъ. По лицу онъ папоминалъ скорѣе нѣмца, но рыжая череска, подбитая мѣхомъ, и затѣмъ вся фигура, съ крутою грудью, тонкимъ станомъ и величавыми движеніями, обличали ссыльнаго горца. Онъ былъ перетянутъ тонкимъ кожанымъ поясомъ, на которомъ спереди, наискосокъ, висѣлъ красивый кинжалъ, сзади—револьверъ въ кожаномъ чехлѣ и, наконецъ, толстый шнурокъ, очевидно тоже отъ револьвера, терялся въ карманѣ.

Свѣтъ ударилъ ему въ глаза; онъ прижмурился, какъ кошка, и, увидѣвъ форменныя шинели, мгновенно отшатнулся. Я замѣтилъ, какъ выраженіе вражды и, частію, испуга промелькнуло въ его черныхъ глазахъ, странно загорѣвшихся подъ сѣдыми бровями. Мнѣ казалось, что я уловилъ также оттѣнокъ печали, который можно замѣтить въ глазахъ травленаго звѣря, внезапно попавшаго въ засаду. Затѣмъ опъ какъ-то инстинктивно выпрямился, быстрымъ и привычнымъ движеніемъ тронулъ ручку кинжала и еще разъ оглянулъ всю комнату, останавливая на каждомъ изъ насъ мгновенный взглядъ, острый, ясный и испытующій. Все это продолжалось двѣ-три секунды. Затѣмъ онъ шагнулъ въ комнату.

— Здравствуйтѣ!—сказалъ онъ спокойнымъ тономъ, которому отчасти противорѣчили все еще безпокойно бѣгавшіе взгляды.

— А, что такое?... Да, здравствуйте, здравствуйте,—

скопфуженно отвѣтилъ Чепурниковъ и, наклонившись къ равнодушно усѣвшемуся на стулѣ Пушныхъ, прошипѣлъ:

— Куда вы дѣвали револьверы... скоты вы эти!е?...

— Чего лаешься?—громко отвѣтилъ Пушныхъ.—Что съ твоими револьверами сдѣлается?... Въ повозкѣ.

Всѣ какъ-то примолкли послѣ этого отвѣта. Гавриловъ кинулъ на обоихъ солдатъ укоризненный взглядъ и покачалъ головой.

— Пожалуйте вашу подорожную,—обратился онъ къ черкесу, стараясь своею развязностью покрыть неловкость. Глаза у черкеса вспыхнули какъ у тигра, замѣтившаго опасность; онъ вынулъ изъ кармана свернутую бумагу и кинулъ ее на столъ.

— Зачѣмъ кидать... можно подать, я думаю,—обиженно сказалъ Гавриловъ.

Черкесь не обратилъ вниманія на это замѣчаніе. Онъ держался чутко, на-сторожѣ. Острый взглядъ его опять быстро обѣжалъ всѣхъ находящихся въ комнатѣ и вдругъ я почувствовалъ его на себѣ. Глаза наши встрѣтились. Онъ разсмотрѣлъ мое лицо, мое платье, мой чемоданъ, стоявшій у дивана, и составилъ свое заключеніе; потомъ быстро придвинулъ стулъ и сѣлъ недалеко отъ меня, полуобернувшись ко мнѣ спиной, лицомъ къ остальнымъ.

Гавриловъ раскрылъ книгу, но видимо не торопился записывать подорожную. Онъ опрокидывался на спинку стула, то и дѣло заглядывая изъ-за своей перегородки въ станціонную комнату. Порой онъ дѣлалъ Пушныхъ какіе-то знаки, отъ которыхъ на жирномъ лицѣ грузнаго унтеръ-офицера проступали явственныя при-

знаки изумленія. Черкесь холодно смотрѣлъ на эти маневры и игралъ рукояткой кинжала.

Между тѣмъ сконфуженность Чепурникова прошла и юркій унтеръ-офицеръ видимо подыскивалъ планъ. Онъ сѣлъ на край стула, опершись объ уголъ стола, въ позѣ, обличавшей готовность воспользоваться благопріятною минутой. Но черкесь сидѣлъ противъ него на разстояніи комнаты, зоркій, чуткій и напряженный. Тогда Чепурниковъ посмотрѣлъ на меня умоляющимъ взглядомъ. Я понялъ: еслибъ я быстро вскочилъ, то, пожалуй, могъ бы схватить черкеса сзади. Во всякомъ случаѣ, я могъ бы всякимъ своимъ движеніемъ произвести опасную для осажденнаго диверсію, которою Чепурниковъ не преминулъ бы воспользоваться.

Чтобы выяснитъ свою роль, я слегка шевельнулся. Черкесь вздрогнулъ, взглянулъ на меня черезъ плечо и его вниманіе видимо раздвоилось между мной и Чепурниковымъ. Но я заложилъ руки за голову, принявъ позу наблюдателя. Чепурниковъ съ очевидною горестью убѣдился, что я безповоротно занялъ нейтральное положеніе.

Черкесь поправился на стулѣ и спросилъ насмѣшливо, обращаясь прямо къ Чепурникову:

— Далече ѣдешь?

— До Якутскаго. А вы?

— Мы не далече.

— А откуда, дозвольте узнать?

— Мы... изъ Олекмы.

— Та-акъ. А какъ тамъ насчетъ, напримѣръ, путѣ?

По Ленѣ на саяхъ ѣздютъ?

— А, какъ же... Очень ѣздютъ. Мы и самъ до Качугъ въ своемъ возкѣ ѣхалъ... Мы думалъ всюду санной дорога. А здѣсь нѣтъ санной дорога. Зналъ бы, не ѣхалъ бы. Плохо. А ты слушай, другъ!—обратился онъ къ писарю:—ты пиши рѣзво. Лошади готовы.

— Охъ-хо-хо-о!—потянулся Чепурниковъ съ какой-то неестественною безпечностью. Пойти и намъ собираться. Ну-ко, Пушныхъ, пойдѣмъ-ко-те, чтѣ я вамъ скажу.

Пушныхъ посмотрѣлъ на товарища съ удивленіемъ. Очевидно, его еще не посвятили въ дѣло. Чепурниковъ двинулся было къ дверямъ, но черкесъ, вдругъ выпрямившись, точно стальная пружина, слегка отодвинувъ его локтемъ, и отъ этого движенія юркая небольшая фигурка унтеръ-офицера очутилась въ углу у перегородки, а черкесъ сталъ рядомъ. Все это было сдѣлано такъ легко и незамѣтно, что когда онъ сказалъ Чепурникову: „Погоди, другъ, вмѣстѣ ходимъ“, то эта фраза казалась дѣйствительно дружескимъ приглашеніемъ. Глаза Чепурникова забѣгали по всей фигурѣ черкеса, однако онъ онъ остался у перегородки.

— Давай!—сказалъ черкесъ писарю, протягивая руку за подорожной.

— Не записано еще.

— Давай, говорю. Послѣ кончаешь!

Онъ быстро взялъ со стола бумагу. Я невольно залюбовался имъ: его лицо было теперь повелительно и строго, а движенія напоминали красивыя и грозныя поведенья тигра. Теперь всѣ здѣсь уже понимали другъ друга, за исключеніемъ, конечно, одного Пушныхъ. Черкесъ

былъ въ комнатѣ одинъ, и въ случаѣ свалки противъ него было бы трое: грузный унтеръ-офицеръ, безъ сомнѣнія, принялъ бы немедленно участіе въ битвѣ. Успѣхъ легко могъ склониться на сторону нападающихъ, но первый шагъ былъ самый страшный...

— Теперь хочешь, такъ ходимъ вмѣстѣ, сказалъ черкесъ Чепурникову.—Погоди! Хочешь у меня возокъ покупать,—покупай.

Чепурниковъ быстро согласился, видимо обрадованный новою проволочкой.

— Гдѣ онъ у тебя?

— Въ Качугѣ, записку тебѣ даю. Знакомому человѣкъ...

— Дорого продаешь?

— Тридцать рубля. Кожаный верхъ. Пятьдесятъ стоитъ. Бери!

Торгуясь, черкесъ кидалъ жадные взгляды на чайникъ. Онъ ѣхалъ безъ остановокъ и здѣсь, быть можетъ, рассчитывалъ отдохнуть и напиться чаю. Съ послѣдними словами онъ быстро подошелъ къ столу, налилъ стаканъ изъ остывшаго чайника и, повернувшись спиной ко мѣ и Пушныхъ, жадно выпилъ холодный чай однимъ глоткомъ, не спуская глазъ съ жандарма. Глаза Чепурникова сверкали, лицо было красно и потно. Онъ готовъ былъ кинуться на черкеса, но упустилъ удобное мгновеніе. Когда онъ рванулся къ столу,—черкесъ уже стоялъ въ небрежной позѣ, съ рукой у пояса.

— Давай, что ли, записку,—сказалъ Чепурниковъ глухо, чтобы чѣмъ-нибудь объяснить свое порывистое движеніе.

Черкесь вынулъ записную книжечку, набросалъ въ ней нѣсколько словъ и вырвалъ листокъ; все это онъ сдѣлалъ одною рукой, стоя у стола и не теряя изъ виду покупателя. Его брови были сдвинуты, сухое лицо поблѣднѣло. Видно было, что напряженіе этихъ минутъ не проходитъ ему даромъ. Чепурниковъ былъ взволнованъ еще сильнѣе.

— Бери! — кинулъ черкесь записку, — деньги отдашь въ Качугѣ.

— Хорошо.

— Идемъ вмѣстѣ!

Они вышли рядомъ, плечо къ плечу. Черкесь шелъ легко, какъ кошка, слегка приподымаясь на носкахъ, стройный, гибкій и напряженный. Чепурниковъ рядомъ съ нимъ казался маленькимъ и неуклюжимъ, но во всей фигурѣ унтеръ-офицера виднѣлись упрямство и злая рѣшимость.

Гавриловъ, съ расширенными зрачками и почти задыхающійся, кинулся къ Пушныхъ и началъ его тормошить.

— Что-жь вы сидите? Эхъ, вы! А еще унтеръ-офицеръ. Ступайте, живѣе!

Пушныхъ поднялся и покорно, вяло пошелъ изъ комнаты. Я тоже накинулъ пальто, надѣлъ валенки и выбѣжалъ на крыльцо.

Метель стихла, но снѣгъ шелъ густо и тройка лошадей у крыльца виднѣлась точно сквозь сѣтку. Ямщикъ только-что взобрался на козлы. Въ открытой перевладной сидѣла какая-то темная фигура. Еще двѣ фигуры подошли къ повозкѣ.

— Ну, прощай, другъ. Ъзжай самъ здоровъ!—сказаль черкесть, и въ голосъ таёжнаго воршуна послышалась насмѣшка.

— Прощай,—глухо отвѣтилъ Чепурниковъ.

Я видѣлъ, какъ они подали другъ другу руки.

— Прощай, но, прощай!—повторилъ черкесть и, при вторичномъ прощаніи въ голосъ пробилося уже безпокойство: унтеръ-офицеръ не выпускалъ его руки изъ своей.

— Играешь, что ли... Смотри, не надо! — рѣзко проронилъ черкесть и затѣмъ нѣсколько сухихъ звуковъ на непонятномъ языкѣ полетѣли въ повозку.

Въ глубинѣ крытаго возка послышалось движеніе.

— Иг-раю,—еще глуше и съ усиліемъ отвѣтилъ Чепурниковъ, точно у него сдавило горло.—Давай, послушай... поборемся... кто сильнѣе?... право, ей-Богу...

Я понималъ настроеніе Чепурникова. Онъ не рѣшался кинуться одинъ на опаснаго противника, но и не въ силахъ былъ глядѣть равнодушно, какъ онъ сядетъ и уѣдетъ, увозя съ собой всѣ только-что разцвѣтшія надежды...

Началась возня... нѣсколько короткихъ секундъ. Чепурниковъ упалъ на землю, а черкесть вскочилъ на повозку.

— Пшо-о-оль!—крикнулъ онъ дико и пронзительно. Испуганныя лошади взяли съ мѣста, телѣга загрохотала по колеямъ и исчезла въ снѣжномъ сумракѣ; только нѣсколько разъ еще донеслись до насъ изъ темноты взвизгиванія черкеса: пшо-о-о-оль, пш-о-оль!... Казалось, это были крики возбужденнаго, опьянѣвшаго человѣка.

Мы кинулись къ Чепурникову.

— Что съ вами?—спросилъ я у него.

— Ничего, ничего... Ка-акъ онъ меня толкнулъ, дьяволъ, — сказалъ онъ, подымаясь, — и понять не могу!... Ну, и вы всѣ... Не могли его сзади тогда... Эхъ!

Онъ говорилъ трудно, точно что-то сдавливало его горло.

Изъ ямщицкой выбѣгали ямщики, которыхъ позовалъ Гавриловъ, но было уже поздно: удаляющійся звонъ колокольчика слышался какъ-то тупо, приглушаемый густо падавшимъ снѣгомъ, и только дивія взвизгиванія черкеса прорѣзали еще нѣсколько разъ ночной воздухъ, точно рѣзкіе крики ночной птицы.

Эти звуки, полные дикаго возбужденія, надолго остались у меня въ памяти и впослѣдствіи не разъ, когда я съ стѣсненнымъ сердцемъ смотрѣлъ на угрюмые приленскіе виды, на этотъ горизонтъ, охваченный горами, по крутымъ склонамъ которыхъ тѣснятся лѣса, торчатъ скалы и туманы выползаютъ изъ ущелій, — мнѣ всегда казалось, что этотъ дивій крикъ хищника носится въ воздухѣ надъ печальною и мрачною страной.

-- Фью-ю-ю!—свиснулъ Гавриловъ и махнулъ рукой.— Теперь катить-заливается,—до Иркутскаго никто ужъ не остановить. А тамъ...

- Да хоть и остановилъ бы, намъ какой барышъ!...

- Нѣтъ, не остановятъ. Никто и не знаетъ. Конченъ балъ! Эхъ, господа служба-а!—прибавилъ онъ съ глубокой укоризной, и его черные глаза долго не могли оторваться отъ снѣжной мглы, въ которой вмѣстѣ съ звука-

ми колокольчика утопали недавнія его мечты о женитьбѣ и о спокойной жизни.

V.

Повозка, проданная намъ черкесомъ, нѣсколько утѣшила Чепурникова. Это былъ превосходный возокъ, крытый кожей, просторный и даже со стеклянными дверцами. Можно было думать, что черкесь, продавъ его за тридцать рублей, заплатилъ намъ дорогую цѣну за одинъ стаканъ холоднаго чая.

На слѣдующую же ночь, выѣхавъ изъ Качуга, мы могли улечься довольно удобно втроемъ; а такъ какъ по Ленѣ дѣйствительно установилась уже санная дорога, то мы не тряслись по ухабамъ и не особенно страдали отъ безпечнаго эгоизма Пушныхъ.

Для одного Чепурникова возокъ имѣлъ особаго рода неудобство. Онъ слишкомъ растравлялъ его воспоминаніе о неудачѣ и не позволялъ ему думать ни о чемъ другомъ.

Слѣдующею же ночью я крѣпко заснулъ подъ скрипъ полозьевъ, какъ вдругъ меня разбудила странная возня. Съ трудомъ высвободившись изъ-подъ барахтавшихся въ возкѣ моихъ провожатыхъ и прижавшись въ уголъ, я зажегъ спичку. Чепурниковъ пыталъ и отчаянно тормозилъ Пушныхъ, который, по обыкновенію, только мычалъ, не давая себѣ отчета въ томъ, что съ нимъ происходитъ.

— Что вы дѣлаете, Чепурниковъ?—окликнулъ я, хватая унтеръ-офицера за руку. Но онъ уже очнулся.

— Съ нами крестная сила!...—сказалъ онъ, крестясь и съ изумленіемъ взглядывая на товарища.

Спичка погасла. Чепурниковъ сѣлъ на свое мѣсто.

— Фу, ты, навожденіе!—сказалъ онъ сконфуженно.

— Ты это... какъ можешь драться, а?—спросилъ Пушныхъ нѣсколько гнусавымъ и обиженнымъ голосомъ.

— А, ну васъ! Все этотъ черкесъ, — даже во снѣ снится, проклятый...

Но, помолчавъ съ минуту, Чепурниковъ вдругъ прибавилъ со злостью:

— А вы думаете, я вамъ изъ экономіи-то дамъ сколько-нибудь? Ничего не дамъ, вотъ! Будь у меня настоящий товарищъ, мы бы теперь оба людьми стали.

Утромъ, уже подѣзжая къ станціи, я проснулся опять. Чепурниковъ не спалъ и глядѣлъ въ окно возка, которое онъ опустилъ до половины. Увидѣвъ, что я открылъ глаза, онъ сказалъ, повидимому высказывая вслухъ продолженіе своихъ мыслей:

— Нѣтъ! Невозможно было. Это надо жизни своей рѣшиться... Богъ съ нимъ и съ капиталомъ... Подошелъ я тогда къ повозкѣ, а тамъ у него баба сидитъ на сундукѣ. Повѣрите, и у той револьверы да кинжалы, вся какъ пушка иззаряжена... Глядитъ оттуда точно сова... Ну, и народецъ!...

Я выглянулъ наружу. Снѣгъ продолжалъ валить хлопьями, въ воздухѣ бѣлѣло. За горами занималась уже, вѣроятно, заря, но сюда, въ глубокую тѣспину, свѣтъ чуть-

чуть проломился и темнота становилась молочной. Возокъ покачивался, ныряя въ этомъ снѣжномъ морѣ, и трудно было бы представить себѣ, что мы дѣйствительно подвигаемся впередъ, если бы сквозь мглу не проступали призрачныя вершины высокаго берегового хребта, тихо уплывавшаго назадъ и развертывавшаго передъ глазами все новыя и новыя очертанія...

А снѣгъ все валилъ, покрывая землю, и на сердце все больше налегала тоска. Ряды невеселыхъ мыслей развертывались въ воображеніи, какъ ряды этихъ сумрачныхъ сопоевъ...

ЗА ИКОНОЙ.

I.

Нѣсколько дней стояло ненастье. Еще въ ночь на девятнадцатое іюня выпалъ обильный дождь, а утромъ облака висѣли по небу сѣрыми клочьями. Но къ полудню свѣжимъ вѣтромъ ихъ сбило въ сплошную тучу и понесло на сѣверъ. Небо расчищалось, синѣло, солнечные лучи играли въ лужахъ, на освѣженной зелени висѣли капли, срывались и сверкали въ воздухѣ.

— Порадѣла Владычица,—вѣдро у Бога выпросила,—говорили богомольцы, кучками расположившіеся на улицахъ и на площади у собора, откуда въ 12 часовъ должна была выйти икона.

— Пожалѣла православныхъ. Гляди, и народу поприбавится... О-охъ-хо-хо... На дождикъ-то мы не больно усердны...

Было еще рано. Пройдя бойкими улицами, миновавъ затѣмъ овраги, я углубился въ кривые, грязные переулки на окраинѣ города и подошелъ къ окну, на которомъ къ стеклу было приклеено изображеніе сапога. Хозяинъ, Андрей Ивановичъ, выразавшій вчера желаніе идти за

иконой вмѣстѣ со мною, сидѣлъ одинъ за своимъ верстакомъ и угрюмо стучалъ по сапогу.

— Андрей Ивановичъ!—окликнулъ я въ окно.—Что же вы не собираетесь? Пора!

Онъ встрепелся, но тотчасъ же скрылъ движеніе радости, отложилъ сапогъ, открылъ раму и потянулся въ окно своимъ сухопарымъ туловищемъ. Внимательно взглянувъ въ клочки чистаго неба и въ облака, уносимыя вѣтромъ, какъ будто его рѣшеніе зависитъ всецѣло отъ этого осмотра, а не отъ Матрены Степановны, которая начинаетъ сильно ворчать въ сосѣдней комнатѣ,—онъ рѣшительнымъ движеніемъ стаскиваетъ со лба ремень, придерживающій волосы, и говоритъ:

— Иду!

Затѣмъ я присутствую при супружескомъ діалогѣ, для меня до извѣстной степени одностороннемъ, такъ какъ ясно слышны мнѣ только отвѣты Андрея Ивановича, а голосъ Матрены Степановны доносится лишь въ видѣ бурнаго рокотанія.

— Чортъ его бей!—говоритъ, во-первыхъ, мой пріятель, торопливо укладывая инструменты. Потомъ, надевая чистую рубашку, прибавляетъ:—Подождетъ! Что, мнѣ изъ-за него и Богу не молиться? Нашла тоже благодѣтеля... Вонъ пару шью,—полтины за работу не очистится. Жила онъ, да! Ты какъ думала? Жила, сквадыга, скнипа!...

Голосъ Матрены Степановны подымается при этихъ кощупствахъ супруга противъ „давальцевъ“ на самыя высокія ноты, но Андрей Ивановичъ упорствуетъ.

— И никогда еще не прировняю, — говоритъ онъ уже другимъ тономъ, — тономъ защиты, — затягивая въ то же время поясъ. — Нашла къ кому прировнять: по крайней мѣрѣ, какъ бы то ни было, все-таки образованный человѣкъ, не имъ, живодерамъ, чета!

Такъ какъ въ этой рѣчи моего друга, хотя и снабженной столь многочисленными оговорками („по крайней мѣрѣ“, „какъ бы то ни было“ и „все-таки“), дѣло, очевидно, идетъ обо мнѣ, то, изъ понятнаго чувства скромности, я нѣсколько удаляюсь отъ окна. Звуки супружеской перепалки усиливаются, но все же черезъ минуту Андрей Ивановичъ выбѣгаетъ изъ калитки. Онъ нѣсколько красенъ, нѣсколько взволнованъ, но во всей его фигурѣ видно оживленіе и торжество. Къ сожалѣнію, я долженъ сказать, что минуты подобнаго торжества въ супружеской жизни Андрея Ивановича далеко не часты... Какъ бы то ни было, мы быстро шагаемъ по городскимъ улицамъ. Андрей Ивановичъ — впереди, и мнѣ видно, какъ у него нервно подергивается спина, какъ будто на ней есть глаза, и эти глаза видятъ оставленный назади домъ и у дверей фигуру Матрены Степановны, и какъ она стоитъ упершись руками въ бока и посылая намъ въ догонку не христіанскія пожеланія...

Между тѣмъ, по улицамъ движутся кучи разряженныхъ обывателей и обывательницъ. Деревенскій людъ, собравшійся къ проводамъ иконы изъ окрестностей, а иные изъ отдаленныхъ селъ и городовъ: изъ Балахны, Городца, Василя — сидятъ подъ стѣнами домовъ, разложивъ вокругъ узлы, кошель и котомки. Многіе тянулись

уже къ монастырю, гдѣ передъ выходомъ изъ города служатъ молебень.

Лавки на попутныхъ улицахъ закрывались, торговля прекращалась, колокола гудѣли еще вдали, но звонъ захватывалъ церкви все ближе и ближе.

— Постойте,—сказалъ Андрей Ивановичъ,—дѣло не ладно.

Онъ остановился и сталъ какъ-то усиленно пожимать подъ котомкой спину.

— Въ чемъ же дѣло?—спросилъ я.

— Водка есть?

— Нѣту.

— То-то нѣту... Надо бы купить!

Пришлось опять сойти въ сторону, такъ какъ на попутныхъ улицахъ лавки уже были закрыты.

Оставивъ у дверей котомку, я вошелъ въ винный погребъ. Здѣсь было уже нѣсколько человѣкъ, торопливо расплачивавшихся у прилавка.

— Поэтому и вы въ Оранки?—спросилъ меня сидѣлецъ привѣтливо.

— И мы...

— Что же мало запасаете?

— Будетъ.

— Намъ четверть, поскорѣй!—сказалъ, быстро входя, новый „богомалецъ“.

— Вотъ это такъ, благосклонно улыбнулся приказчикъ!—А съ одной бутылкой развѣ возможно-съ?

Когда мы опять вышли на улицу, ведущую къ дѣвичьему монастырю, пестрая передовья толпа уже за-

лили ее почти сплошными массами. Кое-гдѣ, ближе къ концу города, у воротъ и калитокъ стояли ведра или небольшіе ушаты съ квасомъ. Богомольцы подходили къ нимъ, снимали шапки, крестились и испивали.

— Спаси васъ Господи, Царица небесная, радѣтели... Страннѣмъ людямъ выставили прохлажденіе Христа ради.

Андрей Ивановичъ тоже напился, снявъ шапку и перекрестясь, и не оставилъ этого случая безъ нѣкотораго поученія:

— Истинно не квась ты, тетка, варишь,—наставительно произнесъ онъ,—а души своей спасеніе изготавляешь. Такъ я объ этомъ дѣлѣ полагаю?...—добавилъ онъ и посмотрѣлъ на меня.

Толпа становится все гуще; надъ Кремлемъ стоитъ цѣлое море звона, мѣрно вливающееся въ ближнія улицы. У монастырскихъ воротъ конные и пѣшіе городовые сдерживаютъ напоръ толпы. Они сортируютъ публику, пропуская однихъ, „которые почище“, а „чернядь“ отгоняя прочь. Насъ пропустили, хотя и съ нѣкоторымъ колебаніемъ.

Противъ входа, на дворѣ, темнымъ пятномъ среди пестро наряженныхъ горожанъ выдѣляется отрядъ монастырскихъ клирошанокъ. Впереди игуменья, среди рясофорныхъ старицъ, радушно раскланивается съ имепитыми горожанами. Въ заднихъ рядахъ молодыя послушницы, въ коническихъ шлякахъ, потупляютъ глаза передъ любопытными взорами мірской толпы. По временамъ изъ-подъ суроваго чернаго шляка сверкнетъ молодой взглядъ,

заиграетъ лукавая улыбка. И потомъ голова наклоняется, потупляются глаза, и черная тѣнь надвигается на лицо, оставляя на виду только губы и подбородокъ... Становится какъ-то жутко. Чуются невольно въ этой тѣни и трепетаніе молодой жизни, и быть можетъ порывъ, и быть можетъ протестъ, и быть можетъ глухая борьба...

Впрочемъ, стоить перевести взглядъ на первые ряды, и тревожныя фантазіи разсѣются: здѣсь, въ тихой обители, годамъ къ шестидесяти приходитъ, вмѣстѣ съ тѣлесною полнотою, душевный міръ и то незлобивое спокойствіе, съ какимъ въ ту самую минуту почтенная предводительница клира привѣтствовала стараго, но очень любезнаго полицейскаго генерала.

Андрей Ивановичъ дернулъ меня за рукавъ.

— Идемъ! Что намъ здѣсь смотрѣть?... Чернохвостня! — добавилъ онъ, кидая сердитый взглядъ изъ подлобья.

Однако уходить уже было поздно. У входа образовалась давка, такъ какъ икона приближалась къ монастырю. Черницы съ трудомъ проталкиваются за ворота и черезъ минуту, надъ гуломъ идущей суетливо толпы, слышенъ хоръ женскихъ голосовъ, поющихъ тропарь:

„Днесъ свѣтло красуется Нижній Новградъ, яко зарю солнечную воспріимше...“

Черезъ нѣсколько минутъ процессія появляется въ воротахъ. Наклоняясь надъ густою толпой, проносятся хоругви, парча волнуется и сверкаетъ, тонкое рѣзное серебро дрожитъ въ сипемъ воздухѣ. Кресты, сіянія, фонари, затѣмъ золоченая риза иконы съ темными ликами Богородицы и Младенца — все это будто плыветъ надъ

обнаженными головами народа. Еще минута—и желѣзные ворота, точно по волшебству, разрѣзають живой потокъ, смыкаются и сдерживають толпу. Нѣсколько пѣшихъ городскихъ, наравившись изо всѣхъ силъ, подпирають ворота сеими дюжими фигурами; сквозь рѣшотки видно пять конныхъ молодцовъ, тѣсно сомкнувшихся стремя у стремени. Лошади подтягивають морды, играютъ и топчутся на мѣстѣ, отжимая толпу. Толпа ропщетъ, кто-то кричитъ, кто-то ругается, два клира наполняютъ воздухъ пѣніемъ, вверху гудятъ колокола и шумятъ деревья... Икона вносится въ церковь.

II.

Черезъ полчаса, послѣ молебна, икону приносятъ изъ монастыря къ лагерю. Войска отгородили широкій квадратъ у походной церкви. Кромѣ этого пространства, все остальное—поля, дорога, холмы залиты народомъ. По Арзамасскому тракту, межъ двухъ рядовъ березокъ, уже тянется, точно пестрая змѣя, авангардъ богомольцевъ, отправившихся впередъ.

Музыка играетъ „Коль славенъ“, раздается команда „на молитву“, въ ясномъ воздухѣ гудитъ и дребезжитъ басъ діакона, чуть-чуть слышится пѣніе хора, относимое вѣтромъ. Послѣ молебна икону, поставленную въ кіотъ, на длинныхъ дрогахъ поднимають на плечи; трогаются впередъ хоругви...

— Баринъ, вы видно до Оранокъ?—спрашиваетъ, трогая меня за рукавъ, какая-то старушка.

— До Оранокъ, матушка.

— Владычицѣ... свѣчку за меня грѣшную.—Морщинистая рука тянется ко мнѣ съ пятакомъ.

— И отъ меня возьми, баринъ.

— И отъ меня.

Я принимаю порученія и кладу набранную сумму особо.

Не вдалекѣ, уже на тракту, служатъ прощальный молебенъ. Здѣсь толпа начинаетъ раздѣляться. Зонтики, шляпки съ цвѣтами, щегольскія мужскія шляпы отдѣляются по направленію къ городу. Рыжіе мужицкіе гречневики, котомки, лапти, красные сарафаны деревенскихъ молодыхъ, кое-гдѣ мѣщанскій ситецъ, бѣлые платочки — все это отливаетъ по тракту впередъ. Нищіе стоятъ по сторонамъ, протягивая руки. Дурачокъ Митька выкрикиваетъ, стоя на холмѣ, командныя слова, какой-то долговязый юродивый размахиваетъ палкой, бормочетъ что-то и бѣжитъ за толпой. Позванивая колокольцами, съ трудомъ пробираются межъ народомъ три или четыре почтовые повозки, въ которыхъ сидятъ монахи съ довольными лицами.

— Казну везутъ въ монастырь, говорятъ около насъ.

Черезъ нѣсколько минуть, выбравшись на болѣе просторное мѣсто, ямщики трогаютъ вожжи, колокольцы заливаются и повозки, минуя быстро идущую толпу, несутся на горку и исчезаютъ изъ виду.

Впереди—пологій, красивый подъемъ. Широкою лентой, окаймленная четырьмя рядами развѣсистыхъ, старыхъ березъ, лежитъ дорога, вся пестрая, вся живая, усыпанная народомъ...

Но вотъ, въ половинѣ подъема, оказывается задержка. Торопливо пройдя полями, на-перерѣзъ, изъ ближней деревни вышла на трактъ кучка крестьянъ и стала въ рядъ, на-встрѣчу приближающейся иконѣ... И тотчасъ же около нея начинается какъ-то густѣть и завиваться прегражденное теченіе людского потока.

Мы прибавляемъ шагъ и слышимъ все яснѣе пронзительныя причитанія. Молодой женскій голосъ, то изступленный, то жалобный, страдающій и молящій, разносится въ воздухѣ, между тѣмъ какъ сзади, надвигаясь все ближе, растетъ торжественный напѣвъ тропаря.

— Кличеть...—сказалъ Андрей Ивановичъ.

— Кликуша... порченная... Подъ икону класть привели,—говорятъ кругомъ въ толпѣ съ живымъ интересомъ.

— Пока до Митина дойдемъ, штукъ десять выведутъ,—прибавляетъ равнодушно какой-то немолодой мѣщанинъ.

— Баловство, говорятъ!—видаеть Андрей Ивановичъ.

— Баловство и есть... Поучить бы хорошенько...

— Поучи-ить?—язвительно и звонко подхватываетъ какая-то бабенка.—Чѣмъ она виновата? Иная отъ васъ и закличить, отъ ученія вашего...

— Да, говори!... Стоять этакія же вотъ двѣ сороки. Одна и спрашиваетъ у другой:—„Ты нонѣ, Аниська, станешь выкликать, что ли?—Нѣтъ, молъ, не стану, мокро!—Ну, такъ погляди у меня калачи, я поеличу маленько...“

Въ толпѣ смѣхъ.

— А ты это самъ слыхалъ, что ли?—заступаются опять обиженныя бабы.

Между тѣмъ около вликуши степенно и грустно стоятъ ея одноподеревенцы, а родные держатъ подѣ руки молодую женщину. Толпа все приливаетъ, скрывая эту группу отъ нашего взгляда. Рѣзкій крикъ, по временамъ плавное причитаніе, смѣняющееся стопами и неистовымъ, надрывающимся воплемъ, усиливаются по мѣрѣ того, какъ центръ толпы съ иконою приближается... Легкое облако пыли, пронизанное солнцемъ, колеблется между рядами березъ... Глухой шумъ, будто отъ прорвавагося потока, мѣрный топотъ десяти тысячной толпы и волны клирнаго пѣнія, объединяющаго весь этотъ нестройный гулъ въ одно могучее, захватывающее движеніе,—все это близится, вырастаетъ, охватываетъ и подымаетъ за собой, между тѣмъ какъ впереди, споря съ общею гармоніею, бьется какое-то одно жалкое, страдающее и непокорное существо съ этимъ испуганнымъ, надрывающимся голосомъ...

Мнѣ становится жутко. Андрей Ивановичъ хмурится. Мы стоимъ въ густой давкѣ, на откосѣ тракта, а мимо насъ, точно рѣка сжатая берегами, густо, величаво и плавно несется уже сплошная толпа, давно охватившая группу съ вликушей, которая неистово бьется, вырывается изъ рукъ, мечется, кидается въ стороны...

Икона близко... Рѣзкій, не человѣческій вопль покрываетъ и смѣшивается на мгновеніе пѣніе хора...

Изъ толпы, головой выше всѣхъ, выдѣляется фигура странника съ длинными волосами, опаленнымъ лицомъ и мрачнымъ взглядомъ. Огромный, сухой, странно равнодушный, онъ легко прокладываетъ себѣ дорогу въ

толпѣ, наклоняется, подымаетъ за плечи „порченную“, которая бьется у него въ рукахъ, и, раздвигая потокъ человѣческихъ тѣлъ, несетъ ее на-встрѣчу иконѣ... Про-песя нѣсколько саженьей, онъ кидаетъ свою ношу на землю, склоняется надъ нею—и живой потокъ смыкается, покрывая обоихъ...

Еще одинъ подавленный крикъ... Ряды фонарей, крестовъ, хоругвей уже далеко впереди... Кругомъ только мѣрный топотъ и гулъ неудержимаго, какъ стихія, человѣческаго потока. Въ клубахъ кадильнаго дыма, въ волнѣ торжественнаго пѣнія, колыхаясь и сверкая на солнцѣ, икона плыветъ въ воздухѣ надъ этимъ океаномъ обнаженныхъ головъ,—надъ подавленнымъ, строптивымъ воплемъ „одержимой“... Пѣніе, все такое же стройное, все тише, все мягче расплывается въ воздухѣ, и сквозь рѣдѣющій топотъ пробивается ласковый шорохъ и шелестъ придорожныхъ березъ...

Молодая женщина лежитъ въ пыли, на дорогѣ. Она тихо вздрагиваетъ и какъ-то по-дѣтски плачетъ... Любопытные заглядываютъ черезъ плечи родственниковъ, сомкнувшихся вокругъ „порченой“, а странникъ, такой же равнодушный и мрачный, опять прокладываетъ себѣ путь впередъ, поближе къ иконѣ..

Жарко. Какъ-то сразу я чувствую и зной, и то, что котомка невыносимо отдала мнѣ плечи, и всю трудность пути за этою быстро уносящеюся толпой. Андрей Игнатовичъ оставовился и смотреть вправо. Тамъ, съ крутого обрыва, виднѣется гладкая излучина Оки. Рѣка лежитъ среди сырыхъ и парящихъ отъ зноя луговъ,

свѣтлая, ровная. Оттуда, снизу, такъ и манить, такъ и вѣетъ свѣжестью и прохладой.

— Вотъ что,—говорить Андрей Ивановичъ,—надо купаться!

— Далеко, милые, отстанете,—дружелюбно говорить какая-то богомолка, но мы рѣшаемся и быстро спускаемся по обрыву, поросшему орѣшникомъ.

Тихій берегъ. Гребень обрыва скрылъ отъ насъ толпу съ ея говоромъ и движеніемъ. По временамъ на этомъ гребнѣ мелькають цвѣтныя фигуры, въ одиночку и парами, все рѣже и рѣже. Рѣка плещетъ въ каменистый берегъ. Вправо, верстахъ въ десяти, изъ-за рѣющаго тумана, виднѣются строенія и церкви Кунавина. На нашей сторонѣ, дыма высокими трубами, безшумно работаетъ заводъ. Послѣ суетливаго рѣчного движенія Волги, ея сосѣдка Ока производитъ странное впечатлѣніе. Какъ здѣсь тихо! Далеко, на той сторонѣ, вдоль песковъ, скользятъ парусная лодка. Подъ горой („яромъ“, какъ здѣсь называютъ) по берегу движется темное пятно. Это бураки, которыхъ вы почти уже не встрѣтите по Волгѣ, ведутъ бичевой небольшую барку. Пятно будто стоитъ на мѣстѣ, и только послѣ долгихъ промежутковъ видно, что оно становится меньше, все удаляясь вверхъ по рѣкѣ. Дрянной окскій пароходикъ пробѣгаетъ изъ Нижняго, гулко шлепая колесами среди пустынныхъ береговъ. На палубѣ никого не видно, даже на трапѣ пусто. Только, затерявшись у штурвала, виднѣется одинокая фигура лощмана.

III.

Когда, выкупавшись, мы опять поднялись на гору,— дорога совсѣмъ опустѣла. У „мызы“, на свѣжемъ воздухѣ, семья хозяина благодушествовала за самоваромъ. Нѣсколько переселенческихъ телѣгъ стояли тутъ же, съ подвязанными кверху оглоблями. По всей дорогѣ, взбѣгающей на горку, не было видно никакихъ слѣдовъ крестнаго хода. Кое-гдѣ только по сторонамъ шли намъ на-встрѣчу увлеченные общимъ теченіемъ и теперь возвращавшіеся обратно горожане.

— Далеко икона?

— Въ Новой деревнѣ молебень отслужили.

Прибавивъ шагъ, мы быстро миновали Новую деревню. Тутъ попадались уже отсталые. Пьяный мужикъ плелся невѣрнымъ шагомъ, грустно помахивая изъ стороны въ сторону своей кудрявою головушкой.

— Н-не догнать будетъ, мил-лаи... Н-и-и. Она, Владычица-те, чай ужъ куда улетѣла. Въ Борисовѣ таперь. А мы, по грѣхамъ нашимъ, вишь тянемся какъ... Ахъ, мил-лаи...

И мужикъ долго качалъ сзади насъ побѣдною головушкой, объятый глубокою скорбью. Наконецъ, вѣроятно изнемогая въ неравной борьбѣ со своею грѣховностью, онъ присѣлъ у дорожной канавы. Оглянувшись, мы увидѣли бѣднаго человѣка съ запрокинутою головой и что-то вроде бутылки сверкало въ его рукахъ на солнцѣ. Вскорѣ только красное пятнышко, лежавшее на зеленомъ фонѣ придорожной муравы, обозначало мѣсто побѣды грѣха надъ благочестивымъ стремленіемъ...

Впрочемъ, кудрявый мужикъ не одинъ испыталъ эту горькую участь. Въ тѣни березокъ, а иногда и въ грязи канавъ, то и дѣло попадались намъ тѣла другихъ павшихъ.

А вотъ на свалившемся и полусгнившемъ деревѣ отдыхаетъ какая-то компанія. Сѣдой еврей въ солдатской шинели, съ громадною лохматою бородой и бѣлыми кудрями, да еще три-четыре мрачныхъ субъекта, болѣе или менѣе сомнительной наружности... Сѣдой старикъ, очевидно, присталъ къ компаніи сейчасъ. Сомнительные субъекты уговариваютъ его идти своею дорогою, но онъ глухъ и потому говоритъ имъ что-то безъ умолку, громко и однотонно, рассказывая о подвигахъ своей военной жизни.

Одинъ изъ компаніи наклоняется къ его уху и кричить:

— Ступай ты, служивый, отъ насъ. Не компанія, значить. Иди, иди!

— А-яй! Глухой я, ничего не слышу... А прежде на бубенъ игралъ... Ай-ай, какъ игралъ...

Долговязый, черный золоторотецъ флегматично поднимается съ бревна, беретъ старика за шиворотъ и ставитъ на дорогу. Порядочный толчокъ сильной руки показываетъ служивому, что отъ него требуютъ. Подхвативъ котомку и тревожно оглядываясь, старикъ суетливо бѣжитъ по тропинкѣ. Повидимому, только теперь онъ сообразилъ, что имѣетъ дѣло не съ праздными дорожными зѣваками, которымъ любопытно знать, какъ онъ игралъ на бубнѣ, а съ людьми, которые заняты

дѣломъ. Рать богомольцевъ имѣетъ своихъ отсталыхъ и павшихъ, а это мародеры. Они смотрятъ на насъ, сидя на своемъ бревнѣ, какъ коршуны изъ-подъ насупленныхъ бровей. Только одинъ, съ толстою фizioноміей, одѣтый въ женскую кургузую кацавейку, глядитъ хотя и плутовато, но не безъ добродушнаго юмора.

— Что отстали, господа?—спрашиваетъ онъ.

— А вотъ,—угрюмо отвѣчаетъ мой спутникъ, шагая мимо,—смотримъ, не попадется ли гдѣ работишка...

— Какая?

— Грузчики мы, карманы выгружаемъ,—отвѣчаетъ Андрей Ивановичъ невозмутимо.

— Ишь, журавль долговязый!

— Ты что ругаешься?

Андрей Ивановичъ мгновенно поворачивается. Его странные, глубоко-сидящіе глаза сверкаютъ изъ-подъ шапки рыжихъ волосъ (картузь у него спрятанъ въ котомкѣ). Онъ большой любитель кулачнаго боя и считаетъ ниже своего достоинства справляться о числѣ противниковъ. Несмотря на долговязость и сухощавость, его фигура обличаетъ не заурядную силу. Длинные сухія руки заканчиваются громадными красными кулаками. Сомнительные субъекты мрачно оглядываютъ его, производя безмолвную оцѣнку. Только кацавейка, повидимому, готова принять вызовъ.

— Сиди ты, „машка“!—останавливаютъ его.—А вы, господа, идите себѣ своей дорогой.

— И то идемъ. А ты не моги намъ указывать...—горячится Андрей Ивановичъ.

— А ты не горячись,—выскакиваетъ кацавейка,—я, братъ, и самъ съ усамъ. Ка-акъ махну...

— Ты?

— Я.

— Меня?...

Андрей Ивановичъ, оставивъ кулакъ назадъ, подходитъ грудью къ кацавейкѣ, великодушно подставляя подъ ударъ незащищенную физиономію. Я знаю, что въ эту минуту самое горячее желаніе Андрея Ивановича состоитъ въ томъ, чтобы кацавейка осмѣлилась его ударить. Въ груди у него кипитъ и подымается что-то такое, что можетъ получить естественный исходъ лишь въ случаѣ оплеухи со стороны противника. А ужъ тогда послѣдуютъ со стороны Андрея Ивановича истинныя чудеса неустрашимости.

Однако бой не состоялся. Съ одной стороны я усиленно удерживаю Андрея Ивановича. Это очень трудно. Его желѣзная рука легко отмахивается отъ меня.

— Уд-ди! Не трогъ!—кидаетъ онъ въ мою сторону довольно грубо. Съ другой стороны, черный золоторотецъ отталкиваетъ кацавейку. Мрачный субъектъ, повидимому, человѣкъ серьезный, и весь эпизодъ сердить его какъ глупая шалость, мѣшающая „работѣ“.

Какъ бы то ни было, поле остается безспорно за Андреемъ Ивановичемъ. Отставивъ правую руку назадъ, приподнявъ лѣвое плечо вверхъ и весь подавшись впередъ, онъ гордо стоитъ на мѣстѣ, между тѣмъ какъ противники, огрызаясь, уходятъ въ томъ направленіи, гдѣ на травкѣ алѣетъ кумачная рубаха скорбѣвшаго о грѣхахъ мужика.

Черезъ минуту, круто повернувшись и не говоря болѣе ни слова о происшедшемъ, Андрей Ивановичъ шагаетъ по дорогѣ, какъ ни въ чемъ ни бывало.

IV.

У небольшого поселка Ольгина дорога раздѣлилась. По старому Московскому тракту, протянувшемуся на Горбатовъ и далѣе на Муромъ, виднѣются пестрыя толпы крестьянъ, которые выходили на-встрѣчу иконѣ изъ ближнихъ деревень и теперь возвращаются обратно. Арзамасскій трактъ ушелъ влѣво.

Отсталыхъ все больше и больше, но главной массы богомольцевъ не видно вовсе. Деревни, черезъ которыя приходится идти, точно вымело,—жители провожаютъ икону до слѣдующихъ деревень, а иные присоединяются къ богомольцамъ до Оранокъ. Только квасники лавочники еще не убрались и считаютъ подъ навѣсами мѣдяки, оставшіеся въ выручкахъ послѣ только-что отлившей людской волны.

— Кваску, господа, не угодно ли?

Мы пьемъ вездѣ, гдѣ только возможно. „Для ходу человѣку квасъ очень полезенъ,—философствуетъ Андрей Ивановичъ.—А для отдыха, замѣйте себѣ, квасу не кушайте, а болѣе чай“.

— Что, хорошо ли торговали?—спрашиваю я у торговца, отирающаго платкомъ потное, красное лицо.

— Ухъ, господинъ, чистая бѣда!... Главное дѣло, без-

образно очень: все деньги впередъ надо спрашивать. Не доглядишь, онъ выпьетъ, потомъ идетъ себѣ, болѣе ничего.

— Или теперь со сдачей...—меланхолически добавляетъ супруга торговца.—Даетъ гривенникъ, а сдачи просить съ пятиалтыннаго.

Андрея Ивановича почему-то оскорбляютъ эти обвиненія.

— Не грѣхъ богомольцу и даромъ кваску поднести,—сообщаетъ онъ свое рѣшительное мнѣніе.

— Наше дѣло торговое,—холодно отвѣчаетъ купецъ.

— Живодеры вы, вотъ что!—говоритъ мой пріятель уже на ходу, но его замѣчаніе, повидимому, не доходитъ по назначенію.

— Назадъ пойдете, можетъ, ночевать къ намъ не зайдете ли!—звонко и привѣтливо кричитъ торговка въ догонку.

— Вотъ они, торгоши,—ты ему плюнь въ глаза, а онъ говоритъ: „божья роса!“ Ничтожный народъ.

Андрей Ивановичъ имѣетъ обыкновеніе выражаться рѣзко и опредѣленно; его симпатіи и антипатіи, какъ и всѣ поступки, отличаются быстротой, рѣшительностью и нѣкоторою парадоксальностью. Онъ—отличный работникъ и примѣрный семьянинъ. Въ молодости года три онъ сильно пьянствовалъ и даже валялся въ лужахъ, но потомъ вдругъ остепенился. Чтобы закрѣпить это обращеніе на путь истины, отецъ рѣшилъ женить его на Матренѣ Степановнѣ, немолодой и некрасивой дѣвушкѣ, обладавшей рѣзкимъ голосомъ и очень твердымъ

характеромъ. Андрей Ивановичъ не вышелъ изъ родительской воли, и съ тѣхъ поръ жизнь его пошла ровно. Матрена Степановна держала его круто, но впрочемъ и самъ онъ понималъ свои обязанности. Работникъ онъ былъ примѣрный, пользовался нераздѣльно довѣріемъ заказчиковъ на Ярлѣ и Новой Стройкѣ (окраинныхъ частяхъ города), трудился съ утра до вечера, съ „давальцами“ обращался очень почтительно. Только когда на время „снималъ хомутъ“, какъ самъ онъ выражался, тогда сразу становился другимъ человѣкомъ. Въ немъ проявлялся строптивый демократизмъ и наклонность къ отрицанію. „Давальцевъ“ онъ начиналъ разсматривать какъ своихъ личныхъ враговъ, духовенство обвинялъ въ чревоугодіи, полицію—въ томъ, что она слишкомъ величается надъ народомъ и, кромѣ того, у пьяныхъ, ночующихъ въ части, шарить по карманамъ (это онъ испыталъ горестнымъ опытомъ во время своего запивойства). Но больше всего доставалось купцамъ.

— За что вы его обругали?—спросилъ я на этотъ разъ.

— А вамъ жалко?—и онъ кинулъ на меня короткій взглядъ изъ подлобья. Я такъ объ нихъ полагаю, что будь я министръ,—всѣхъ бы ихъ запретилъ.

— Какъ же тогда городъ остался бы безъ лавокъ, безъ товару?... Кто бы сталъ заказывать вамъ сапоги?...

— Какъ-нибудь иначе придумали бы. Мало ли способовъ!...

— Какъ же бы вы придумали? Интересно.

— Да что вы ко мнѣ пристали: какъ, да какъ? Ежели я сапожникъ, то стало-быть это не мое дѣло. Что я

знаю? — шило да подметку, товаръ да колодку, больше ничего. А можетъ, дайте вы мнѣ большія тысячи, чтобы мнѣ книжки читать, да всякія тамъ бумаги,—я бы придумалъ. Ужь это вѣрно, что придумалъ бы. А что вы насчетъ заказчиковъ говорили, на это я вамъ вполне могу отвѣтить. Вы вотъ о чемъ разсудите: мой отецъ двѣнадцать работниковъ держалъ, а я только двухъ, и тѣхъ еще по время отпускаешь. Почему такъ?

— Можетъ быть сами работники въ хозяева выходятъ?

— Не туда гнете: въ хозяева! Вотъ недавно еще было дѣло: сталъ я пьянствовать, отецъ меня прогналъ. И сейчасъ меня, пьяницу, три хозяина зовутъ. А теперь вонъ сколько подмастерьевъ шатается, изъ хлѣба одного готовы работать,—никто не беретъ. Это вы можете понимать, стало-быть, какъ они въ хозяева выходятъ. Нѣтъ, что ужъ...

Андрей Ивановичъ машетъ рукой и многозначительно замолкаетъ. Вся его фигура въ эту минуту показываетъ, что если дѣла такъ пойдутъ дальше, то за послѣдствія онъ отвѣчать не возьмется.

Въ это время, сзади, насъ нагоняетъ тарантасъ, запряженный тройкой. Мужикъ въ кумачной рубахѣ погоняетъ лошадей. Въ телѣгѣ сидитъ молодой, хорошо упитанный купеческій сынокъ съ бутылкой въ рукѣ. Чьи-то ноги свѣсились изъ-за переплета. На купцѣ надѣтъ рыжій картузъ, возница щеголяетъ въ касторовой шляпѣ. Вся компанія очевидно сильно подъ хмѣлькомъ. Купчикъ наклоняется съ сидѣнья, чтобъ ущипнуть одну изъ трехъ мимондущихъ богомолковъ. Дѣвушки визжатъ,

компанія хохочеть, лошади, испуганныя шумомъ, трогаютъ быстрѣе. Андрей Ивановичъ останавливается въ негодованіи.

— Вотъ вы ихъ защищаете. Смотрите сами: тоже вѣдь на богомолье собрался! Мы вотъ съ вами идемъ пѣшкомъ, изустанемъ,—неужто намъ это озорство пойдеть на умъ? А въ немъ сила играетъ, потому что легкія деньги, вотъ что! Легкій хлѣбъ это играетъ... Н-пу, попадись мнѣ этотъ богомолецъ гдѣ-нибудь, что я надъ нимъ сдѣлаю!...

Андрей Ивановичъ злобно сжимаетъ кулаки, грозитъ во слѣдъ тарантасу, неистово раскачивающемуся на ухабахъ, и затѣмъ прибавляетъ съ горечью:

— Дуракъ ѣдетъ на скотинѣ, умный вѣкъ пѣшкомъ идетъ!... Стихъ такъ говорится... И вѣрно!

V.

Пройдя еще съ полгерсы, Андрей Ивановичъ толкнулъ меня локтемъ и круто остановился.

— Гляди-ка, старушка-то... ай-ай-ай!

Въ сторонѣ, по тропинкѣ, опираясь на палку и сгорбившись, плелась какая-то старуха. Очевидно, каждый шагъ давался ей очень трудно. Сгорбленная спина качалась, голова, опущенная внизъ, дрожала, ноги передвигались съ трудомъ. Она не поднимала глазъ и сосредоточенно смотрѣла только подъ ноги, отмѣривая шагъ за шагомъ своего многотруднаго пути.

— Матушка, а матушка!—окликнулъ ее Андрей Ивановичъ.

— Что тебѣ, касатикъ?

Въ голосѣ старушки слышалось усиліе. Она подняла сморщенное лицо съ потускнѣвшимъ взглядомъ и посмотрѣла на Андрея Ивановича, продолжая шагать попрежнему.

— Ты какъ же это, а? — недоумѣвалъ мой впечатлительный спутникъ.—Чай вѣдь трудно?

— Трудно, родимый, трудно! Главное дѣло —ноги вотъ, ноги не ходятъ,—стара.

Слеза выкатилась изъ моргающаго глаза и упала на песокъ дорожки. Андрей Ивановичъ дѣлалъ какія-то нелѣпыя движенія, что у него служило признакомъ внутренняго волненія.

— Нешто этакъ возможно? Вѣдь тебѣ никакъ не дойти.

— Авось, матушка Владычица донесетъ. Порадѣть хочется Матушкѣ... Стара... Помирать скоро,—порадѣть хочется. А что, далеко ли еще до Каменки, до ночлегу?

— Верстъ еще двѣнадцать.

— Охъ, батюшки, далеко!... Иди, иди, касатикъ. Не смотри на меня, старую... Негоже вамъ глядѣть-то... Ноженьки-то у васъ рѣзвыя, а я, вишь, измучилась... Не замй, проходите, родимые...

Мы двинулись дальше и оба долго молчали. Наконецъ, остановившись, по обыкновенію, неожиданно, Андрей Ивановичъ посмотрѣлъ на меня долгимъ укоризненнымъ взглядомъ.

— Неужели это она напрасно?... Думаете, не зачтется? Не можетъ быть, враки!...

И хотя я не думалъ даже возражать, Андрей Ивановичъ крѣпко ударилъ палькой по стволу ближайшей березы и быстро пошелъ впередъ.

Вскорѣ мы обогнали трехъ богомолокъ, которыхъ задѣвала пьяная компанія. Одна была не молода, двѣ—молодыя дѣвушки, новидимому, мѣщанки или горничныя. Всѣ онѣ быстро шлепали босыми ногами. Когда мы поровнялись съ ними, онѣ прибавили шагу и шли въ ровень, хихикая и жемапясь. Андрей Ивановичъ, не обращая вниманія, шагаль своей журавлиною походкой; я едва поспѣвалъ за нимъ. Это безмолвное состязаніе какъ будто сблизило насъ съ женщинами.

— И что это, право, какіе кавалеры,—сказала старшая изъ нихъ, запыхавшись и отирая потъ ситцевымъ рукавомъ,—замучили вовсе...

— А вамъ какая надобность гоняться?—спросилъ Андрей Ивановичъ. Я замѣтилъ, что его брови хмурятся и глаза будто уходятъ глубже. Но дѣвушки приняли его отвѣтъ за вызовъ на дальнѣйшій разговоръ.

— Да вѣдь, чай, въ компаніи-то веселѣе,—бойко сказала ближайшая.—Мы видимъ, что вы кавалеры обходительные, не сиволапые мужики...

— Конечно веселѣе, кинула другая, что въ пути, что на ночлегѣ...

Всѣ онѣ засмѣялись. Но Андрей Ивановичъ, еще не освободившійся отъ впечатлѣнія, произведеннаго на насъ обоихъ старухой, внезапно остановился, вперилъ въ дѣвушку свои колющіе впалые глаза и спросилъ:

— Вы какое это слово сказали, а?... Нѣтъ, вы какое слово сказали?

Озадаченныя мѣщанки удивленно посмотрѣли на него и быстро бросились въ сторону, такъ какъ Андрей Ивановичъ вдругъ впалъ въ тонъ обличителя. Онъ поднялъ руку и, потрясая ладонью надъ головой, называлъ дѣвухекъ сороками и срамницами, между тѣмъ какъ онѣ быстро шлепали по тропинкѣ босыми ногами. Догнавъ первую кучку богомольцевъ, онѣ принялись что-то оживленно рассказывать имъ, указывая назадъ.

— Сороки короткохвостыя, право сороки!—говорилъ Андрей Ивановичъ, довольный произведеннымъ впечатлѣніемъ.—Нѣту въ этомъ народѣ никакого понятія...

— Это вы насчетъ горничныхъ?

— Воппче, женщины...

— А Матрена Степановна?

— Ну, что такое Матрена Степановна?—та же баба! Не даромъ еще Пушкинъ сказалъ: всѣ, говорить, одинаковы и имя имъ ничтожество. А ужъ на что сочинитель былъ извѣстный.

— Андрей Ивановичъ! Пушкинъ этого не говорилъ.

— Ну, вотъ, не говорилъ!... Когда бы не самъ я читалъ... Конечно,—прибавилъ онъ черезъ минуту, не безъ меланхоли:—въ прежніе года, когда я былъ холостъ, тогда и самому лестно было. А то, вишь, къ женатому человѣку...

— Да имъ почему знать, что вы женаты?

— Знаютъ. А не знали, такъ теперъ будутъ знать.

VI.

Пройдя село Митино, мы увидѣли толпу у Вязовки. Только часть богомольцевъ вошла съ иконою въ деревню, другая сворачивала ближайшимъ путемъ, подъ высокими мельницами, выходя подъ угломъ на боковую дорогу, которая вела въ Каменку. Оставалось пройти еще десять верстъ до ночлега.

Когда мы подошли къ мельницамъ, процессія выходила изъ села. Лучи заката играли на серебрѣ хоругвей. Фиолетовыя облачка стягивались и густѣли на холодѣвшемъ вечеромъ небѣ, жаворонки припадали къ нивамъ, крикъ перепеловъ несся мягкими переливами, смѣшиваясь съ приближавшимся пѣніемъ хора. Человѣческіе голоса звучали среди полей, подъ тихимъ дыханіемъ угасающаго дня, какъ-то особенно гармонично и мягко.

По бокамъ дороги высокая рожь стояла двумя ровными стѣнками. Изъ Каменки, на встрѣчу иконѣ, выходили крестьяне. Въ одномъ мѣстѣ, на полосѣ среди хлѣбовъ, стояла цѣлая семья: сѣдой старикъ со старухой впереди, рядомъ сынъ большакъ, поодаль молодуха. Двѣ или три дѣтскихъ головки чуть виднѣлись среди колосьевъ. Сзади угасало за горой солнце и фигуры крестьянъ рисовались ясно и торжественно надъ колыхавшеюся рожью.

— Насчетъ хлѣбушка прибѣгаютъ къ Владычицѣ. Мало ли что можетъ случиться? — градъ, засуха, червякъ...

— Благодаръ! — говоритъ Андрей Ивановичъ. — И складно же поютъ, ахъ братцы мои!

— Жепщина тамъ одна... гоже выводить.

Дѣйствительно, молодой женскій голосъ, вырываясь высокими нотами, развѣвается съ вечернимъ вѣтромъ надъ полями, сверкаетъ, какъ лучи закатывающагося солнца, и гаснетъ гдѣ-то въ ясной вышинѣ, вмѣстѣ съ этими лучами.

Однако идти трудно. „Богоносцы“, наклонясь, будто готовые упасть подъ тяжестью хоругвей, несутся двумя рядами впередъ, понукая передовую толпу.

— Пятки, пятки!—покрикиваютъ они то и дѣло.

Высокая рожь мѣшаетъ сойти въ сторону, и мы почти бѣжимъ впереди. Урядникъ, выѣхавшій на встрѣчу, гарцуетъ среди женщинъ и ребятъ, гордо красуясь на славной сѣрой лошаdkѣ. На небѣ зарисовывается гребень холма, и черныя крыши выступаютъ на немъ правильными очертаніями.

Тѣмъ не менѣе, еще далеко. Вечеръ спустился на землю. Луна яркимъ серпомъ повисла надъ мгlistою тучей; надъ полями залегъ синій, неопредѣленный, таинственный сумракъ, наполненный сыростью и золотистымъ сіяніемъ, которое такъ скрадываетъ всѣ очертанія. Оглянувшись назадъ, я вижу, что мы оставили процессію далеко позади. Огни фонарей тянутся искристою лентой въ долину, выются, изгибаются, вытягиваются и по временамъ освѣщаютъ золотую ризу иконы, которая то выступаетъ изъ мрака фосфорическимъ сіяніемъ, то исчезаетъ опять среди темноты.

Вотъ и первыя избы селенія. Мы сдѣлали съ четырехъ часовъ тридцать верстъ. Плечи отдавила котомка, ноги подкашиваются, я почти падаю отъ усталости.

— А что-то наша старушка?—сосредоточенно произноситъ Андрей Ивановичъ, когда мы проходимъ по деревнѣ, среди освѣщенныхъ оконъ, гдѣ видны на столахъ самовары и отдыхающіе богомольцы. Въ моемъ воображеніи рисуется старая сгорбленная фигура, все такъ же бредущая среди темноты. Теперь никто уже не смутитъ непрощеннымъ сожалѣніемъ ея тяжелаго добровольнаго подвига. Только рожь шепчетъ по сторонамъ, да луна смотритъ съ неба на выбивающагося изъ силъ стараго, отжившаго человѣка...

VII.

— Чай, что ли, пить? Къ намъ заходите, къ намъ!

Андрей Ивановичъ, не слушая этихъ зазываній, твердымъ шагомъ направляется къ другому концу улицы, подальше отъ церкви. Здѣсь также свѣтятся окна, видны ярео вычищенные самовары на столахъ, но народу не такъ еще много.

— Дядя Иванъ, эй дядя Иванъ!

Бѣлая борода дяди Ивана наклоняется къ окошку.

— Богомольцевъ пускаешь, что ли?

— Знакомыхъ, другъ, пускаемъ... Потому заняты мѣста-те у насъ.

— Что, ай не узналъ?

— Богату быть, Андрей Ивановичъ, богату быть... Ну, полѣзай, полѣзай въ избу-те.

За столомъ сидитъ уже нѣсколько человѣкъ, все пуб-

лика почище. Женщины въ городскихъ мѣщанскихъ платьяхъ, мужчины въ пиджакахъ, повидимому ремесленники. Хозяинъ только-что убралъ одинъ самоваръ и поставилъ другой. Чай пили богомольцы свой; каждая компанія получала въ свое распоряженіе чайникъ.

Я повалился на скамью, опершись спиной въ стѣну. Не хотѣлось ни двигаться, ни развязывать котомку. Чувство особеннаго наслажденія, когда усталые члены мозжатъ и ноютъ, но за то все тѣло отдается ощущенію отдыха и покоя, охватило меня всего. Андрей Ивановичъ раздѣлся, развязалъ котомку и даже снялъ сапоги.

— А почевать куда положишь?—спросилъ онъ хозяина.

Дядя Иванъ, благообразный старикъ съ мягкими манерами и старчески-лукавымъ лицомъ, озабочено почесалъ затылокъ.

— Вотъ ужъ не знаю. На дворѣ развѣ. Крытый дворъ у насъ.

— А въ задней избѣ?

— Заднюю проѣзжающіе заняли. Степанъ Ероѣенча, изъ городу, не знаете ли?

— Толстомордый?

— Ну-ну!

Андрей Ивановичъ толкнулъ меня локтемъ:—Это которыхъ мы видѣли, безобразники-то... По шеѣ ихъ гнать, а ты въ избу пуцаешь!

Старикъ озабоченно оглянулся и закашлялъ. Напившись чаю, богомолки и богомольцы выходили изъ-за стола и уходили изъ избы. Мы съ Андреемъ Ивановичемъ, за-

хвативъ большую охапку сѣна, расположились на дворѣ, подъ навѣсомъ, у стѣны задней избы. Фонарь кидалъ колеблющійся свѣтъ, выпугивая воробьевъ изъ-подъ высокой соломепной крыши. Гдѣ-то въ темныхъ углахъ чавкали лошади, коровы жевали жвачку, похрюкивала свинья. Гдѣ-то еще слышались голоса богомольцевъ, улегшихся на соломѣ, кто-то копошился въ кузовѣ стараго тарантаса. Свѣтъ луны прорывался сквозь щели плетеныхъ стѣпъ. Съ улицы доносились шаги прибывающихъ странниковъ. Они то и дѣло стучали въ окна и усталыми голосами спрашивали:

— Ночевать, почевать, родимые, не пустите ли?

Я не замѣтилъ какъ заснулъ и опять проснулся отъ страннаго шума. Казалось, что-то громадное, стуча, всхрипывая и шелестя, надвигалось на меня, заполняя неопредѣленную тьму. Понемногу, однако, я сталъ осваиваться съ этимъ шумомъ: это, во-первыхъ, Андрей Ивановичъ жестоко храпѣлъ рядомъ. Во-вторыхъ, пѣтухъ, обезпокоенный необычными звуками, сошелъ съ наести и, осторожно шурша по соломѣ, пробирается у самаго моего уха, почти касаясь головы своими крыльями. Вотъ онъ вышелъ на середину двора и шуршаніе его легкихъ шаговъ теперь принимаетъ въ моемъ сознаніи настоящіе размѣры... Я вижу, хотя и не ясно, его небольшую фигурку, вижу, какъ онъ расправляетъ крылья и вытягиваетъ шею.

— Ку-ка-ре-ку!—раздался вдругъ рѣзкій, будто слегка охрипшій отъ ночной сырости, голосъ.

Другой пѣтухъ зашевелился и пробормоталъ что-то

сонно и сердито. Повидимому, онъ находилъ, что еще рано.

Вслѣдъ за только-что смолкшими переговорами пѣтуховъ я услышалъ въ темнотѣ двора еще какіе-то звуки. Въ старомъ кузовѣ тарантаса шептались два голоса — одинъ мужской, другой женскій. Изъ-за стѣны съ пѣ-которыхъ поръ неся какой-то топотъ, стукотня, пѣсни и гулъ пьяныхъ голосовъ. Влѣво отъ насъ кто-то невидимый быстро зашевелился и молодой сонный женскій голосъ испуганно спросилъ:

— Кто тутъ? Ай, тетка Федосья, тетка Федосья!

— Чего тебѣ?—говоритъ недовольно старуха.—Эй ты, чего подкатился, озорникъ! Мало, что-ль, мѣста тебѣ? У меня живо откатись...

Озорникъ громко и тенденціозно всхрипываетъ, очевидно прикидываясь спящимъ. Однако, встревоженное стрекотаніе проснувшихся деревенскихъ дѣвушекъ вскорѣ заставляетъ озорника ретироваться. Въ это время Андрей Ивановичъ, даже въ сонномъ состояніи не теряющій порывистости движеній, завозился на сѣнѣ такъ внезапно и сильно, что даже у меня мелькнуло сомнѣніе: неужели это онъ сейчасъ юркнулъ на свою постель... Впрочемъ, нѣтъ. Не говоря уже о непоколебимой добродѣтели моего спутника, я все время слышалъ около себя его храпъ.

— Что это вы разстрекотались, сороки?—проснувшись, спросилъ онъ, съ обычнымъ пренебреженіемъ къ женскому сословію.

— А-а, проснулся небось... Озорникъ!—сказала тетка Федосья.

— Ишь, гдѣ очутился! Туда же храпить. Нешто сонный этакъ откатится?

— Да это кто такой?—спросилъ еще чей-то голосъ.

— Сапожникъ это изъ городу. Въ Ивановымъ домѣ живетъ.

— О? Да я и бабу его знаю.

— Ахъ, озорники эти сапожники! Супротивъ сапожниковъ другихъ такихъ и нѣту! Охъ-хо-хо! Только вѣдь засыпать начала...

— Къ намъ по дорогѣ приставалъ!—бойко выносится откуда-то звонкій дѣвичій голосъ. Я узнаю по этому голосу одну изъ мѣщанокъ, которымъ Андрей Ивановичъ читалъ мораль.—И до такой степени приставалъ, то есть до такой степени, что и сказать невозможно...

— Мамыпка! Я тяткѣ на него скажу,—плаксиво говорить напуганная дѣвушка.

— Нишквы. Ужо мы евойной бабѣ все расскажемъ.

— О, ш-штобъ в-в-васъ!—тихо и злобно шипитъ Андрей Ивановичъ, видя, какой опасный оборотъ принимаетъ дѣло. Упоминаніе о супругѣ при такомъ подавляющемъ стеченіи уликъ окончательно лишаетъ его самоувѣренности, и потому онъ дѣлаетъ самое худшее, что могъ бы сдѣлать въ своемъ положеніи, а именно—вытягивается на постели и испускаетъ притворное сопѣніе, прикидываясь заспущимъ.

— Храпить... здѣсь вотъ этакъ же храпѣлъ, притворщикъ... Охъ-хо-хо! Грѣхи, грѣхи...

Вскорѣ подъ навѣсомъ водворяется тишина.

Притаившіеся на время голоса въ кузовѣ таран-

таса опять возобновляют тихую и мирную бесѣду. Изъ-за стѣны слышится визгъ и хохотъ. Андрей Ивановичъ ворочается, бормочетъ что-то и по временамъ кого-то тихо ругаетъ. Я начинаю забываться. Мнѣ опять видится одинокая старушка. Она все еще плетется по опустѣвшей дорогѣ, между побѣлѣвшими отъ росы ржаными полями. Андрей Ивановичъ идетъ впереди ея, размахиваетъ руками и кому-то угрожаетъ: „Что-о... не зачтется ей?... Нѣтъ, враки, не туда гнете!...“

— Не туда гнете!—слышу я уже на яву крикъ Андрея Ивановича. — Меня не испугаете! Нешто этакое озорство дозволяется? Спать не даете, гульбу завели, соблазъ! Бого-мо-дльцы!... Озорники, лодыри, гуляки!...

Я не сразу могъ сообразить, въ чемъ дѣло. Свѣтаетъ; снаружи первые, еще разсѣянные, лучи просверлили уже въ нашемъ плетнѣ круглыя горящія отверстія. Свѣтъ расплывается въ сыромъ воздухѣ, воробьи чрикаютъ подъ застрѣхами; въ углахъ темно и прохладно. Андрей Ивановичъ, босой, съ всклокоченными волосами, стоитъ у сѣней, передъ входомъ въ заднюю избу, и повидимому обличаетъ ночныхъ гулякъ. Хозяинъ, тоже босой, унижаетъ его.

— Ты вотъ что! Ты у меня въ домѣ самъ себя води посмирнѣе.

— А ты что изъ своего дому сдѣлалъ, а?

— Не твое дѣло. Тебя пустили, ты ночуй благородно, а безпокойства дѣлать не моги.

— Что тамъ опять?—просыпаются богомольцы.

— Сапожникъ изъ городу буянить.

— Сапожни-йкъ?

— Да, въ Ивановымъ домѣ живетъ который. Такой озорникъ, бѣда! Ночью этто къ дѣвкамъ такъ шаромъ и катится, такъ и катится...

— Къ памъ па дорогѣ до такой степени приставаля,— подымаетъ румяное лицо изъ тарантаса мѣщаночка. Теперь она въ тарантасѣ одна и имѣетъ видъ самага невиннаго простодушія.

— Бока намять!— категорически заключаетъ хриплый и сонный басъ.

— О, штобъ васъ!— стонетъ опять Андрей Ивановичъ, ложась рядомъ со мной.—Н-пу, нар-родъ! Этакого народу въ прочихъ мѣстахъ поискать... Ей-Богу... Тьфу!

— Охота вамъ, Андрей Ивановичъ, во все вмѣшивать-ся...—говорю я, едва удерживаясь отъ смѣха.

— Карахтеръ у меня такой! Не люблю озорства.

— Вотъ и распачивайтесь. Вамъ же и достанется...

— А что вы думаете? Ей-Богу правда. И всегда я же въ дуракахъ остаюсь... Н-ну, однако, попадетса мнѣ еще этотъ купецъ. Я ему, погодите-ка, носъ утру. Будетъ помнить...

И черезъ минуту, наклонясь къ моему уху, онъ тихо прибавилъ:

— А ужъ вы, Галактіонычъ, въ случаѣ чего, передъ Матреной Степановной какъ-нибудь, того, не выдавайте... Ахъ и народъ же... то-есть до чего нашъ народъ несообразенъ, такъ это даже удивительно!...

VIII.

День разгорался жарко. Икона тронулась опять часовъ съ десяти. Мы вышли немного впередъ, но идти было нелегко. Ноги двигались съ трудомъ, всѣ члены ныли. Однако понемногу усталость какъ будто проходила.

Кое-гдѣ небольшой лѣсокъ скрывалъ насъ своею тѣною отъ жаркаго солнца, но большею частью по бокамъ волновалась поспѣвающая рожь. Иногда на нашу дорогу выбѣгалъ проселокъ отъ какой-нибудь ближней деревни и на этомъ перекресткѣ стояли у маленькихъ „часовенокъ“ деревенскія иконки. Какой-нибудь сѣдой старикъ съ обнаженною головой сидѣлъ на припекѣ у блюда, покрытаго чистымъ полотенцемъ. У каждой такой часовенки икона останавливалась, служился молебенъ. Тогда вокругъ иконы дѣлалась давка. Народъ рвался къ ней, стараясь приложиться къ стеклу кіота. Сгибаясь, проходили они подъ шесты, на которыхъ икона была поставлена, давя другъ друга и тѣсясь, и тянулись къ иконѣ. Теперь, на просторѣ полей, у этихъ часовенокъ, среди раскинувшейся и порѣдѣвшей толпы, икона стала какъ будто ближе и доступнѣе. Тутъ собственно ее окружалъ тѣсный кружокъ настоящихъ богомольцевъ. Страждущій, болящій, немощный и скорбящій людъ охватывалъ икону живою волной, которая вздымалась подъ вліяніемъ какого-то особеннаго притяженія. Не глядя другъ на друга, не обращая вниманія на толчки, всѣ они смотрѣли въ одно мѣсто... Полупотухшіе глаза, скорченные руки, изогнутыя спины, лица искаженные отъ боли и страданія—

все это обращалось къ одному центру, туда, гдѣ изъ-за стекла и переплета рамы сіяла золотая риза, и голова Богоматери склонялась темнымъ пятномъ къ Младенцу. Изъ глубины кіота икона производила особенное впечатлѣніе. Солнечные лучи, проникая сквозь стекла, сверкали смягченными переливами на золотѣ ея вѣнца; отъ движенія толпы икона слегка колебалась, переливы свѣта вспыхивали и угасали, перебѣгая съ мѣста на мѣсто, и склоненная голова, казалось, шевелилась надъ взволнованною толпой. Тогда потухшія глаза и искаженные лица оживлялись. По всѣмъ этимъ лицамъ проходило какое-то вѣніе, сглаживавшее всѣ различныя оттѣнки страданія, подводившее ихъ подъ общее выраженіе умиленія. Я смотрѣлъ на эту картину не безъ волненія... Такая волна человѣческаго горя, такая волна человѣческаго упованія и надежды!... И какая огромная масса однороднаго душевнаго движенія, подхватывающаго, уносящаго, смывающаго каждое отдѣльное страданіе, каждое личное горе, какъ каплю, утопающую въ океанѣ... Не здѣсь ли, думалось мнѣ, не въ этомъ ли могучемъ потоцѣ однородныхъ упованій, одной вѣры и одинаковыхъ надеждъ—великая исцѣляющая сила...

Когда короткій молебенъ кончался и иконопосцы принимались за шесты,—многіе склонялись или даже ложились на землю. Но, опять, здѣсь это было какъ-то проще, болѣе трогало и никого не пугало... Икона вздрагивала, подымалась и, плавно колыхаясь, проносилась надъ распростертыми людьми. Счастливы, надъ которыми она проходила, вставали съ умиленными лицами.

IX.

Остановки здѣсь были очень часты, и поэтому мы съ Андреемъ Ивановичемъ далеко опередили ядро богомольцевъ.

Противъ одной деревеньки, живописно раскинувшейся въ верстѣ отъ дороги, на холмикѣ, мы наткнулись на оживленную картину. Вдоль нашего пути въ нѣсколькихъ мѣстахъ были выстроены зеленые шатры, въ тѣни которыхъ стояли столы и дымились самовары. На травѣ съ одной стороны дороги сидѣли бабы съ ведрами квасу и съ хлѣбомъ, на другой—курились огоньки, надъ которыми жарились на сковородкахъ грибы. Картина импровизованнаго базара была оживленная и шумная.

— Двѣ копѣйки, двѣ копѣйки всего! Грибковъ отдайте, почтенные,—весело зазывали красивыя, нарядныя молодницы.

Я усѣлся около одной изъ сковородокъ и позвалъ Андрея Ивановича.

— Не кушайте грибовъ!—сказалъ онъ мрачно и какъ будто намекая на что-то.

— А что?

— Раскольники!...—кинулъ онъ какъ-то въ сторону и отвернулся.

Я засмѣялся, но Андрей Ивановичъ пошелъ, не оставиваясь, дальше. Дѣйствительно, среди этихъ красивыхъ и по-праздничному разодѣтыхъ бабъ я не замѣтилъ того благоговѣйнаго ожиданія, съ какимъ встрѣчали икону въ другихъ мѣстахъ. Онѣ весело болтали, громко

пересмѣивались, зазывая проходящихъ. Среди нихъ царило, повидимому, одно только желаніе поживиться отъ этой толпы.

Отвѣдавъ невкуснаго яства, сильно отзывавшаго плохимъ постнымъ масломъ, я тронулся въ дальнѣйшій путь и, спустившись съ небольшого холма, наткнулся неожиданно на новую сцену. На дорогѣ, среди кучки плутовато посмѣивавшихся раскольничьихъ красавицъ, Андрей Ивановичъ являлъ новые примѣры неустрашимости. Въ сторонѣ стоялъ знакомый уже мнѣ тарантасъ; распряженные лошади ѣли овесъ, а хозяева оживленно спорили съ Андреемъ Ивановичемъ.

— А, на парѣ вы ѣздите!...— кричалъ Андрей Ивановичъ купеческому сыну, одѣтому, какъ и вчера, въ мужицкій картузъ.— Я на тебя не посмотрю, что ты ѣдишь на парѣ... Много я вашего брата училъ...

Онъ подвигался къ противнику, такъ же, какъ вчера, подставляя щеку. Одинъ изъ товарищей купчика, сунувъ въ длиннѣйшемъ пиджакѣ и въ картузѣ съ огромнымъ козырькомъ, еле стоявшій на ногахъ, путался, заплетаясь и балансируя, то и дѣло подходилъ къ Андрею Ивановичу съ воинственнымъ видомъ, но каждый разъ отлеталъ далеко въ сторону отъ легкихъ толчковъ послѣдняго. Мужичокъ-возница, въ кумачной рубахѣ и касторовой шляпѣ, оказывалъ болѣе дѣятельную помощь купцу, и потому Андрей Ивановичъ по временамъ схватывалъ его за грудь и сильно сотрясалъ. Купецъ замахиwался зонтикомъ, но ударить не рѣшался, несмотря на то, что Андрей Ивановичъ всячески поощрялъ его къ этому.

— Ну, что-жь, ударь, ударь... Я и женку-то знаю, которую ты вчера приводилъ... Егорки Михалыинскаго баба, а?... Н-на парѣ ѣздишь, форсишь!... Безобразничать вамъ только... Богомольцы!...

Но молодой купчикъ, видимо оробѣвшій, все только замахивался своимъ зонтикомъ. Тогда, потерявъ терпѣніе и предвидя мое вмѣшательство въ смыслъ примиренія, Андрей Ивановичъ вдругъ далъ совершенно неожиданный исходъ своей ярости. Кинувшись къ мужику-возницѣ, онъ схватилъ его одною рукой за грудь, а другою потянулся къ кастановой шляпѣ.

— Ты з-зачѣмъ евою шляпу падѣлъ, зач-чѣмъ н-на-дѣлъ шляпу, а?—спрашивалъ онъ сдавленнымъ отъ ярости голосомъ, и, сорвавъ ненавистную шляпу, вдругъ бросился къ купцу, быстро сшибъ съ него картузъ и сильнымъ движеніемъ нахлобучилъ ее ему на голову.

Озадаченная мина купца вызвала всеобщій хохотъ, но такъ какъ и послѣ этого оскорбленія онъ все-таки только измахнулъ своимъ зонтикомъ, то терпѣніе Андрея Ивановича окончательно истощилось. Не находя надлежащаго исхода своему боевому чувству, онъ схватилъ купца своею дюжею рукой за носъ и нѣсколько разъ потянулъ его изъ стороны въ сторону, съ выраженіемъ глубочайшаго презрѣнія...

— Н-на парѣ ѣздите вы, безобразники, н-на-а парѣ!—приговаривалъ онъ при этомъ.

Въ это время я подоспѣлъ на мѣсто дѣйствія и не безъ труда увелъ расходившагося героя. Онъ то и дѣло вырывался у меня, подбѣгалъ къ своимъ противникамъ,

швырялъ заплетавшагося обладателя пиджака на траву, сотрясалъ возницу за шиворотъ и тормошилъ купца. Наконецъ, все еще поворачиваясь, грозя кулаками и ругаясь, онъ рѣшился все-таки сойти съ холмика и разстаться съ своими врагами.

— Ахъ, Андрей Ивановичъ, Андрей Ивановичъ, и что вамъ только за охота драться!—сказалъ я.

— За правду помереть готовъ во всякое время!—категорически заявилъ Андрей Ивановичъ въ отвѣтъ.

— Да вѣдь они васъ не трогали, какая-жь тутъ правда?

— Конечно, не трогали... Да ужъ у меня такой характеръ. Онъ тутъ передъ гаринскими больно расформился, а я ему форсу поубавилъ. Потому—не безобразы!...

— Ну, хорошо, — сказалъ я, смѣясь. — А шляпа-то вамъ чѣмъ помѣшала?

— Шляпа? Это которая на Емелькѣ надѣта была, купецкая, что ли?

— Ну да!

Глаза Андрея Ивановича еще горѣли отъ возбужденія.

— Не обязанъ Емелька эту шляпу надѣвать,—сказалъ онъ энергично и тономъ безповоротнаго убѣжденія.— Шляпа, шляпа!... Онъ есть мужикъ, значитъ носи картузь... Пустяки вы, ей-Богу, говорите!...—неожиданно рассердился Андрей Ивановичъ на меня и зашагалъ быстрѣе.

Х.

Ближе къ Оранкамъ мѣстность становилась лѣсистѣе. Мы уже миновали строенія монастырскаго хутора и

опять колесимъ межъ деревьями, слѣдуя за прихотливыми изгибами лѣсной дорожки. Наконецъ молодые дубы и клены разступились, ржаное поле набѣжало вплотъ къ опушкѣ и передъ нами открылась небольшая полянка, съ трехъ сторонъ плотно охваченная лѣсомъ. За рожью мы увидѣли сѣрыя избы монастырской слободки, деревянную ограду, темныя деревья монастырскаго сада и весело бѣлѣющія надъ зеленью верхушки церквей. Это и была цѣль нашихъ благочестивыхъ стремленій, „монастырь на ораномъ полѣ“, какъ его звали встарину.

Такъ какъ икона отстала и, кромѣ того, мы шли ближайшимъ проселкомъ, то до встрѣчи у насъ было еще много времени. Въ концѣ „порядка“ мы нашли незапятную еще избу и спросили самоваръ. Андрей Ивановичъ, впрочемъ, исполняя обычай, прежде отправился въ баню, а я, утоливъ жажду, растянулся въ задней избѣ на рогожкѣ, и мгновенно меня охватилъ тяжелый сонъ сильной усталости. До меня долеталъ поднявшійся на встрѣчу иконѣ трезвонъ, я видѣлъ Андрея Ивановича, чисто вымытаго и съ краснымъ лицомъ, слышалъ, что онъ обращался ко мнѣ со словами укоризны, обвиняя въ малодушии. Хозяйка, стоявшая тутъ же, уговаривала оставить меня въ покоѣ.

— Ну, нѣтъ, никакъ нельзя!— волновался мой спутникъ.—Эстолько мѣста прошелъ, неужто теперича и Владычицу не встрѣтитъ?.. Не трогъ, я его подыму!

И онъ непремѣнно поднялъ бы меня какимъ-нибудь болѣе или менѣе жестокимъ способомъ, если бы въ это время трезвонъ, клирное пѣніе, гулъ и топотъ толпы

не показали ему, что со мной онъ рискуетъ не встрѣтить пѣону и самъ. Онъ бросилъ мою руку и ринулся изъ избы. Въ моихъ ушахъ еще нѣкоторое время укоризненно звенѣли монастырскіе колокола, потомъ звонъ сталъ тише, и я слышалъ только ровный шумъ славнаго лѣтняго дождя, ударявшаго въ легкую деревенскую постройку. Наконецъ, нѣсколько капель, упавшихъ мнѣ прямо въ лицо съ протекавшаго потолка, разогнали мою тяжелую дремоту...

Дождь прошелъ. Солнце густыми золотыми лучами заглядывало въ мои окна. Кругомъ было тихо и мнѣ казалось, что между труднымъ путемъ, дракой Андрея Ивановича на дорогѣ, между всѣми происшествіями этого дня и теперешнею минутой легли цѣлыя сутки. Не безъ усилія натянувши сапоги на натруженные ноги, я вышелъ.

На нашемъ „порядкѣ“ было тихо и спокойно. Кое-гдѣ устало слонялись богомольцы, бабы сидѣли на заваленкахъ, въ открытыя окна виднѣлись компаніи за самоварами. Большинство отдыхали или были въ церкви, такъ какъ всенощная еще не отошла. За оврагомъ, на другомъ „порядкѣ“, движенія было больше. Здѣсь раскинулись палатки и навѣсы деревенской ярмарки. Напуганные дождемъ, торговцы и торговки теперь раскрывали опять свои нѣсколько промокшіе товары. Тутъ были калашницы съ бѣлымъ хлѣбомъ, квасницы съ грушевымъ квасомъ по копѣйкѣ кружка, бакалейщики съ пряниками. Нищія старушки проходили по рядамъ, подставляя кружки Христа ради. Въ кабаѣ было шумно; на площади

кучи народа встрѣчались, бесѣдовали, сходились и расходились. Бѣлыя рубахи-шушпаны мордовокъ то и дѣло мелькали среди пестрыхъ ситцевъ и кумачей.

Сквозь открытыя монастырскія ворота мнѣ была видна наперть церкви съ густою толпой народа. Вечернія тѣни сгущались вокругъ монастыря на лѣсной полянѣ, очертанія предметовъ въ сыромъ воздухѣ смягчались, огни передѣйковыхъ свѣчей мелькали въ глубинѣ храма и пѣніе долетало по временамъ мягкими волнами звуковъ, примѣшиваясь къ шуму деревенскаго торгова.

Всенощная отходила. Когда я вошелъ въ церковь,—старый архіерей уже стоялъ у выхода и два діакона разоблачали его, произнося установленный обрядъ. Черезъ минуту архіерея увели подъ руки и народъ сталъ тоже расходиться.

На восточной сторонѣ двора я увидѣлъ еще одни ворота. За ними, уходя куда-то внизъ, виднѣлись въ сумеркахъ деревья сада и утопающій въ зелени куполь часовни. Я спустился къ ней по каменнымъ ступенькамъ; меня влекло уединеніе этого угла, тихій шепотъ деревьевъ и журчаніе воды, скрытой гдѣ-то въ темнотѣ. Въ часовнѣ оказался бассейнъ съ большою чашей надъ нимъ. Шаги гулко отдавались подъ ея сводами. Капли воды срывались съ чаши и звонко падали въ водоемъ одна за другой. На восточной стѣнѣ маячили очертанія какой-то большой картины; фигуры слабо выступали изъ мрака, таинственно и неясно, какъ будто носясь въ воздухѣ надъ святымъ ключомъ.

не показали ему, что со мной онъ рискуетъ не встрѣтить икону и самъ. Онъ бросилъ мою руку и ринулся изъ избы. Въ моихъ ушахъ еще нѣкоторое время укоризненно звенѣли монастырскіе колокола, потомъ звонъ сталъ тише, и я слышалъ только ровный шумъ славнаго лѣтняго дождя, ударявшаго въ легкую деревенскую постройку. Наконецъ, нѣсколько капель, упавшихъ мнѣ прямо въ лицо съ протекавшаго потолка, разогнали мою тяжелую дремоту...

Дождь прошелъ. Солнце густыми золотыми лучами заглядывало въ мои окна. Кругомъ было тихо и мнѣ казалось, что между труднымъ путемъ, дракой Андрея Ивановича на дорогѣ, между всѣми происшествіями этого дня и теперешнею минутой легли цѣлыя сутки. Не безъ усилія натянувши сапоги на натруженные ноги, я вышелъ.

На нашемъ „порядкѣ“ было тихо и спокойно. Кое-гдѣ устало слонялись богомольцы, бабы сидѣли на заваленкахъ, въ открытыя окна виднѣлись компаніи за самоварами. Большинство отдыхали или были въ церкви, такъ какъ всенощная еще не отошла. За оврагомъ, на другомъ „порядкѣ“, движенія было больше. Здѣсь раскинулись палатки и навѣсы деревенской ярмарки. Напуганные дождемъ, торговцы и торговки теперь раскрывали опять свои нѣсколько промокшіе товары. Тутъ были калашницы съ бѣлымъ хлѣбомъ, квасницы съ грушевымъ квасомъ по копѣйкѣ кружка, бакалейщики съ пряниками. Нищія старушки проходили по рядамъ, подставляя кружки Христа ради. Въ кабакѣ было шумно; на площади

скіе лѣса, и имъ влѣзжать велѣтъ для всякаго лѣсу и дровъ опричъ бортнаго дерева“. Тогда поганая мордва рѣшилась на другія средства. Много разъ слышались вокругъ обители грозные крики, много разъ мордва съ „дерзостнымъ несчастіемъ“ возставала на нее, и даже самъ основатель, бывшій бояринъ Петръ, а тогда уже схимонахъ Павелъ Глятковъ, палъ жертвой въ 1665 году. Ночью ворвалась мордва въ монастырь. Старецъ кинулся на колокольню, но мордва нашла его тамъ и онъ былъ звѣрски убитъ. Его повлекли съ колокольни за ноги по ступенямъ. „Отъ ударовъ,—говоритъ составитель „Описанія Оранской Богородицкой пустыни“,—голова была прошибена, а отъ прошибу текла изъ нея кровь въ такомъ множествѣ, что ею обагрена была вся лѣстница“. Помощи подать было некому, такъ какъ иноковъ было всего 8 человѣкъ. А кругомъ только лѣсъ окружалъ пустыню, дремучій лѣсъ, родственнѣй и дружественнѣй „поганой мордвѣ“, которая защищала его отъ вторженія чуждой культуры... Такъ погибъ основатель пустыни.

Терпѣла обитель и еще многія напасти. Кромѣ мордвы приходили въ пустынь и пограбляли ее „воровскіе люди“, нерѣдко изъ сосѣднихъ деревень. Мордва тѣснила ее „относительно жалованной земли, съ лѣсомъ и угодьями“, которыя „поганые терюхана“ привыкли конечно считать своими. Наконецъ и отъ своихъ жалованныхъ крестьянъ терпѣла пустынь, по выраженію іеромонаха Макарія, „упорство въ повиновеніи“. Упорство это „доходило до того, что въ 1745 году монастырскіе

крестьяне изъ Нижегородской губерніи убѣжали, чтобы не платить положеннаго оброка, и поселились въ Пензенской и Саратовской губерніяхъ“. Во всѣхъ этихъ напастяхъ, кромѣ заступленія Богородицы, пустынь оберегалась также и благочестивымъ радѣніемъ благодѣтелей. Такъ, перечисливъ во вкладной грамотѣ даруемая пустыни земли, одинъ изъ этихъ благодѣтелей скромно говоритъ: „и на той земли тѣченіемъ моимъ многорѣшнымъ собраны изъ бѣговъ и поселены тѣ бѣглые крестьяне оной пустыни: Петръ Алексѣевъ, у него сынъ Алексѣй, да Матѣей Алексѣевъ, да Ѳедосій Алексѣевъ, да Сидорка Тимоѣевъ съ женами и дѣтьми... Такожь прошу и молю,—заключаетъ благочестивый комиссаръ-жертвователь,—аще наведеніемъ супостата нашего впредь отъ оной обители вкладные крестьяне пожелаютъ на тою землю или въ другія мѣста бѣгать и жить, дабы ихъ ловить и за такое скотское и несмысленное дерзновеніе жестоко наказывать кнутомъ, посылать на старое ко оной обители жилище, дабы то святое мѣсто паче прославлено было, а не пусто“.

Несмотря на эти благочестивыя мѣропріятія, пустынь существовала скудно и трудно. Видно ни Петръ Алексѣевъ, ни Матѣей, ни Ѳедосій, ни Сидорка Тимоѣевъ съ женами и дѣтьми, ни всѣ жертвованныя благочестивыми людьми „души“ надлежащимъ образомъ къ обители не прилежали. „Въ 1730 году,—какъ сказано въ описи монастырскаго имущества за тотъ годъ,—4 книги четныхъ миней заложены у дворянина у Ивана Дмитріева. Іѣнивцева въ семи рубляхъ съ полтиной... а залож-

жилъ тѣ книги бывший казначей Иларіонъ, по братскому приговору, на время, ради хлѣбной нужды“...

Въ 1764 году, по объявленіи монастырскихъ штатовъ, Оранская пустынь, что на Словенской горѣ, оставлена за штатомъ и крестьяне, а равно и угоды у нея были отобраны. Казалось, начинанію Петра Глятьова, видѣвшаго въ тонцѣмъ свѣдѣніи будущую славу монастыря на осіянной небеснымъ свѣтомъ Словенской горѣ, приходилъ конецъ. Но именно съ этого времени, когда рабыни Сидоркины и Алешкины души были изъяты изъ-подъ монастырскаго ярма, и начинается періодъ процвѣтанія пустыни. „Единственная надежда,—говоритъ іеромонахъ-описатель,—была на чудотворную икону Божіей Матери, и надежда эта оправдалась. Въ 1771 году открылась моровая язва... въ самомъ Нижнемъ Новгородѣ цѣлая сотня людей дѣлались жертвами преждевременной смерти... тогда, не довольствуясь молитвами передъ святынею нижегородскою, вспомнили о чудотворной иконѣ Оранской Богоматери, которая, по распоряженію епископа Теофана Чарнуцкаго и градскаго начальства, была принесена въ Нижній, въ кафедральный соборъ. И вотъ, во время крестнаго хода,—повѣствуетъ Макарій,—надъ Нижнимъ Новгородомъ замѣтили, что носившіяся въ воздухѣ тонкія облака вдругъ начали собираться въ одно мѣсто и сгустились въ одно черное облако, понесшееся за Волгу“. Вскорѣ послѣ этого и язва прекратилась. „Въ память этого событія благодарные нижегородцы постановили приглашать икону къ себѣ ежегодно и исполнять сей обѣтъ свой въ роды родовъ“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ и отношенія къ обители Сидорокъ и Алешекъ, равно какъ и поганныхъ терюханъ—измѣнились. Бѣгать теперь отъ монастыря не приходилось, объ угодьяхъ споры прекратились за отобраніемъ послѣднихъ. Чудотворная икона, прежде обращавшая силу свою на посрамленіе воровскихъ и разбойныхъ поползновеній окрестныхъ жителей противъ старцевъ и являвшаяся какъ бы воюющею стороною, теперь изливала свои милости, испѣляла немощныхъ, прогоняла грозовыя тучи или призывала благодатные дожди на спаленныя нивы...

„И процвѣла есть пустыня яко крипъ“. Не слышно уже болѣе въ обители тревожнаго набата, дремучій лѣсъ не вторитъ ни жалобнымъ стономъ совлекаемаго съ колокольни старца, ни злобнымъ крикамъ терюханъ, ни святотатственнымъ окрикамъ удалыхъ воровскихъ людей. Кругомъ монастыря въ этотъ тихій вечерній часъ смолкаетъ говоръ тысячной толпы богомольцевъ; таинственно шепчутся высокія деревья монастырскаго сада и я стою, окруженный тѣнями старины, слушая немолчный звонъ воды надъ тѣмъ самымъ ключомъ, гдѣ нѣкогда старецъ Глатковъ припадалъ въ умиленіи у подножія дикой Словенской горы...

Темнѣло быстро. Съ востока опять надвигалась туча. Выйдя изъ часовенки и поднявшись на холмъ, я увидѣлъ, что ворота, въ которыя я вошелъ, заперты. Задній дворъ монастыря былъ пустъ, во дворѣ монастырской школы слышался стукъ колотушки караульщика.

— Вамъ выйти, что ли?—спросилъ у меня мужичокъ, возившійся около бани.

— Да, вотъ, не знаю, какъ выйти.

Онъ провелъ меня въ маленькую калитку. Пройдя вдоль старой мшистой монастырской стѣны, мы очутились на небольшомъ бугрѣ, надъ оврагомъ. Мѣсто было пустое и тихое. Простой восьмиконечный крестъ простиралъ надъ поляной свои плечи сурово и важно. Надъ крестомъ, затѣняя полянку еще болѣе и теряясь густолиственной головой въ вечернемъ небѣ, ровно и крѣпко шумѣло на вѣтру громадное дерево.

— Тутъ, подъ этимъ крестомъ, что міру лежитъ... и-и, безъ числа,—сказалъ мой провожатый.—Кладбища тутъ была кресьянская, — добавилъ онъ. — Потомъ, слышь, уничтожили. Не понравилось архирею одному, что плачемъ мы шибко, когда коронимъ своихъ... Теперь стало быть коронимся въ другомъ мѣстѣ...

Когда я вышелъ на площадь, торгъ прекратился. Торговки укладывались и покрывали на ночь товаръ. Изъ монастырскаго двора выходили послѣдніе запоздалые, быть-можетъ по кельямъ, посѣтители. Какого-то странника выталкиваютъ силой и запираютъ за нимъ ворота. Странникъ громить отцовъ и собираетъ около себя кучку раскольниковъ-слушателей... Около кухни послушникъ равнодушно выслушиваетъ укоры пришлыхъ изъ города нищенокъ.

— Мало, что ли, принесла вамъ Владычица изъ Нижняго? Нѣтъ у васъ для богомолковъ куска хлѣба!...

Послушникъ-хлѣбопекъ хладнокровно вытиралъ полый потное лицо.

— Вы должны просить со смиреніемъ, а вы дерзостно просите,—сказаль онъ.

— Чтò я сказала? Только и сказала, что вамъ, дескать, мордовоѣ своихъ, что-ль, кормить нечѣмъ.

— Ну, вотъ видишь: сама язвительныя слова говоришь, а хочешь, чтобъ тебѣ подали. Ступай, ступай!...

На площади народъ рѣдѣть. Только у харчевни Андрей Ивановичъ громко спорилъ съ прїѣхавшими на базаръ окрестными раскольниками.

— Врешь, не туда гнете!...—разносился рѣзкій голосъ неугомоннаго сапожника.

ХІІ.

На слѣдующее утро я проснулся довольно поздно. Андрея Ивановича уже не было въ избѣ.

Большинство богомольцевъ уже ушли, чтобы воспользоваться для пути утреннимъ холодеомъ. За то изъ окрестныхъ деревень народу прибывало все больше. Многіе шли въ церковь, чтобы повидать архіерея, но большинство, кажется, привлекала ярмарка, вступавшая во второй день (такъ-называемое подторжье). Завтра съ „отваломъ“ она должна была кончиться. Въ числѣ прибывшихъ было много раскольниковъ изъ ближнихъ къ монастырю деревень, и поэтому кое-гдѣ въ кружкахъ кипѣли собесѣдованія, переходившія по временамъ въ страстные споры, а иногда и въ ругательства.

— Вы почему сами себя, напримѣръ, православными считаете?—спрашиваетъ раззадоренный спорщикъ.

— А потому,—высокопарно отвѣчаетъ вопрошаемый,— что наша церковь—Христова, на правильной славѣ стоитъ сколько время.

— Никонова вѣра у васъ.

— А у васъ Дунькина...

Я зашелъ въ церковь. Тамъ между народомъ я уви-
дѣлъ двухъ крестьянъ, у которыхъ длинные волосы были
сбриты на макушкахъ. Замѣтивъ, что я присматриваюсь къ
нимъ, старикъ мой сосѣдъ пояснилъ, наклонясь ко мнѣ:

— Раскольники это.

— Зачѣмъ же они бреются?

— А это у нихъ повѣрье, что значить на нихъ Духъ
Святой сходить. Такъ вотъ, чтобы легче ему войти въ
человѣка... стало-быть волосы мѣшаютъ.

Раскольники стояли истово и по временамъ крести-
лись двуперстнымъ сложеніемъ.

Икона, вынутая изъ кіоты, стояла у себя, дома, на
южной сторонѣ, не вдалекѣ отъ архіерейскаго амвона.
Надъ ней было развѣшано бѣлое полотенце; народъ, какъ
всегда, толпился около нея; каждый, подходя, крестился,
многіе вытирали полотенцемъ глаза, цѣловали икону и
проходили дальше. Поставивъ передъ иконой нѣсколько
свѣчей по порученію, данному незнакомыми старушками,
я вышелъ.

На площади мнѣ попался на-встрѣчу Андрей Ивано-
вичъ, быстро проходившій среди толпы. Онъ шелъ, раз-
махивая руками, не замѣчая людей и, повидимому, заня-

тый какою-то мыслью, которая его сильно волновала. Губы его что-то бормотали, лицо было задумчиво-сердито.

— А-а, Галактіонычъ! Я васъ ищу...

— Что такое?

— Подите-ка сюда.

Онъ отвелъ меня въ сторону. Я замѣтилъ, что онъ какъ будто сконфуженъ, точно сейчасъ выдержалъ баталію и остался побѣжденнымъ. Лицо его было въ поту, глаза растерянно косили.

— Какъ оно будетъ правильнѣе,—спросилъ онъ, оглядываясь по сторонамъ, точно школьникъ, тайкомъ спрашивающій у товарища невыученный урокъ,—то есть какъ Христосъ сошелъ на землю: *воплоти* или *воплотѣ*?...

— Ничего не понимаю.

— Ну, вотъ, какой вы, ей-Богу! Видите: ежели *воплоти*, стало-быть голосъ ударяетъ вначалѣ... А ежели *воплотѣ*, слѣдовательно уже силу имѣетъ въ концѣ. Вѣдь это же разница.

— Да зачѣмъ вамъ?

— Стало-быть надо! Потому что я передъ людьми оконфуженъ. Вотъ видите какое дѣло. Стали мы тутъ говорить въ кучкѣ о вѣрѣ... Ну, и я тоже выражалъ отъ себя... Да вы не думайте: ей-Богу все правильно говорилъ, какъ есть... А одинъ тутъ изъ раскольниковъ все мнѣ напротивъ, все напротивъ... И вдругъ это онъ мнѣ и говорить: да ты что, говорить, споришь, а самъ еще и разговаривать съ нами не можешь. Скажи, говорить, „какъ Господь нашъ Ісусъ Христосъ сошелъ на

землю: *воплоти* или *воплотитъ*?“ *). Ну, я подумалъ и говорю: „стало-быть *воплотитъ*“. „Поэтому, говорить, ты есть невѣжа и повиненъ гееннѣ огненной“... Ей-Богу, правда. А я, признаться, и самъ маленько сумнѣваюсь, правильно ли я сказалъ, потому что они — начетчики... Такъ, вотъ, вы мнѣ объясните.

— Я думаю, что всего правильнѣе: во плоти.

— Во-пло-ò-ти? (Андрея Ивановича очень удивила возможность еще третьей комбинаціи). А вѣдь, ей-Богу, пожалуй вѣрно.

Онъ хлопнулъ себя по лбу и дернулся въ сторону, намѣреваясь куда-то бѣжать.

— Да я не понимаю, Андрей Ивановичъ, — зачѣмъ вы объ этомъ спорите? Вѣдь въ этомъ никакой важности нѣтъ и духъ ученія вовсе не въ удареніяхъ.

— Какъ вы говорите: духъ?

Андрей Ивановичъ остановился, готовясь не пророчить ни одного слова.

— Ну, да, духъ христіанскаго ученія!... А вѣдь это одно праздное словоизмышленіе, пустяки...

— Такъ, такъ,—мотнулъ Андрей Ивановичъ головой..— Духъ— разъ (онъ загнулъ одинъ палецъ), словоизмышленіе—два (онъ опять загнулъ палецъ). Еще можетъ что-нибудь скажете?

— Будетъ съ васъ.

— Ладно! Теперь мнѣ бы его найти; я его этимъ самымъ словомъ сейчасъ на мѣстѣ ушибу, ей-Богу!

*) Одинъ изъ вопросовъ раскольничьей діалектики.

не показали ему, что со мной онъ рискуетъ не встрѣтить икону и самъ. Онъ бросилъ мою руку и ринулся изъ избы. Въ моихъ ушахъ еще нѣкоторое время укоризненно звенѣли монастырскіе колокола, потомъ звонъ сталъ тише, и я слышалъ только ровный шумъ славнаго лѣтняго дождя, ударявшаго въ легкую деревенскую постройку. Наконецъ, нѣсколько капель, упавшихъ мнѣ прямо въ лицо съ протекавшаго потолка, разогнали мою тяжелую дремоту...

Дождь прошелъ. Солнце густыми золотыми лучами заглядывало въ мои окна. Кругомъ было тихо и мнѣ казалось, что между труднымъ путемъ, дракой Андрея Ивановича на дорогѣ, между всѣми происшествіями этого дня и теперешнею минутой легли цѣлыя сутки. Не безъ усилія натянувши сапоги на натруженные ноги, я вышелъ.

На нашемъ „порядкѣ“ было тихо и спокойно. Кое-гдѣ устало слонялись богомольцы, бабы сидѣли на заваленкахъ, въ открытыя окна виднѣлись компаніи за самоварами. Большинство отдыхали или были въ церкви, такъ какъ всенощная еще не отошла. За оврагомъ, на другомъ „порядкѣ“, движенія было больше. Здѣсь раскинулись палатки и навѣсы деревенской ярмарки. Напуганные дождемъ, торговцы и торговки теперь раскрывали опять свои нѣсколько промокшіе товары. Тутъ были калашницы съ бѣлымъ хлѣбомъ, квасницы съ грушевымъ квасомъ по копѣйкѣ кружка, бакалейщики съ пряниками. Нищія старушки проходили по рядамъ, подставляя кружки Христа ради. Въ кабаѣ было шумно; на площади

кучи народа встрѣчались, бесѣдовали, сходились и расходились. Бѣлыя рубахи-шушпаны мордовокъ то и дѣло мелькали среди пестрыхъ ситцевъ и кумачей.

Сквозь открытыя монастырскія ворота мнѣ была видна наперть церкви съ густою толпой народа. Вечернія тѣни сгущались вокругъ монастыря на лѣсной полянкѣ, очертанія предметовъ въ сыромъ воздухѣ смягчались, огни передѣйковыхъ свѣчей мелькали въ глубинѣ храма и пѣніе долетало по временамъ мягкими волнами звуковъ, примѣшиваясь къ шуму деревенскаго торгова.

Всенощная отходила. Когда я вошелъ въ церковь,—старый архіерей уже стоялъ у выхода и два діакона разоблачали его, произнося установленный обрядъ. Черезъ минуту архіерея увели подъ руки и народъ сталъ тоже расходиться.

На восточной сторонѣ двора я увидѣлъ еще одни ворота. За ними, уходя куда-то внизъ, виднѣлись въ сумеркахъ деревья сада и утопающій въ зелени куполь часовни. Я спустился къ ней по каменнымъ ступенькамъ; меня влекло уединеніе этого угла, тихій шелотъ деревьевъ и журчаніе воды, скрытой гдѣ-то въ темнотѣ. Въ часовнѣ оказался бассейнъ съ большою чашей надъ нимъ. Шаги гулко отдавались подъ ея сводами. Капли воды срывались съ чаши и звонко падали въ водоемъ одна за другой. На восточной стѣнѣ маячили очертанія какой-то большой картины; фигуры слабо выступали изъ мрака, таинственно и неясно, какъ будто носясь въ воздухѣ надъ святымъ ключомъ.

чались на длинных стебелькахъ, купаясь въ синемъ воздухѣ, и мнѣ казалось, что они трепещутъ отъ такого же сознательнаго наслажденія, какое въ эту минуту переполняло меня. Между тѣмъ въ компаніи около огонька начался опять разговоръ, прерванный моимъ приходомъ. Первый началъ Андрей Ивановичъ.

— Ну, ну, говори дальше, не опасайся...

— Ну, вотъ, больше ничего. А что полагаю я: не можетъ быть значить, чтобы намъ провалиться, потому какъ мы при отцахъ-дѣдахъ надаваны господами и живемъ стало-быть на отцовскимъ мѣстѣ. Потому что господа, значить, объ монастырѣ радѣли. Мало ли ихъ, господъ, и теперича на кладбищѣ лежить. Вотъ была, слышь, война севастопольска. Я мальчонкой былъ, и то помню: выбѣжали мы съ ребятами за околицу, глядимъ, везутъ изъ лѣсу въ черной телѣгѣ смолиной гробъ, а въ гробу, слышь, полковникъ убитый въ монастырь ѣдетъ корониться. Да не то-что полковники, тутъ и генералы лежать...

— Не туда гнешь! — строго сказалъ Андрей Ивановичъ. — Ты это что же на генераловъ свернулъ? Ты о кудесникѣ доскажи. Онъ, видишь, тебѣ какое слово сказалъ. Стало-быть ты ему и отвѣчай, а генераловъ оставь!

— Дѣ-э!... То-то вотъ... — подтвердилъ одинъ изъ проѣзжихъ мужиковъ не безъ ехидства.

Я понялъ, что опять попалъ на словопренія, и мнѣ стало ясно взаимное положеніе сторонъ. Бекетчикъ Иванъ Савинъ — мужикъ изъ подмонастырной слободки, быть-можетъ прямой потомокъ какого-нибудь Петра Алексѣева или Сидорки Тимоеева, которыхъ, въ старые

скіе лѣса, и имъ влѣзжать велѣтъ для всякаго лѣсу и дровъ опричь бортнаго дерева“. Тогда поганая мордва рѣшилась на другія средства. Много разъ слышались вокругъ обители грозные крики, много разъ мордва съ „дерзостнымъ нечестіемъ“ возставала на нее, и даже самъ основатель, бывшій бояринъ Петръ, а тогда уже схимонахъ Павелъ Глятковъ, палъ жертвой въ 1665 году. Ночью ворвалась мордва въ монастырь. Старецъ кинулся на колокольню, но мордва нашла его тамъ и онъ былъ звѣрски убитъ. Его повлекли съ колокольни за ноги по ступенямъ. „Отъ ударовъ,—говоритъ составитель „Описанія Оранской Богородицкой пустыни“,—голова была прошибена, а отъ прошибу текла изъ нея кровь въ такомъ множествѣ, что ею обагрена была вся лѣстница“. Помощи подать было некому, такъ какъ иноковъ было всего 8 человекъ. А кругомъ только лѣсъ окружалъ пустыню, дремучій лѣсъ, родственнѣй и дружественнѣй „поганой мордвѣ“, которая защищала его отъ вторженія чуждой культуры... Такъ погибъ основатель пустыни.

Терпѣла обитель и еще многія напасти. Кромѣ мордвы приходили въ пустынь и пограбляли ее „воровскіе люди“, нерѣдко изъ сосѣднихъ деревень. Мордва тѣснила ее „относительно жалованной земли, съ лѣсомъ и угодьями“, которыя „поганые терюхана“ привыкли конечно считать своими. Наконецъ и отъ своихъ жалованныхъ крестьянъ терпѣла пустынь, по выраженію іеромонаха Макарія, „упорство въ повиновеніи“. Упорство это „доходило до того, что въ 1745 году монастырскіе

до всего доходилъ... Всю ночь бывало огонекъ у него: мастерить что-то, либо эту книгу читаетъ. И сдѣлалъ онъ земное подобіе, вродѣ бы сказать шаръ земной, и тутъ тебѣ солнце, и земля, и звѣзды. Заведетъ пружину—и пойдетъ этто земля въ ходъ, и солнце тебѣ выкатывается, и луна кругъ земли ходить, и стало-быть звѣзды тоже по своимъ мѣстамъ... Какъ у Бога, такъ и у него... въ акурать!

— Ну, въ этомъ, я полагаю, грѣха нѣту,—сказалъ Андрей Ивановичъ,—потому это глобусъ.

Я повернулъ голову, чтобы видѣть, какое впечатлѣніе произвели эти слова городского человѣка на собесѣдниковъ.

Слышавъ его приговоръ, снабженный такимъ мудренымъ словомъ, раскольники глядѣли нѣсколько секундъ растеряннымъ взглядомъ.

— Нѣту грѣха, говоришь... въ этакое-то дѣлѣ?

— То-то, сказываютъ, въ этомъ еще грѣха нѣту,—продолжалъ Савинъ, потому что это подобіе на славу Божию, значить для вразумленія человѣковъ... Ну, а вы послушайте дальше. Стало-быть сколько-то прожилъ онъ и померъ скорою смертию, безъ покаянія. Палъ у себя въ кельи и умеръ.

— Оно и видно, что ужъ Богъ не потерпѣлъ,—вставилъ раскольникъ.

— Ну, значить, какъ померъ онъ, надо было сундуки вскрывать. А замки у него такъ хитро прилажены: бились, бились—ничего не подѣлаютъ. Вотъ и позвали, слышь, для этого дѣла нашего деревенскаго одного... Мастеръ тоже былъ на всѣ руки. Онъ и отперъ.

— Ну?

— Нехорошо, дѣйствительно!... Въ одномъ, слышь, сундукѣ деньги, такъ пачками и лежатъ, веревочками обвязаны. А какъ другой открыли, такъ тутъ ужъ такое увидали, что и сказать грѣшно: лежитъ въ сундукѣ сдѣлана дѣвица, какъ быть живая...

Раскольникъ, поднявшійся на локоть, съ горящими глазами, не вытерпѣлъ и, перебивъ рассказчика, досказалъ самъ:

— И слышь, толкнуть эту дѣвицу подъ ложечку,—сейчасъ она срамныя слова можетъ говорить...

— Слово-то мы, положимъ, что не слышали,—сказалъ Савинъ.

Андрей Ивановичъ молча и сосредоточенно покачалъ головой. Ободренный его видомъ, раскольникъ заговорилъ съ страстнымъ возбужденіемъ:

— Да вѣдь это, братецъ мой, что онъ говоритъ!... Вѣдь ужъ взявъ для всѣхъ знаменіе было отъ Бога, что нельзя Ему батюшкѣ больше ихняго мѣста терпѣть. Насмердѣло!

Въ котелѣ закипѣло. Савинъ отодвинулъ котелокъ отъ огня и затѣмъ сказалъ своимъ ровнымъ голосомъ:

— Знаменіе, братецъ, понимать тоже надо, къ чему оно дается. Видите: опять это вѣрно онъ говоритъ, что было знаменіе. Стало-быть на „порядкѣ“ у насъ, видѣли можетъ, часовенка махонькая стоитъ. Тутъ прежніе годы вертепъ былъ. Это вотъ завтра, къ отвалу ярмарки, мордва соберется, видимо-невидимо. Такъ вотъ въ прежніе года, не очень давно, у нихъ въ этомъ мѣстѣ игрища была; дѣвки бывало хоробы водють, пѣсни поють, а парни на гармоніяхъ играютъ, въ дуды дудятъ... И все зна-

читъ у самаго монастыря; конечно, нехорошо, само собой. И пришла, знаешь, одинъ разъ въ игрищу этому дѣвица, сторонняя какая-то. Мордва-то вся бѣлая, а дѣвица эта въ черномъ платѣ, только голова бѣлымъ платкомъ повязана. Вотъ пришла, стала середь игрища, стоитъ, этакъ руки вытянула, глазами въ одно мѣсто смотреть. А чья дѣвица, неизвѣстно. Вотъ разошлась мордва съ игрища, а она стоитъ. Ночь пришла,—она все ни съ мѣста. Наконецъ того, повѣрите ли, на зарѣ вышли наши бабы коровъ гнать... Что за диво: стоитъ дѣвица середь полянки, ровно статуя, перепугала народъ весь. Стали которые подходить, спрашиваютъ; „что молъ, дѣвонька? По какой причинѣ стоишь?“ Ни слова. Ну, тутъ ужъ увидѣли, что дѣло это не простое. Приѣхалъ исправникъ Воронинъ, свели ту дѣвицу силѣмъ съ мѣста, и стала она послѣ того объяснять. Вышла, говорить, на игрище и вдругъ этто вижу: все кругомъ провалилось... Я одна на малымъ мѣстѣ стою и ступить мнѣ некуда... А икона значитъ на облакѣ въ небо поднялась...

— Ну, вотъ видите!—подхватилъ раскольникъ:—вѣдь ужъ это вѣявѣ обозначаетъ, что ихнему мѣсту не стоять...

Андрей Ивановичъ сосредоточенно покачалъ головой и сказалъ, обращаясь къ Ивану Савину:

— Поэтому, вижу я, ваше дѣло ай-ай плохо...

— А я такъ полагаю,—отвѣтилъ Иванъ Савинъ,—не можетъ быть, чтобы намъ провалиться. Потому, ты рассуди самъ, милый человѣкъ: первое дѣло игрищу съ этихъ самыхъ поръ уничтожили, отслужили на томъ мѣстѣ молебень съ иконой и поставили часовенку...

— Да что играща!... Будто въ одной игращѣ дѣло,— перебилъ раскольникъ:—намердѣло ваше мѣсто передъ Господомъ, аки Содома!...

Иванъ Савинъ снялъ совсѣмъ котелокъ съ огня, попробовалъ кашу и сказалъ другому „бекетчику“:

— Готово, дядя Силантій, пуцай вотъ поостынетъ маленько.—Затѣмъ, обратясь къ собесѣднику, отвѣтилъ:— Это, братъ, ты сверхъ ума говоришь... Это неизвѣстно. Конечно, грѣшны и мы, а все за другихъ авось Господь не взыщетъ. Потому мы развѣ монахамъ молимся? Мы Владычицѣ молимся, вотъ кому... Тоже вѣдь и объ васъ было знаменіе...

— Мало ли!—угрюмо сказалъ раскольникъ и затѣмъ поднялся.—Пора и запрягать намъ.

Оба они съ товарищемъ пошли къ лошадямъ.

Бѣлесый мужичокъ, сидѣвшій въ телѣгѣ и слушавшій очень внимательно весь разговоръ, подошелъ къ огню и, почесывая руками брюхо, сказалъ, лукаво подмигивая въ сторону раскольниковъ:

— Не любятъ... Какъ про нихъ заговорили, имъ и запрягать надо...

И затѣмъ, постоявъ нѣсколько секундъ, онъ опять улыбнулся и сказалъ:

— А у насъ, слышь, еще какъ-то новая вѣра прискочила. Астрицка, что ли, сказываютъ. Часовню хотятъ строить...

— А какое же, говоришь, знаменіе объ нихъ?—обратился Андрей Ивановичъ къ Савину.

— Да вотъ, знаменіе тоже не малое. Ходить тутъ

паренёкъ ихній, безумный. Это недавно цѣлую деревню спалилъ, а прежде того у насъ въ монастырѣ не въ урочное время на колокольню забился и давай звонить... Народъ весь перебулгачилъ. Просто сказать—юродивый паренёкъ этотъ. А отчего сталъ юродивый, такъ вотъ отчего. Былъ онъ у нихъ за первѣющаго начетчика и на радѣніяхъ ихнихъ замѣсто попа читалъ. Вотъ, говоритъ, однажды,—самъ вѣдь и рассказываетъ это, когда въ себя приходитъ,—много, говоритъ, читалъ, толковалъ отъ ума, въ перстахъ божество разбиралъ... Усталъ. Выхожу, говоритъ, на крыльцо, сталъ, говоритъ, супротивъ вѣтру, прохлаждаюсь маленько. А дѣло вечернее. На небѣ звѣзды горятъ и луна стоитъ,—свѣтло какъ вотъ днемъ. Только, говоритъ, слышу вдругъ трещить что-то надъ лѣсомъ. Оглянулся туда: летитъ поверхъ лѣсу змій крылатый, а-агромнѣйшій змій летитъ, весь пламенемъ пышетъ и трещить такъ, ровно бы въ трещотку... Оглянуться, говоритъ, не успѣлъ я,—ужь онъ полнеба покрылъ и прямо на нашу деревню, да ко мнѣ, да пасть разставляетъ... Вотъ ждутъ-пождутъ въ избѣ, а парня все нѣту. Вышли за нимъ, а онъ лежитъ пластомъ, какъ не живой. Съ тѣхъ поръ и ума рѣшился. Когда и опомнится, такъ все-таки не надолго...

— Галактіонычъ, вы не спите?—спросилъ у меня Андрей Ивановичъ.

— Нѣтъ, Андрей Ивановичъ, не сплю.

— Слушаете?

— Слушаю.

Онъ помолчалъ, повидимому ожидая отъ меня еще

чего-то, потомъ сказалъ (я представлялъ себѣ при этомъ его наморщенный лобъ и сосредоточенный взглядъ):

— Удивительное дѣло, право!... Вотъ мы сколько лѣтъ въ городахъ живемъ и никакихъ чудесъ не видали. А у васъ кругомъ, куда ни повернись, чудеса... Или ужъ просты вы очень...

— Ахъ, милый!—сказалъ Иванъ Савиновъ.—Нешто можно городского человѣка къ мужику примѣнить?... Ты вотъ, скажемъ, сапожникъ. Купилъ ты товару, сшилъ сапогъ, несешь его къ господину или, будемъ говорить, къ купцу. Сейчасъ онъ смотритъ: сапогъ форсистый, товаръ хорошій, работу твою знаетъ, и спрашиваетъ онъ у тебя цѣну. Ты, къ примѣру, просишь пять рублей, онъ тебѣ—четыре. А ужъ оба вѣрно знаете, что за четыре съ полтиной сапогъ этотъ идетъ. Ежели, скажемъ, нужда тебѣ, ты опять у него же просишь. Такъ ли я говорю?

— Ну, ну!... къ чему только ты это примѣнишь?

— А къ тому, что значить ты въ своей волѣ живешь и долженъ ты больше уважать давальцу. А мужикъ... онъ кругомъ какъ есть въ божьей волѣ ходитъ. Сейчасъ вотъ парить крѣпко, а изъ-за лѣсу вонъ ужъ туча глядитъ. Тебѣ это ни къ чему, только что развѣ промокнешь. А мужикъ—ужъ онъ собираетъ, стало-быть, къ чему Господь-батюшка эту тучу приспособляетъ. Вотъ теперь для хлѣбовъ она пользительна, и мы должны Бога благодарить. А иной разъ бываетъ: хлѣба налились, вдругъ холодомъ пахнетъ, побѣжитъ-побѣжитъ градовое облако. Тутъ ужъ надо мужику ко Владычицѣ

прибѣгать, икону мы подымаемъ, молимся: отвори! И, стало-быть, ежели можетъ еще грѣхамъ нашимъ терпѣть, то заступится, пронесетъ мимо. А ежели ужъ невозможно ей терпѣть, мы должны бѣдствовать. Такъ-то...

— И видите вы себѣ отъ иконы заступленіе?

— И-и, какъ не видать? Явственно видимъ. Давно ли было, третьяго или четвертаго году, появился червь на хлѣбахъ... И нигдѣ не было, только у насъ... что на ржи, что на просѣхъ и даже лёнъ жралъ. Изъ себя небольшой, черный, мохнатенькій, глаза у него востренькіе, а ежели подразнишь его соломенкой, такъ онъ и вскидывается, ровно бы сказать вамъ—змѣенышъ. Злющій червь!... Пошелъ я съ мальчонкой, съ племянкомъ, на ниву посмотриѣть. Хлыснули прутомъ по колосу,—повѣришь ли, какъ дождь, вотъ какъ дождь этого червя посыпалось. Ну, видимъ мы такое насланіе, стало-быть не иначе—надо икону поднимать. Подняли, прошли съ молебствіемъ, и взялась тутъ туча—а-агромная туча—и ударила на поля вѣтромъ да грозой. Что же думаете: вышли на утро въ поле—ни одного червя!...

— А насчетъ того, чтобы больныхъ исцѣлять... бывало ли?

— Въ прежніе года много бывало. А теперь не слышно. Въ книжкахъ вотъ писано... значитъ про моровую язву и потомъ насчетъ болящихъ...

— А у насъ такъ вотъ была же чуда отъ иконы,—вмѣшался бѣлесый мужичонко,—и, слышь, не въ давніе года. Стало-быть жила въ нашемъ городу купчиха одна и дочь у той купчихи была хвора. Скрючило ее съ тринадцатаго

году, ноги отняло и не стало ей росту. Все бывало на лежанкѣ сидитъ и, ежели на нее стороннему человѣку посмотрѣть, какъ есть малая дѣвчонка, а ужъ въ ту пору было ей по семнадцатому году. Много тоже молились онѣ, что иконъ подымали, — все не беретъ сила... Почаевска, слышь, и то не могла помочь ей... Только разъ приснился той дѣвицѣ старичокъ сѣденькій: „сходи, говоритъ, ты, скорбная дѣвица, къ Николѣ въ N-ское село“. Ну, онѣ и поѣхали. И вѣдь что думаете вы: положили дѣвицу на земь, пронесли икону, и стала дѣвица на ноги маленько подыматься. Сама послѣ сказывала: какъ понесли икону, такъ будто отъ головы къ ногамъ ее вѣтромъ опахнуло, — значить сила изшла. И съ тѣхъ поръ выпрямилась дѣвица вполнѣ и такая стала красавица!... Приѣхала черезъ три года въ то село съ матерью, — священникъ ее не узналъ. — „А гдѣ же, говоритъ, болящая?“ — „А это, говоритъ, я самая“. За хорошаго жениха замужъ вышла, право!... Своя лавка у него въ городѣ. Вотъ, братцы, удивительная чуда была у насъ! — И бѣлесый мужичонко посмотрѣлъ на насъ довольными глазами.

— Конечно, бываетъ, — сказалъ Иванъ Савинъ.

— Галактіонычъ! — окликнулъ меня опять Андрей Ивановичъ — Слыхали вы это?

— Слышалъ.

— А какъ думаете, можетъ ли это быть?

— Я думаю, что онъ не вретъ.

— Э, не туда гнете: не вретъ!... Съ чего ему врать-то, — денегъ за это не дадутъ. А вы скажите, въ чемъ

сила самая? Скажемъ такъ: холерѣ надо уже прекратиться,—тоже вѣдь не вѣчно ей быть... Къ этому времени приносятъ икону. Холера, значить, прошла — чудо!... Ну, хорошо. И насчетъ дождя то же самое: тучу вѣтромъ пригнало. А ежели дѣвицу теперь, которая скрючивши три года — и вдругъ выпрямляетъ и вполне значить дѣлаетъ изъ неѣ человѣка... Это какъ?

— Вѣра, Андрей Ивановичъ...

Андрей Ивановичъ опять выжидающе помолчалъ.

— Вѣра, вы говорите?... То-то вотъ и есть. Э-эхъ, господа, господа!...

И Андрей Ивановичъ недовольно махнулъ рукой.

XIV.

Онъ былъ сильно не въ духѣ, и хотя вообще очень трудно было услѣдить каждый разъ причины той или другой переменны въ его довольно причудливомъ настроеніи, но на этотъ разъ мнѣ казалось, что я его понимаю. Разказы Ивана Савина, его спокойный голосъ, безповоротная увѣренность и очевидная правдивость — все это произвело на горожанина сильное впечатлѣніе. Онъ невольно поддавался настроенію вѣры, чудесъ и непосредственнаго общенія съ таинственными силами природы. Между тѣмъ, во мнѣ онъ съ обычною чуткостью нервныхъ людей улавливалъ совершенно другое умственное настроеніе, не менѣе безповоротное,—и это мѣшало цѣльности его впечатлѣній. Формулировать ясно

свои вопросы онъ не могъ, я на его вызовы не подавался, и потому Андрей Ивановичъ ворчалъ что-то про себя и сердито укладывался возлѣ шалаша.

— А что, Андрей Ивановичъ, не пойдемъ ли?...

— Куда вамъ торопиться!—отвѣтилъ онъ борчливо.

Я не безъ удивленія замѣтилъ, что, обыкновенно бодрый и неутомимый, онъ поворачивался теперь лѣнливо, съ нѣкоторымъ трудомъ. Вслѣдствіе этого у меня невольно мелькнуло подозрѣніе относительно какого-нибудь новаго приключенія во время посѣщенія знакомаго въ Сивухѣ.

Я не возражалъ. Мнѣ было пріятно бродить среди этихъ полей, не рассуждая и не заботясь о томъ, дойдемъ ли въ назначенное время до намѣченнаго ранѣе ночлега, или будемъ путаться ночью гдѣ попало.

Вскорѣ Андрей Ивановичъ захрапѣлъ. Бѣлесый мужичонко, ѣхавшій откуда-то издалека, запрягалъ лошадь, бекетчики, перекрестясь, усѣлись за свой котелокъ и до меня долетали слова тихаго разговора. Сначала дѣло шло о какихъ-то двухъ съ полтиной и о повыхъ подшинахъ для купленной недавно телѣги. Но черезъ нѣкоторое время, когда листья клѣна, на которые я смотрѣлъ, начали расплываться и слились въ какой-то неопредѣленно-зеленый навѣсъ, охватившій меня со всѣхъ сторонъ,—изъ этихъ двухъ голосовъ выдѣлился грудной баритонъ Ивана Савина. Онъ говорилъ что-то неторопливо, долго, монотонно. Словъ я не помню, помню только, что сначала мнѣ было смѣшно, потомъ странно. Я чувствовалъ, что постепенно, по мѣрѣ того, какъ даже

зеленый навѣсъ исчезаетъ отъ взгляда, я попадаю все болѣе и болѣе во власть Ивана Савина. И вдругъ я увидѣлъ какое-то странное небо, совсѣмъ не то, какое видѣлъ недавно, и странныя облака ходили по немъ, точно туманное стадо, а Андрей Ивановичъ гонялъ ихъ съ одного края на другой, размахивая гигантскими руками. Въ это время я помнилъ еще, что смотрю на все это чьими-то чужими глазами. Но потомъ все еще болѣе потемнѣло; гдѣ-то вдали мерцалъ одинокій огонекъ изъ вѣлы кудесника, потомъ полетѣлъ змій, трещащій, какъ трещить пожаръ въ сухихъ постройкахъ, и наконецъ появилась неизвѣстная дѣвица въ черномъ платьѣ и бѣломъ платочкѣ. Вслѣдъ за ея появленіемъ земля дрогнула отъ какого-то глухого далекаго удара. „Бѣда, — сказалъ я себѣ голосомъ Ивана Савина, — безпремѣнно должны мы теперича провалиться“. И тотчасъ же рѣшилъ, уже самъ отъ себя, что гораздо лучше... проснуться.

XV.

И я проснулся. Въ первую минуту я не могъ сообразить, гдѣ я и что со мною, и отчего мнѣ трудно двигаться съ мѣста... Надъ моею головой тревожно бились листья клѣна, но теперь они не сверкали отъ лучей солнца въ яркой синевѣ, а блѣдно рисовались на темно-свинцовомъ фонѣ. Громадная туча поднималась изъ-за лѣсу и все ширилась, тихо раскидывая по небу свои крылья. Изъ-подъ нея порывами налеталъ вѣтеръ и вдали ворчалъ громъ.

— Вставайте скорѣй, Андрей Ивановичъ, надо хоть до деревни дойти.

Огонь погасъ. Бекетчики спали въ шалашѣ. Проѣзжіе уѣхали. Было поздно и надвигалась гроза. Андрей Ивановичъ проснулся, протеръ глаза и, въ свою очередь, сталъ будить какого-то мужика, лежащаго у шалаша. Должно-быть онъ подошелъ къ намъ, когда мы уже спали.

Мужикъ заворчалъ что-то и подвинулся.

— Вставай, дядя, а то промокнешь... Э, да кажись знакомый. Видалъ я тебя гдѣ-то...

Мужичокъ какъ-то сморгнулъ и сконфуженно отвѣтилъ:

— Да вѣдь ужъ нигдѣ, какъ въ Сивухѣ.

— То-то въ Сивухѣ!... А дозвольте мнѣ, почтенный, узнать, вы за что меня колотили, какая можетъ быть причина?

— Господи!—удивился я.—Андрей Ивановичъ, неужели опять?...

— Засаду сдѣлали. Емелька подлецъ научилъ. Да еще вотъ этотъ почтенный ввязался.

— Да вѣдь мы,—конфузливо оправдывался мужикъ,—мы нешто отъ себя? За людьми... Какъ люди, такъ и мы... Сказываютъ: больно ужъ ты, милый, озорникъ большой...

— А ты видѣлъ какъ я озорничалъ?—спросилъ Андрей Ивановичъ съ выраженіемъ сдержанной злобы въ голосѣ.

— Не видалъ, милый, не совру... Потому выпитчи былъ...

— Посмотрите вы на этотъ народъ: сами нажрутса, а потомъ другихъ колотятъ... Нація, нечего сказать!—неожиданно для меня прибавилъ онъ съ патріотическою горечью.

— Да вѣдь мы что? Мы, дѣйствительно, выпитчи,—

смирненно говорилъ мужикъ:—у праздника были, у сродниковъ. Ну, и... выпитчи, это вѣрно... Такъ въ этомъ бѣдѣ нѣту, потому что мы сами себя ведемъ смирно... спимъ. А ты, сказываютъ, на ночлегѣ никому покою не далъ... Мнѣ, конечно, что, а бабы жаловались: такъ, слышь, всю ночь шаромъ и катается, все одно ѣжъ по избѣ...

— Тьфу!—сплюнулъ Андрей Ивановичъ и, не говоря болѣе ни слова, быстро надѣлъ котомку и пошелъ по дорогѣ.

Я догналъ его и мы пошли молча. Андрей Ивановичъ видимо злился и унывалъ. Нежданно пріобрѣтенная слава, которая могла достигнуть до ушей Матрены Степановны, беспокоила его всего болѣе. Результаты сивухинскаго боя, о которомъ онъ не распространялся, тоже вѣроятно присоединяли не мало горечи къ его настроенію. Наконецъ туча покрыла большую половину неба и грозила ливнемъ, а до деревни было еще далеко.

— Ник-когда не пойду больше!—злбно сказалъ Андрей Ивановичъ.—И не зовите! Грѣхъ одинъ съ этимъ народомъ...—И потомъ онъ меланхолически прибавилъ:—А передъ хорошимъ человѣкомъ я вполне оказался обманщикомъ.

— Это вы о комъ?—спросилъ я.

— О комъ? — извѣстно, объ Иванѣ Спиридоновичѣ, объ давальцѣ.

— Съ которыхъ же поръ онъ у васъ хорошимъ человѣкомъ сталъ? Давно ли вы на него сердились?

— Сердился!... Странно вы говорите: мало ли что мы сердимся! Вонъ мужикъ на царя три года серчалъ, а тотъ и не зналъ. Такъ и мы. А объ Иванѣ Спиридоно-

вичѣ я такъ обязанъ понимать, что онъ мнѣ первый благодѣтель. Когда ни приди: रुपъ, два—со всякимъ удовольствіемъ. Конечно, послѣ того въ цѣнѣ понажметъ...

— Ну, вотъ видите!

— Ничего тутъ не видно... Нашего брата ежели не нажимать, мы совсѣмъ Бога забудемъ... А что, на лицѣ у меня синяковъ нѣту?

Я внимательно осмотрѣлъ лицо Андрея Ивановича и далъ успокоительный отвѣтъ.

— И на томъ спасибо! Семейному человѣку это всего хуже,—докторально объяснилъ онъ.—Семейнаго человѣка лучше ты всего оглоблей исколоти, а лица и рукой не тронь.

— Ну ужъ...

— Чего ну? Много вы понимаете!...

Я вспомнилъ про Матрену Степановну и потому не возражалъ болѣе. Къ тому же Андрей Ивановичъ, угнетаемый обстоятельствами и готовившійся къ „хомуту“, совершенно измѣнился. Со мной сталъ строптивъ и раздражителенъ, о „нации“ говорилъ съ презрѣніемъ, за то о купечествѣ и давальцахъ отзывался въ меланхолически-почтительномъ тонѣ. Буйный демократизмъ перваго дня нашего путешествія совсѣмъ съ него схлынулъ.

Я отчасти приписывалъ это близкой грозѣ.

Туча заволокла уже небо и теперь все сгущалась и все падала книзу, опускаясь надъ полями, на которыхъ поблѣвшіе и поблекшіе хлѣба бились и припадали къ землѣ. На темномъ фонѣ этой тучи нѣсколько оторванныхъ влочковъ тумана, прохваченныхъ опаловыми отблесками,

неслись куда-то тревожно и быстро, точно запоздалые всадники, убѣгающіе вдоль тяжелаго фронта атавующей колонны. Громъ перекачивался сердитѣе и гулче и по временамъ яркая молнія, извивалась зигзагами, бороздила набухшія грозою тучи.

Дорога казалась пуста. Мы обогнали на холмѣ только глухого еврея-солдата, котораго встрѣтили въ первый день. Онъ началъ рассказывать намъ о томъ, какъ онъ потерялъ платокъ и вернулся за десять верстъ, въ надеждѣ разыскать его. Кромѣ того, онъ проливалъ кровь за вѣру и отлично игралъ на бубнѣ... Все это было когда-то, въ далекомъ прошломъ, а теперь онъ глухъ, и бѣденъ, и несчастенъ... Голосъ его звучалъ въ напряженномъ воздухѣ какъ-то особенно рѣзко и однотонно. Замѣтивъ, однако, что мы мало обращаемъ на него вниманія, и, кромѣ того, несмотря на свою глухоту, слышавъ сильный громовой раскатъ, онъ вдругъ подобралъ полы своей сѣрой шинели и пустился бѣгомъ по дорогѣ.

Рожьгнулась и качалась на нивахъ, лѣсъ, синѣвшій впереди, поблѣднѣлъ, расплылся и исчезъ, по полямъ шумно стремились къ намъ на-встрѣчу колеблющіеся столбы ливня, соединявшего небо съ землею...

— У праздника, нечего сказать! — произнесъ Андрей Ивановичъ, окидывая безнадежнымъ взглядомъ пространство, охваченное целеной дождей и тумановъ...

Затѣмъ онъ принялся быстро укладывать въ котомку новый картузь, между тѣмъ какъ первыя капли гулко плепались о дорожную пыль...

Іюль 1887 г.

НОЧЬЮ.

(Очеркъ).

I.

Было около полуночи. Въ комнатѣ слышалось глубокое дыханіе спящихъ дѣтей.

Въ углу комнаты, на полу, стоялъ мѣдный тазъ. На днѣ его было немного воды и стояла свѣча въ подсвѣчникѣ. Свѣча сильно нагорѣла, фитиль покрылся темною шапкой и тихо потрескивалъ. Кромѣ того, на стѣнѣ стучалъ маятникъ, а на полу, въ освѣщенномъ кружкѣ около таза, размѣстились нѣсколько таракановъ. Сдавшись на заднія лапки и поднявъ головы кверху, они смотрѣли на огонь и шевелили усами...

На дворѣ бушевала непогода.

Дождь стучалъ по крышѣ, трепалъ листья въ саду, плескался на дворѣ въ лужахъ. По временамъ онъ стихалъ и уносился вдаль, въ темную глубину ночи, но послѣ этого прилеталъ къ дому съ новою силой, бушевалъ еще больше, сильнѣе обливалъ крышу, хлесталъ

по ставнямъ и порой казалось даже, что онъ струится и плещетъ уже въ самой комнатѣ... Тогда въ ней водворялось какое-то безпокойство: маятникъ какъ будто смолкалъ, свѣча готовилась погаснуть, съ потолка сползали тѣни, тараканы тревожно водили усами и видимо собирались бѣжать.

Но бурные порывы непогоды продолжались не долго. Казалось, дождь рѣшилъ про себя никогда уже не прекращаться, и когда вѣтеръ оставлялъ его въ покоѣ, — онъ принимался гудѣть широко и ровно — и на дворѣ, и въ саду, и въ переулкѣ, и въ пустырѣ, по полямъ... Гулъ этотъ, просачиваясь сквозь запертыя ставни, стоялъ въ комнатѣ то ровнымъ жужжаніемъ, то тихими всплесками.

Тогда маятникъ принимался опять отчеканивать свои удары съ рѣзкимъ упрямствомъ, свѣча тихо кряхтѣла, тараканы успокоивались, хотя, повидимому, упрямство дожда наводило на нихъ грустное раздумье.

Все это слышалъ и глядѣлъ на все это изъ-подъ своего одѣяла одинъ изъ двухъ братьевъ-погодековъ, которые спали въ освѣщенной комнатѣ. Старшаго звали Васей, младшаго — Маркомъ. Въ семействѣ былъ обычай давать шутливыя прозвища. У Васи была очень большая голова, которою онъ въ раннемъ дѣтствѣ постоянно стучался объ полъ, поэтому его прозвали Голованомъ. Маркъ былъ некрасивъ и смотрѣлъ нѣсколько изъ подлобья, отчего получилъ названіе Мордика.

Мордикъ сладко спалъ, а Голованъ уже съ полминуты прислушивался къ шуму дожда...

Онъ былъ большой фантазёръ и часто думалъ о томъ, что происходитъ на свѣтѣ, когда всѣ спятъ: и онъ, и Маркъ, и дѣвочки, и старая нянька,—и значить некому смотрѣть... Неужели комната остается все такая же, и маятникъ продолжаетъ стучать, хотя его никто не слушаетъ, и свѣча продолжаетъ свѣтить, хотя свѣтить некому, и тараканы только бессмысленно сидятъ на полу, уставившись на огонь?... Не разъ уже, просыпаясь съ этою мыслью, онъ осторожно выглядывалъ изъ-подъ одеяла... На этотъ разъ онъ самъ не замѣтилъ, когда проснулся, и ему показалось, что наконецъ-то онъ застигаетъ комнату врасплохъ. Вотъ уже съ полминуты онъ смотритъ на нее не шевелясь, полуприщуреннымъ глазомъ, а въ ней все продолжается какая-то собственная таинственная жизнь, которая прячется обыкновенно, когда на нее смотреть.

Все въ ней живо, удивительно, необычно и странно... Дождь мечется и злится снаружи, отбиваясь отъ вѣтра, маятникъ споритъ съ шумомъ дождя, свѣча уныло кричитъ, тараканы хранятъ разумный видъ, какъ будто сейчасъ только разговаривали между собой и рѣшили единогласно, что положеніе свѣчи дѣйствительно жалкое, а дождь буянить совершенно напрасно. Кромѣ того, Вася сознавалъ, что всѣ они вмѣстѣ—вся комната со всѣми предметами—смотрятъ недоброжелательно на дѣтей, которые спятъ, ничего не подозревая въ своихъ постеляхъ.

Однако, было и еще что-то самое странное, что Голованъ никакъ не могъ уловить. Когда же онъ раскрылъ совсѣмъ глаза и шевельнулся,—все сразу исчезло.

Маятникъ застучалъ тише и безъ особеннаго выраженія, свѣча просто трещала, а не вряхтѣла, комната спохватилась и приняла обычный, будничный видъ.

А между тѣмъ онъ все же чувствовалъ, что что-то такое странно... въ немъ самомъ, или въ комнатѣ, или можетъ отъ этого шума. Нѣтъ, это простой дождь,—шумить вовсе не громко, точно бормочетъ кто-то вяло и неразборчиво. Что-то струится и каплетъ, точно кто плачетъ подъ стѣной, и чьи-то вздохи проносятся по деревьямъ сада... А въ саду теперь темно межъ деревьевъ, и въ бесѣдку ни одинъ человѣкъ не рѣшился бы пойти въ полночь, да еще въ дождь. Маркъ хвастался разъ, что пошелъ бы, еслибъ ему позволили... Но и то, конечно, не въ такую ненастную, бурную ночь...

По спинѣ у него пробѣжали мурашки, онъ припалъ къ подушкѣ и завернулся съ головой въ одеяло.

Тогда ему показалось, что гдѣ-то въ стѣнѣ, или за стѣной, или подъ поломъ происходитъ странное движеніе и говоръ. Слышались чьи-то голоса и шумъ чьихъ-то шаговъ.

Что это такое? Онъ высунулъ голову, чтобъ яснѣе слышать, но тогда звуки опять исчезли. Ему казалось, что онъ долженъ бы знать, чтò это такое, и тогда онъ понималъ бы и то, отчего ему кажется странно. Но онъ забылъ и не можетъ вспомнить, потому что во снѣ ему снилось совсѣмъ другое...

Тогда имъ стала овладѣвать тревога.

— А знаешь, Маркуша, что я скажу тебѣ?—спрашивалъ онъ вкрадчиво, обращаясь къ спящему брату.

Но Маркъ отвѣтилъ только продолжитель-

II.

Въ дѣтской существовали нѣкоторыя традиціи. Каждую ночь около часу оба мальчика просыпались и сходились у таза со свѣчей. Это было нѣчто вродѣ ночного клуба, который иногда посѣщался и дѣвочками. Последнее случалось не часто: для этого дѣвочкамъ недостаточно было проснуться во время, — нужно было еще обмануть бдительность старой няньки, спавшей съ ними въ сосѣдней темной комнатѣ. Если это удавалось, то старшая, иногда при помощи братьевъ, вынимала изъ постельки самую младшую, Шурочку, и обѣ онѣ, жмурясь и потирая глаза, появлялись въ дверяхъ и бѣжали на огонекъ свѣчи. Тогда тараканы совсѣмъ удалялись отъ таза и только издали сердито уставлялись своими усищами на дѣтвору, которая, какъ и они, выползла изъ угловъ и отвоевала у нихъ мѣсто.

Тогда начинались долгіе и очень занимательные разговоры. Никогда дѣтямъ не говорилось такъ дружно и хорошо: казалось, тихій ночной часъ придавалъ бесѣдѣ особую прелесть мечты и фантастической неопредѣленности, а общая забота о томъ, чтобы не разбудить няньку, сплавивала мальчиковъ и дѣвочекъ въ тѣсный кружокъ ночныхъ заговорщиковъ.

Впрочемъ, дѣвочки говорили очень мало; онѣ прихватывали съ собой одѣяла, простыни, платья и напяливали все это на себя, какъ попало. Старшая помогала младшей, а та безпрекословно повиновалась. Чѣмъ эта костюмировка бывала нелѣпѣе, тѣмъ больше доставляла

наслажденія. Въ особенности если удавалось прихватить нянькины башмаки и ея красивый, съ большими цвѣтами головной платокъ, тогда обѣ дѣвочки замирали въ молчаливомъ самосозерцаніи. Протянувъ ножонки въ огромныхъ башмакахъ, не шевеля головой въ фантастическомъ уборѣ, Шура сидѣла солидно и молча, а старшая, Маша, дѣлала какія-то гримасы. Она воображала себя большой дамой, а мальчики въ однихъ рубашонкахъ казались ей кавалерами во фракахъ.

Старая нянька много воевала съ этою привычкою, но окончательно побѣдить ее не могла. Путемъ многихъ столкновеній между обѣими сторонами установилось нѣчто вродѣ компромисса. Никто не имѣлъ права будить другихъ. Но, проснувшись самостоятельно, мальчики могли сходитьсѣ у таза, лишь бы вести себя тихо. Съ дѣвочками исторія была сложнѣе. Заслышавъ малѣйшій шорохъ въ ихъ кроваткахъ, нянька, какъ-то даже не давая себѣ труда окончательно проснуться, схватывала бѣглянку и укладывала обратно. Тогда дѣло считалось проиграннымъ и вторичная попытка—нечестной. Пойманная вскорѣ засыпала.

Но если бѣглянкѣ удавалось уже сойти на полъ и добѣжать до порога, тогда нянкѣ приходилось махнуть рукой. Когда она пускалась въ погоню, подымался страшный ревъ, мальчики вскакивали и бѣжали на защиту, крича, что Маня уже вошла въ ихъ комнату, что нянька почему-то „не имѣетъ права“, и т. д. Подымался страшный кавардакъ, и обѣ воюющія стороны подвергались опасности высшаго вмѣшательства. Бѣда, если шумъ до-

стигалъ до слуха отца. Но если даже одна мать замѣчала возню въ дѣтской, она на слѣдующее утро призвала дѣтей и няньку.

— Что у васъ тамъ было опять?—спрашивала она съ выраженіемъ неудовольствія, которое огорчало всѣхъ даже больше отцовскаго гнѣва.—Никогда больше не смѣйте собираться у свѣчки!—говорила она дѣтямъ и тотчасъ же, обратясь къ нянькѣ, прибавляла:

— И вѣчно ты... старая.

Эти послѣднія слова, почему-то, совершенно уничтожали въ глазахъ дѣтей смыслъ перваго запрещенія.

— Ну, что взяла, с-с-старая?!—тихо, но съ чрезвычайною язвительностью дразнили они ее, возвращаясь гурьбой въ дѣтскую. Нянька сердито возражала:

— Вѣчно мнѣ за васъ достанется, за баловниковъ...

— А ты зачѣмъ поймала ее въ нашей комнатѣ?

— Неправда, я ее схватила, когда она была въ темной, а она вырвалась.

— Ахъ неправда, вотъ ужъ неправда!—горячо протестовала Маша.—Вовсе я была уже за порогомъ.

Нянькѣ приходилось сдаться, тѣмъ болѣе, что съ просонокъ она, по совѣсти, не могла утверждать точно, гдѣ именно схватила бѣглинку. Вообще разбирательство возвращало весь вопросъ на почву компромисса, который опять укрѣплялся и который дѣти исполняли вообще довольно честно.

III.

Теперь Вася хитрилъ: онъ показывалъ видъ, что не будить Марка, а считаетъ его проспавшимся.

— Знаешь, что я скажу тебѣ?

Но отвѣтомъ былъ лишь вздохъ и сонное бормотаніе. Старуха тоже бормотала въ сосѣдней комнатѣ. Дождь все лилъ, хотя немного тише. Теперь яснѣ слышались струйки, падавшія съ крыши и съ водосточныхъ трубъ.

Глаза Голована стали невольно обращаться къ темной комнатѣ. Онъ всегда удивлялся, какъ это дѣвочки не боятся спать въ темнотѣ, въ которой ему всегда чудились страшныя фигуры. Нѣкоторыя изъ этихъ фигуръ были ему давно знакомы и теперь начинали уже рѣяться, хотя еще не были видны. Казалось, пока только еще шевелится сама темнота, переполненная начинающими опредѣляться призраками.

Тихое всхрапываніе няньки вспугивало ихъ, они вздрагивали, смѣшивались и исчезали, но тотчасъ же возникали опять, каждый разъ съ большею настойчивостью.

Это было очень мучительно, и Головану становилось даже легче, когда наконецъ они появлялись яснѣе...

Прежде другихъ появился, какъ и всегда, высокій, щеголеватый господинъ, весь въ зеленомъ, съ ослѣпительно-бѣлыми воротничками и манжетами. Лица у него не было, и это-то казалось особенно страшно. Кромѣ того, онъ не имѣлъ выпуклостей, а какъ-то странно ограничивался отъ темноты, какъ будто темная пустота просто окрасилась въ зеленый цвѣтъ. Иногда же Васѣ

казалось, что господинъ вырѣзанъ изъ зеленого и бѣлаго картона, что не мѣшало ему прохаживаться очень чопорно и съ большою важностью, „фигурять“, какъ выражались дѣти, которымъ Вася днемъ передразнивалъ его походку.

Въ первыя мгновенія зеленый господинъ появлялся въ глубинѣ комнаты, чуть видный. Онъ проходилъ по круговой линіи, точно его кто передвигалъ на пружинѣ, скрывался въ лѣвомъ углу и мгновенно опять появлялся у правой стороны, чтобъ опять пройти по кругу, но уже ближе и яснѣе. Тогда-то Вася начиналъ его бояться. Сначала онъ старался не видѣть зеленого господина, потомъ съ извѣстною проніей увѣрялъ себя, что господинъ вырѣзанъ изъ картона. Но когда онъ подходилъ каждый разъ все ближе, Васѣ становилось все страшнѣе: а что, если у него окажется лицо и онъ взглянетъ прямо? Тогда уже придется окончательно отказаться отъ предположеній о картонѣ...

Вмѣстѣ съ тѣмъ, около зеленого господина начинало шевелиться еще что-то маленькое и безпокойное. Оно уже вовсе не имѣло никакой формы и казалось просто комкомъ темноты, которая шевелилась и производила разныя движенія, смѣшныя на видъ, но въ сущности страшныя. Вася подозрѣвалъ тутъ враждебную хитрость: сначала кажется смѣшнымъ, чтобы привлечь вниманіе, а потомъ вдругъ и у *этого* окажется лицо,—что тогда?

Овликнувъ еще разъ Мордика и опять не получивъ отвѣта, Голованъ рѣшилъ, что если онъ будетъ все лежать и смотрѣть въ темноту, то ничего хорошаго изъ

этого не выйдетъ. Нужно было отряхнуться отъ душевнаго застоя, изъ котораго возникалъ кошмаръ, поэтому онъ всталъ и подошелъ къ свѣчкѣ. Таразаны, торопливо сѣменя ножками, перебѣжали на другую сторону таза.

Это заняло Голована на время, потомъ онъ сталъ прислушиваться къ шуму дождя.

Дождь замѣтно потерялъ силу. Шепотъ его то стихалъ, то опять повышался, точно сонное дыханіе. За то подымался вѣтеръ, пробѣгалъ по вершинамъ деревьевъ, и тогда слышался рѣзкій шелестъ. Вася представлялъ, какъ деревья клонятся среди ночной темноты и лепечуть листвою; но потомъ онъ говорилъ себѣ, что это вовсе не деревья и не вѣтеръ, а гигантскій листъ бумаги кто-то ворожаетъ на дворѣ, отчего и слышенъ шелестъ. Ему очепь нравилось, что тотчасъ же выходило именно такъ, и даже самый звукъ мѣнялся и вмѣсто шороха влажной листвы слышалось сухое шуршаніе бумаги. Потомъ онъ опять мѣнялъ предположеніе: это среди ночи кто-то сыплеть зерно изъ громаднаго мѣшка въ гигантскую бочку. И тоже выходило. Когда вѣтеръ стихалъ, Голованъ говорилъ себѣ: „пошелъ за новымъ мѣшкомъ, сейчасъ принесетъ“. И дѣйствительно, тотчасъ же опять слышалось ясно, какъ зерно сыплется, шуршитъ, падаетъ на дно и бьется о стѣнки.

Хотя отъ этихъ произвольно измѣняемыхъ предположеній ощущеніе, что есть что-то странное въ домѣ, не прошло, но за то Головану удалось забыть о зеленомъ господинѣ. Весь его кругозоръ теперь ограничивался освѣщенной частью пола, тазомъ, свѣчой и таразанами,

дремавшими напротивъ. Это однообразіе наводило и на него дремоту. Отъ пламени свѣчки потянулись лучами въ его глазу золотыя нити; свѣча стала расплываться.

IV.

Но въ эту минуту онъ вдругъ почувствовалъ, что теперь онъ не одинъ въ комнатѣ. Онъ вздрогнулъ, обернулся и увидѣлъ, что Маркъ стоитъ на своей кровати, опершись о стѣнку, и смотритъ передъ собой такимъ взглядомъ, точно онъ не совсѣмъ еще проснулся. Но когда Вася радостно обратился къ нему, онъ тотчасъ вспомнилъ, что днемъ они поссорились изъ-за колоды картъ. Поэтому онъ быстро легъ въ кровать и утѣнулся въ подушку. Васю это огорчило.

— Ты развѣ не пойдешь къ свѣчкѣ?—спросилъ онъ упавшимъ голосомъ.

— Не пойду!—рѣшительно отвѣтилъ Маркъ.

— Отчего?

— Ага, отчего? А карты помнишь?...

— Ну! выходи. Завтра отдамъ.

— Врешь?

— Право отдамъ. И еще дамъ трубу играть до обѣда.

— Ей-Богу?

— Ну, ей-Богу.

— Скажи три раза.

— Оставь.

— Нѣтъ, скажи три раза, а то сейчасъ засну.

Въ душѣ Васи подымалась глухая досада: развѣ мало одной клятвы? Но Маркъ былъ задира и иногда любилъ поломаться, а теперь вдобавокъ вымещалъ вчерашнюю досаду, сознавая, что Голованъ въ его рукахъ и исполнить его безцѣльное требованіе. Дѣйствительно, покраснѣвъ отъ стыда, Вася скороговоркой произнесъ трижды: „ей-Богу дамъ карты“.

Тогда Мордигъ вылезъ изъ кровати и подошелъ къ свѣчѣ, къ большой радости брата.

Обыкновенно Вася просыпался первымъ и промежутокъ одиночества казался ему ужасно долгимъ. Пока онъ старался не глядѣть никуда по сторонамъ и ни о чемъ не думать, кромѣ свѣчи, таракановъ и таза,—ему казалось, будто кто-то склоняется надъ нимъ, кто-то ходитъ сзади, кто-то глядитъ на него и дышетъ. Воображеніе чутко настраивалось, и онъ чувствовалъ себя совершенно одинокимъ въ освѣщенномъ пространствѣ, точно это была вершина горы, а кругомъ раскинулась темная и враждебная бездна.

За то, когда неробкій и положительный Маркъ подходилъ къ свѣту, призраки тотчасъ же исчезали, и воображеніе направлялось въ другую сторону: теперь въ немъ являлись другіе образы, болѣе спокойные и доставлявшіе Васѣ величайшее наслажденіе. По большей части это были рассказы изъ семейныхъ преданій, которые Голованъ схватывалъ изъ отрывочныхъ воспоминаній матери и отца въ какомъ-нибудь бѣгломъ разговорѣ съ гостями, въ залѣ. Онъ ловилъ эти отрывки съ безсознательною жадностью, и въ ночные часы, у свѣчки, когда

напуганное призраками воображеніе нѣсколько успокоивалось, странное вдохновеніе охватывало юнаго сказочника: обрывки семейныхъ преданій соединялись въ стройное цѣлое непонятнымъ для него самого образомъ. Какъ это выходило, онъ не зналъ. Онъ не зналъ также, откуда брались нѣкоторыя подробности, которыхъ никто ему не рассказывалъ. Но только онъ былъ увѣренъ, что все это истинная правда. Онъ говорилъ легко и свободно о томъ, что было съ отцомъ и матерью, „когда насъ еще не было“, а порой—что было и съ нимъ самимъ, когда его еще не было. Мать и отецъ въ этихъ разсказахъ, правда, и самому Васѣ, и его слушателямъ казались не совсѣмъ такими, какъ теперь. Они были тѣ же, но немножко иные. Вѣдь, въ сущности, все должно было быть немножко иное, „когда насъ не было“. Трудно, напирь, представить себѣ, что мама когда-то была такая же маленькая, какъ Шура, и играла куклами, а папа—было время—вовсе не ѣздилъ въ должность, а скакалъ верхомъ на палькѣ, въ бумажномъ колпакѣ. Это было такъ странно и удивительно, что дѣвочки хохотали, а самая младшая хлопала даже въ ладоши, рискуя разбудить няньку. Послѣ этого ничто уже не казалось удивительнымъ и Голованъ свободно распоряжался событіями этого міра, съ которыми дѣти свывались, какъ свываешься, глядя въ цвѣтныя стеклышки, съ тѣмъ, что небо кажется краснымъ и деревья тоже, и красный кучеръ погоняетъ красную лошадь, причемъ красныя колеса поднимаютъ красную пыль по дорогѣ... У мамы былъ тогда большой козелъ, который всѣхъ убивалъ на смерть

рогами, а мама водила его на ленточкѣ, какъ собачонку. И когда папа задумалъ жениться на мамѣ, то мамѣ было еще только четырнадцать лѣтъ, и козелъ чуть не убилъ папу на смерть. Но папа все-таки укралъ маму изъ окна и женился. А потомъ, когда Вася былъ уже на свѣтѣ, маму хотѣли у папы отнять, отдать въ монастырь и чтобъ они опять были неженаты; а Васи тогда опять не было бы, потому что у неженатыхъ никогда не бываетъ дѣтей. И все это онъ помнитъ. Ему кажется даже, что онъ помнитъ, какъ папа укралъ маму изъ окна. Онъ въ это время привсталъ въ кровати. Отецъ разъ называлъ его за этотъ разсказъ дуракомъ. Когда же онъ разсказалъ, какая была кровать, и гдѣ она стояла, и какая была комната, то отецъ называлъ его дуракомъ вторично, потому что его тогда не было на свѣтѣ, а въ кровати, которую онъ описываетъ, спала сама мама, когда еще была маленькою дѣвочкой, и комната была та, гдѣ мама жила дѣвочкой, а отецъ женился на ней въ другомъ городѣ. И должно быть мама ему рассказывала о своей комнатѣ, а онъ теперь вретъ, что самъ ее видѣлъ. Все выходило какъ будто и такъ, и отецъ оказывался правъ; но Вася съ горечью думалъ про себя, что взрослые всегда оказываются правы, а въ сущности это не такъ: стоило ему зажмурить глаза, и передъ нимъ являлась какая-то комната и окно, и папа несетъ изъ окна маму. При этомъ луна свѣтила какъ-то странно, потому что и луна была, конечно, немножко иная, какъ и люди.

Все это и многое другое оживало ночью, и каждый

разъ, всматриваясь въ эти картины, Вася открывалъ въ нихъ все новыя подробности. Каждый разъ новооткрытая мелочь сrostалась съ прежними такъ крѣпко, что при слѣдующемъ разсказѣ ее уже нельзя было отдѣлить, и Васѣ казалось, что онъ все это непремѣнно видѣлъ и помнитъ. Это обстоятельство подавало иногда поводъ къ недоразумѣніямъ: Маркъ, скептическій и положительный, напоминалъ порой, что раньше Вася рассказывала иначе, и начиналъ утверждать, что все это враки и „не можетъ быть“. Вася страдала и старалась смягчить Марка мягкостью и заискиваніемъ; но иногда это не дѣйствовало и Мордику, со свойственными ему упрямствомъ и жестокостью, начиналъ отрицать все. Во-первыхъ, онъ утверждалъ, что онъ все-таки былъ бы, еслибы даже папу съ мамой сдѣлали опять неженатыми. Онъ все-таки былъ бы себѣ, да и только, и знать бы ничего не хотѣлъ... Мало ли что!.. Потомъ онъ говорилъ, что Вася не видала, какъ папа украдывалъ маму черезъ окно, потому что Васи тогда не было; папа съ мамой были еще неженаты, а самъ же Вася говоритъ, что у неженатыхъ не бываетъ дѣтей. Потомъ онъ шелъ еще дальше и подвергалъ сомнѣнію самый фактъ „украдыванія“. Женятся всегда днемъ и выходятъ прямо въ двери; онъ видѣлъ, какъ на сосѣднемъ дворѣ женился лакей. Онъ сошелъ съ крыльца и сѣлъ на извозчика, а горничная, которая тоже съ нимъ женилась, сѣла въ барскую коляску

— Ну врешь, ну вотъ и врешь! — горячо вступалась за Васю Маша. — Я сама слышала; папа говорилъ въ гостиной, что мама — краденая и что ее хотѣли отнять.

— Нѣтъ, не краденая, нѣтъ не краденая! — упрямо твердилъ Мордикъ.

— Значить, по-твоему, папа солгалъ, скажи: солгалъ? — наступала горячо Маша.

— Папа смѣялся, а вы, дураки, вѣрите!... Что взяла?... И козла не было, все это однѣ выдумки и враки, и не можетъ быть...

— Нѣтъ, не враки, нѣтъ не „не можетъ быть“, а ты — противный спорщикъ, гадкій Мордикъ!...

— Враки, враки, враки!... — твердилъ Маркъ съ холоднымъ озлобленіемъ.

— Не враки, не враки, не враки!... — старалась переспорить его Маша, а маленькая Шура, всегдашняя сторонница сестры, начинала плакать.

Шумъ будилъ няньку. Но если даже этого не случилось, — бесѣда все же была совершенно испорчена. Дѣти въ эти минуты ненавидѣли Мордика, какъ и тогда, когда они съ трудомъ возводили карточные домики, а онъ упрямо стрѣлялъ въ нихъ каждый разъ изъ угла бумажными шариками.

Фантастическіе домики Голована тоже рушились отъ скептическаго прикосновенія, и дѣти расходились отъ свѣчки въ кислому и охлажденному настроеніи. Вася огорчился до слезъ, тѣмъ болѣе, что онъ понималъ въ сущности, что Мордикъ пожалуй правъ. Но только дѣло-то не въ этомъ. И Вася тоже правъ, и онъ вовсе не лгунъ. И потомъ: какъ же не было козла, когда козелъ былъ навѣрное, и мама сама говорила?...

V.

Подойдя теперь къ свѣчѣ, Маркъ первымъ дѣломъ изловчился и щелкнулъ одного изъ таракановъ такъ ловко, что тотъ нѣсколько разъ перекувырнулся въ воздухѣ и, какъ шальной, побѣжалъ въ уголъ.

Маркъ держался смѣло и свободно. Не особенно красивыя черты производили впечатлѣннѣе увѣренности и нѣкоторой положительности. Вася былъ любимецъ матери, Маркъ — отца, который любилъ его за положительность и храбрость. Онъ не боялся темной комнаты, не боялся холодной воды, кидался въ рѣку такъ же свободно, какъ и взбирался на потолокъ жарко натопленной бани. Между тѣмъ воображеніе у Васи настраивалось уже заранѣе; заранѣе онъ пожимался отъ холода и отъ этого, казалось, самая кожа дѣлалась у него чувствительнѣе; онъ дрожалъ отъ холода тамъ, гдѣ Марку было только прохладно, и обжигался тогда, когда Маркъ утверждалъ, стоя во весь ростъ на полкѣ, что ему „ничего не жарко“. Впрочемъ, исключая случаи, вродѣ вышеприведеннаго, братья были очень дружны и понимали другъ друга съ полуслова, а иногда и безъ словъ.

— Ну что, видѣлъ опять? — спросилъ Мордикъ.

— Зеленаго? — видѣлъ!

— Врешь, я думаю.

— Ей-Богу видѣлъ.

— Ну?

— Ничего не ну! Видѣлъ, а больше ничего... Безъ лица.

— Изъ бумаги?

— Какъ будто... не надо говорить.

— Вотъ глупости! Я не боюсь. Чего же бояться, если онъ изъ картона? Ну ты, зеленый!—храбрился онъ, повернувшись къ дверямъ. Однако видъ черной темноты подѣйствовалъ и на него; онъ отвернулся и добавилъ уже тише:—Я бы его разодралъ, больше ничего.

Вася поспѣшилъ переменить разговоръ.

— А тебѣ кажется странно?—спросилъ онъ.

Мордикъ подумалъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, кажется. А тебѣ?

— И мнѣ кажется. Отчего бы это?

— Оттого, что... на дворѣ вѣтеръ,—сказалъ Мордикъ, прислушиваясь къ шелесту листьевъ.

— И дождь шолъ, большой. И теперь еще идетъ, но поменьше. Но это не оттого. А кажется тебѣ,—живо прибавилъ онъ,—что это шелестятъ листомъ бумаги... о-о-огромнымъ?

Мордикъ прислушался и сказалъ:

— Нѣтъ, не кажется.

— А кажется тебѣ, что это сыплютъ зерно въ бочку?

Мордикъ опять послушалъ.

— Вовсе не кажется, потому что это вѣтеръ.

— А мнѣ иногда кажется. Но все-таки сегодня странно не отъ этого.

— А отчего?

— Не знаю. Зналъ, да забылъ. Теперь не знаю.

— И я не знаю.

Оба помолчали.

Въ это время на другой половинѣ дома, отдѣленной длиннымъ корридормъ, скрипнула быстро отворенная дверь. Ей отозвалась въ дѣтской оконная рама, пламя свѣчи колыхнулось, и дверь опять захлопнулась.

— Слышалъ?—спросилъ Вася.

— Да, слышалъ... Постой-ка.

Дѣйствительно, въ нѣсколько мгновеній, пока дверь отерывалась и закрывалась, съ другой половины донеслись какимъ-то комкомъ смѣшанные звуки. Очевидно, тамъ не спали и, пожалуй, не ложились всю ночь. Чей-то голосъ требовалъ воды, кто-то даже голосилъ и плакалъ, кто-то стоналъ... При послѣднемъ звукѣ у мальчиковъ сердца забились тревожно.

— Знаешь, что это тамъ?—живо спросилъ Вася.

— Знаю. У мамы скоро родится дѣвочка.

— А можетъ мальчикъ.

— Н-ну... можетъ и мальчикъ.

Мордикъ помнилъ два случая рожденія, и оба раза это были дѣвочки. Поэтому, ему и теперь казалось, что должна родиться непременно дѣвочка. Впрочемъ, такъ какъ онъ помнилъ рожденіе дѣвочки, а своего и Васина не помнилъ, то порой ему приходила въ голову неосновательная идея, что рождались только дѣвочки, поэтому было время, когда ихъ вовсе не было. А они, мальчики, никогда не родились и всегда были. Онъ не особенно вѣрилъ самъ въ эту теорію, но она возвышала его въ собственномъ мнѣніи и давала преимущество передъ дѣвочками, которыя тоже хотѣли бы „всегда быть“, но должны были смириться передъ недавностью факта: рожденія Шуры.

— Вотъ отчего и кажется странно...—сказалъ опять Вася.

— Вре-ешь...—протянуль было Мордикъ, но потомъ согласился:—а пожалуй, твоя и правда.

— Конечно, отъ этого. Видишь, тамъ никто не ложился. И потомъ это, вѣдь, всегда бываетъ странно.

Оба задумались.

— Вдругъ не было дѣвочки, вдругъ есть...—сказалъ Голованъ задумчиво.

— Да, — повторилъ и Мордикъ: — вдругъ не было, вдругъ есть. Странно: откуда берутся?... Постой, я знаю,—поторопился онъ съ открытіемъ:—подвидываютъ!

Объясненіе было просто, но не удовлетворительно.

— Нѣтъ!—сказалъ Голованъ.

— Отчего это нѣтъ?

— Оттого что... оттого... вотъ отчего нѣтъ: потому что откуда же тотъ человѣкъ возьметъ, который подкинетъ?

— Онъ—у другого.

— А другой?

— Еще у кого-нибудь.

— А еще кто-нибудь гдѣ возьметъ?

— Н-не знаю... Няня говорить: меня подъ лопухомъ нашли. Пустяки, я думаю.

— Конечно, глупости. Кто туда положить ребенка? И насчетъ золотой нитки, будто на золотой ниткѣ спускають,—тоже глупости.

— Ужь эта старая скажетъ!... Ну, а какъ по-твоему: откуда?

— Конечно—съ того свѣта.

Мордикъ задумался. Мысль показалась ему очень простой и ясной... Понятно: на этотъ свѣтъ попадаютъ съ того свѣта.

— Ну, а какъ?

— Можетъ быть приносятъ ангелы.

— Ангеловъ можетъ еще и нѣтъ.

— Ну, ужъ это ты не говори. Это грѣхъ. Ужъ это всѣ знаютъ, что есть.

— А дядя Михаилъ...

— Мало ли что. Когда люди видѣли...

— Кто видѣлъ?

— Многіе видѣли. Я тоже видѣлъ... во снѣ...

— Какой онъ?

— Бѣлый-бѣлый. Летѣлъ отъ сада Выговскихъ, все съ дерева на дерево, а потомъ перелетѣлъ черезъ огородъ, черезъ площадь. А я смотрю, гдѣ онъ сядетъ. Сѣлъ на крышу на маленькой лавчонкѣ Мошка и сталъ трепыхать крыльями. Потомъ снялся и полетѣлъ далеко-далеко.

— Хорошо летаетъ?

— Отлично. Я потомъ говорю Мошке: я видѣлъ во снѣ, что на твоей крышѣ сидѣлъ ангелъ.

— А Мошко что?

— А Мошко говоритъ: ай-вай, какая важность! У меня каждый шáбашъ бываютъ въ домѣ ангелы, а черти насадутъ на крышу, все равно какъ галки на старую тополью...

— Хвастаетъ.

— Н-нѣтъ, едва ли. У евреевъ многое бываетъ. А помнишь Юдеа?

VI.

Юдеа былъ огромный жидъ, съ громадною бородой и страшными полупомѣшанными глазами. Онъ разносилъ по домамъ лучшіе сорта муки и продавалъ ихъ въ розницу. Отмѣривъ муку гарнцами, онъ потомъ прикидывалъ еще по щепотѣ „для дѣтокъ, для кухарки, для няньки, для кошки, для мышки“. При этомъ его борода тряслась, а глаза вращались въ орбитахъ. Какъ только его громадная фигура съ мѣшкомъ на согнутой спинѣ являлась въ воротахъ, дѣтьми овладѣвало ощущеніе ужаса и любопытства. Они дрожали передъ Юдкой, но не могли себѣ отказать въ удовольствіи посмотреть, какъ Юдеа будетъ прикидывать „на кошку, на мышку“. Онъ ходилъ каждую недѣлю и каждый разъ производилъ на дѣтей чрезвычайно сильное впечатлѣніе

Какъ-то однажды Юдеа вдругъ исчезъ и не являлся нѣсколько недѣль. И мать, и дѣти сильно недоумѣвали и думали, что старый жидъ умеръ. Оказалось другое, а именно: въ судный день Юдку схватилъ жидовскій чортъ, извѣстный въ народѣ подъ именемъ Хапуна. На кухнѣ рассказывали исторію со всѣми подробностями. Въ судный день евреи собираются къ вечеру въ синагогу, оставляя „патынки“ (туфли) у входа. Потомъ зажигаютъ множество свѣчей, закрываютъ глаза и начинаютъ жалобно кричать отъ страха. Въ это время Хапунъ на нихъ налетаетъ, какъ коршунъ, и хватаетъ одного. Потомъ, когда выходятъ изъ синагоги, всѣ разбираютъ свои патынки, но одна пара всегда остается. Въ этотъ разъ оста-

лись громадные патынки стараго Юдки, а потому всѣ узнали, что Юдку схватилъ Хапунъ.

Потомъ Юдка вдругъ опять появился, но онъ хромалъ и казался разбитымъ, а дѣти стали бояться его еще больше. Оказалось, что Юдку спасъ его пріятель, мельникъ изъ Кодни. Мельникъ этотъ вышелъ вечеромъ на свою греблю и стоялъ спокойно, почесывая брюхо и слушая, какъ вода шумить въ лотѣкахъ и бугай гукать въ очередахъ. А вечеръ былъ ясный. Вдругъ видить: летить „какое-то“ по небу. Присмотрѣлся, а это—Хапунъ тащитъ жида. И видно мельнику, что ношу жидовская чортяка не по себѣ выбралъ: летить-летить, а самъ все припадаетъ, все припадаетъ. Ну, думаетъ мельникъ, другого такого крупнаго жида не найти. Не иначе только это Хапунъ моего покупателя, стараго Юдку, на этотъ разъ сцапалъ. Конечно, еслибы не то, что Юдка всегда бралъ у мельника муку, никогда не сталъ бы вмѣшиваться въ это дѣло. Но тутъ онъ таки пожалѣлъ стараго знакомаго. Поэтому, затопавъ ногами, онъ крикнулъ вдругъ во весь голосъ: „Кинь, это мое!“ Хапунъ выпустилъ ношу и взвился кверху, трепыхая крыльями, какъ молодой шулякъ, по которому выстрѣлили изъ ружья (голосъ у кодненскаго мельника таки мое почтеніе!). А бѣдный жидъ со всего размаху шлепнулся на греблю и сильно расшибся.

Юдка былъ на-лицо и всѣ видѣли, что онъ дѣйствительно хромалъ послѣ этого происшествія. Поэтому и Мордикъ не сталъ спорить: дѣйствительно, у евреевъ много бываетъ. Кромѣ того, напоминаніе о Юдкѣ и вообще разсѣяло въ немъ зачатки скептическаго упрямства.

— Да, такъ вотъ тогда Мошео много мнѣ рассказывалъ... и то, какъ родятся дѣти.

— Ну?

— Онъ говоритъ, у Бога есть два ангела: одинъ вынимаетъ изъ людей душу, а другой приноситъ новыя души съ того свѣта. Вотъ когда надо у кого-нибудь родиться ребеночку, та женщина дѣлается больна.

— Отчего?

— А оттого, что Богъ посылаетъ обоихъ ангеловъ: маршъ оба на землю къ такимъ-то людямъ и ждите моего приказа. Если на тѣхъ людей Богъ не разсердится, то говоритъ: положите ребенка около матери и ступайте оба назадъ. Тогда мать опять выздоравливаетъ. А иногда говоритъ: возьми ты, смерть, душу у матери. И тогда мать умираетъ. А иногда говоритъ: возьми и мать, и ребенка,—тогда оба умираютъ...

— А знаешь что, добавилъ Голованъ,—можетъ еще это и правда, потому что всегда боятся, когда надо ребенку родиться, и мама недавно говорила: а можетъ я умру.

— А тетя Катя и умерла.

— Ну, вотъ видишь.

— Должно-быть этотъ ангелъ страшный.

— Нѣтъ, зачѣмъ... я думаю, не очень страшный. Вѣдь онъ не по своей волѣ. Думаешь, ему очень пріятно, когда черезъ него всѣ плачутъ? Да что-жъ ему дѣлать? Богъ велитъ,—онъ долженъ слушаться. Онъ вѣдь не отъ себя.

— А замѣтилъ ты, послѣ того, какъ Катя умерла, какіе у Генриха глаза стали?

— Темные.

— Нѣтъ, не темные,—большіе.

— Большіе и темные. И никогда онъ съ нами такъ не шалить, какъ бывало.

— И все ссорится и спорить съ Михаиломъ.

— Я знаю, отчего онъ сердится. Я слышалъ, какъ они сильно ссорились: Михаилъ говоритъ, когда чело-вѣкъ умретъ, то изъ него сдѣлается порошокъ и чело-вѣкъ нѣтъ вовсе. А Генрихъ говоритъ, что чело-вѣкъ уходитъ на тотъ свѣтъ и смотритъ оттуда и жалѣетъ...

— Такъ что? за что-жь тутъ сердиться?

— Э! видишь: если изъ чело-вѣка дѣлается порошокъ, то значить и изъ Кати тоже. А онъ этого не хочетъ...

— Да, онъ ее любить.

Оба помолчали. Такъ какъ ни одному изъ нихъ не при-ходило въ голову снять со свѣчи, то она нагорѣла такъ сильно, что фитиль сталъ словно грибъ. Придавленное пламя тянулось къверху языками, точно вѣтки дерева съ обстриженной верхушкой; отъ этого освѣщенное про-странство стало еще ограниченнѣе. Не было видно ни стѣнъ, ни потолка, ни оконъ. Темнота шатромъ нависла надъ мальчиками, и шатеръ этотъ вздрагивалъ и коле-бался. А плескъ дождевыхъ капель и шорохъ деревьевъ теперь, казалось, проникли въ самую комнату и разда-вались въ ея темнотѣ. И оба мальчика чувствовали, что такой странной ночи не было еще никогда.

Теперь оба уже уяснили себѣ содержаніе этого ощу-щенія странности. Нездоровье матери и ея предчувствіе, тревожная нѣжность отца, воспоминаніе о смерти тети

Кати, потомъ это необычное движеніе, говоръ и топотъ шаговъ на той половинѣ и чей-то плачь, и чьи-то стоны— все это было сведено къ одному и получило форму. Несмотря на сомнительный авторитетъ торгаша Мошка, даже скептическій Маркъ не находилъ возраженій противъ теоріи, только-что развитой Голованомъ. Новая жизнь готовилась войти въ ихъ домъ, а идущая съ ней объ руку смерть простерла надъ домомъ свои темныя крылья; вмѣстѣ съ слабымъ стономъ матери, ея вѣяніе пахнуло въ дѣтскія души состраданіемъ и ужасомъ.

— Слушай!—тихо сказалъ Маркъ.

— Что?—еще тише спросилъ Вася.

Маркъ наклонился къ нему, какъ будто боясь, чтобы звукъ его словъ не проникъ туда, за темный куполъ надъ ихъ головами.

— Слушай... вѣдь если это правда, то значить оба они...

— Да... гдѣ-нибудь тутъ...—Онъ почувствовалъ внезапную дрожь.

— Разбудимъ дѣвочекъ.

— И няньку... ступай разбуди.

— Я... боюсь.

— И... и я тоже,—признался безстрашный Мордикъ. Оба брата инстинктивно подвинулись другъ къ другу и свѣчкѣ. Темнота, до сихъ поръ нависавшая сверху, теперь поглотила и печку, и стѣны, и кровати, и сосѣднюю комнату съ дѣвочками и нянькой, и даже самое воспоминаніе о нихъ отодвинулось куда-то далеко. А шорохъ и шепотъ окончательно вошли со двора и кто-

то тихо говорилъ надъ головами мальчиковъ что-то непонятное, но очень важное...

Такъ прошло нѣсколько минутъ. Можетъ-быть прошло бы и больше, еслибы Мордику не пришлось въ голову снять нагаръ со свѣчки. Но какъ только онъ сдѣлалъ это,—пламя сразу выровнялось, куполъ надъ головами быстро раздвинулся, открывая потолокъ, стѣны, знакомую старую печку съ задымленнымъ отдушникомъ, кровати съ измятыми подушками и брошенными на полъ одѣялами и дверь въ сосѣднюю спальню дѣвочекъ. Въѣстъ съ тѣмъ шорохъ ушелъ изъ комнаты и вмѣсто важнаго голоса слышался плескъ разрозненныхъ струекъ на дворѣ.

— Пойду разбужу,—сказалъ Мордикъ, подымаясь и направляясь въ комнату дѣвочекъ.—Нянька, нянька, вставай!—тормошилъ онъ старуху.

Нянька быстро сѣла на своей постели, съ выпученными удивленными глазами.

— А, что? Развѣ уже?—спросила она испуганно.— Ахъ я старая, проспала!

Она поправила на головѣ кичку, изъ-подъ которой выбились сѣдые космы, и, быстро надѣвъ башмаки, накинула на плечи свитеку.

— Кышъ у меня. Сидите отъ-тутъ смирно. Я скоро приду.

И старуха торопливо вышла въ корридоръ. Вскорѣ ея шаги смолкли, и Маркъ смотрѣлъ на брата въ печальномъ разочарованіи.

— Ушла, вотъ дура-то!—сказалъ онъ.

— Да, лучше было не будить. Какъ же теперь мы одни?

— Разбудимъ дѣвочекъ.

Но дѣвочки, разбуженныя возней, проснулись сами.

Слышно было, какъ старшая помогаетъ младшей выбраться изъ кровати, и вскорѣ обѣ онѣ появились въ дверяхъ, держась за руки.

— Здравствуйте, судари, вотъ и мы!—сказала Маша, весело и немного жеманясь. Замѣтивъ, что няньки нѣтъ, она говорила радостно и громко.

— Тихе, дура!—оборвалъ ее Маркъ.—У мамы родится новая дѣвочка, вотъ что...

— Тихе всѣ!—сказалъ старшій, къ чему-то прислушиваясь. Дѣвочки смирно усѣлись около свѣчки и тоже смолкли.

VII.

Дождь, очевидно, совсѣмъ пересталъ. Прежній непрерывный шумъ разорвался и изъ-за него яснѣе выступили дальніе звуки: колыханіе древесныхъ верхушекъ, лай сонной собаки и еще какой-то тихій гулъ, который, начавшись гдѣ-то очень далеко, на самомъ краю свѣта, теперь понемногу выросталъ и подватывался все ближе.

— Кто-то ѣдетъ это,—сказалъ Мордигъ.

— Далеко, въ городѣ.

Среди сна и тишины ночи, нарушаемой только плескомъ воды изъ водосточныхъ трубъ да шелестомъ вѣтра, этотъ одинокій звукъ колесъ невольно приковывалъ вни-

маніе. Кто ѣдетъ, куда, въ эту странную ночь?... Вася задумался. Ему представилась въ отдаленіи катящаяся по темнымъ и пустымъ улицамъ маленькая коляска,—непремѣнно маленькая, съ маленькими коваными колесиками, потому что и этотъ мелодичный рокоть казался маленькимъ и тихимъ, хотя долеталъ ясно. Маленькія лошадки быстро отбиваютъ дробь копытами по мостовой и маленькій кучеръ заноситъ руку съ кнутомъ. Кто же это ѣдетъ въ поздній часъ по улицамъ спящаго города?...

Колеса рокотали, катились ближе, быстрѣе... Потомъ шумъ сразу оборвался — и слышалось только тихое таратѣніе по мокрой немощной дорогѣ; то лязгъ обода о камешекъ, то скрипъ деревяннаго кузова прорывались время отъ времени и каждый разъ все ближе.

— Полеми ѣдетъ... къ намъ,—сказалъ Мордикъ.

Домъ стоялъ на краю города рядомъ съ широкимъ пустыремъ, заросшимъ бурьянами и травой. Кто же это могъ ѣхать къ нимъ ночью, да еще въ такую ночь, когда все такъ странно и у нихъ долженъ родиться ребеночекъ? И сразу этотъ стукъ подъѣзжавшаго экипажа присоединился ко всему, что было необычно, что творилось у нихъ только въ одну эту ночь...

Затаивъ дыханіе, дѣти слушали, какъ отворялись ворота, какъ колеса шуршатъ по двору и подъѣзжаютъ къ крыльцу. Послѣ этого суетня усилилась, участилось хлопанье дверей и движеніе на той половинѣ.

— Это привезли ребеночка?—спросила Маня.

— Молчи!...

Вася прислушался, и въ его воображеніи рисовалась странная картина: ангелы вылѣзали изъ коляски. Они бережно несутъ ребеночка, отдають его мамѣ и поздравляютъ: все слава Богу, все слава Богу. Берите его себѣ, всѣ будутъ живы...

Но только странно: въ домѣ все такъ тихо, и никто не радуется. Суета смолкла, двери перестали хлопать. Кто-то осторожно подошелъ въ корридорѣ къ ближайшей двери, гдѣ жила старая тетя, никогда не выходившая изъ своей комнаты, и Вася услышалъ разговоръ:

„— Слава Богу, пріѣхалъ! Теперь все будетъ хорошо.

„— Охъ, барыня, погодите радоваться! Сама-то въ обморокъ... Боже мой, какъ трудно...“

Потомъ дверь скрипнула и все стихло. Еще черезъ минуту въ дѣтскую вбѣжала старая нянька. Космы сѣдыхъ волосъ окончательно выбились изъ-подъ головного платка, по сморщенному лицу текли слезы. Не обращая вниманія на дѣтей, она пошарила въ сундукѣ, потомъ забралась къ себѣ на постель, и когда она опять выбѣжала, дѣти увидѣли въ спальнѣ красноватый отблескъ. Передъ иконою тихо разгоралась „страшная свѣча“, „громница“...

Дѣвочки ничего не понимали и только смотрѣли передъ собой широко-открытыми глазами. Братья смотрѣли другъ на друга и ждали: кто изъ нихъ заплачетъ первый. Тогда дѣтская сразу переполнилась бы неудержимымъ ревомъ... Но было слишкомъ страшно... На дворѣ кто-то гудѣлъ протяжно и сердито, и дѣти не узнавали въ этомъ гудѣніи вѣтра, пролетавашаго надъ садомъ,

Но вдругъ дальняя дверь опять отворилась и чей-то странный голосъ сказалъ громко:

— Отлично, отлично! Поздравляю,—и долгій, облегченный вздохъ, какого никогда въ жизни не приводилось слышать дѣтямъ, тихо пронесся по всему дому и угасъ...

Васѣ стало вдругъ какъ-то радостно, хотя въ головѣ путалось еще больше... Онъ не зналъ, что значитъ этотъ странный голосъ, и ему казалось, что онъ засыпаетъ. Напряженіе этой ночи брало свое, Шура дремала сидя, и дѣти не замѣчали, какъ идетъ время...

— А я знаю, кто пріѣхалъ,—сказалъ вдругъ Маркъ, не поддавшійся дремотѣ, но слова замерли у него на устахъ. Дверь опять отворилась, но теперь никакихъ звуковъ не было слышно, кромѣ дѣтскаго плача. Плакалъ маленькій ребеночекъ какимъ-то особеннымъ, тонкимъ, захлебывающимся голосомъ, но упрямо и громко...

Это было такъ неожиданно и плачь слышался такъ ясно, что даже маленькая Шура очнулась, подняла голову и сказала:

— Дѣтинька... плачетъ.

Впрочемъ, ее это повидимому нисколько не удивило.

За то всѣ остальные повскакали съ мѣстъ. Маша захлопала въ ладоши, а Маркъ кинулся къ дверямъ.

— Пойдемъ туда!

Вася пошелъ за нимъ, но у порога остановился.

— А заругаютъ?...

— Ну, одинъ разъ ничего...—успокоилъ Маркъ. Онъ хотѣлъ сказать, что именно этотъ разъ, въ эту ночь все позволительно.—А вы, дѣвочки, оставайтесь...

Но Маша думала иначе:

— Вотъ какой умный! Оставайся самъ, если хочешь... Пойдемъ, Шурочка, пойдемъ, милая!—И она торопливо подняла Шуру.

— Пускай идутъ,—поддержалъ Вася, понимавшій хорошо, что онъ и самъ ни за что бы не остался.

Когда они открыли дверь въ корридоръ,—на нихъ пахнуло теплымъ и влажнымъ вѣтромъ. Сверхъ ожиданія, корридоръ оказался освѣщеннымъ: въ самомъ концѣ, у входной двери, кто-то забылъ сальную свѣчу въ подсвѣчникѣ. Она вся оплыла, вѣтеръ колыхалъ ея пламя, летучія тѣни бѣгали по всему корридору, то мелькая по стѣнамъ, то скрываясь въ углахъ, а черное отверстіе печки, находившееся посрединѣ, тоже какъ будто шевелилось, перебѣгая съ мѣста на мѣсто. Вообще и корридоръ въ эту ночь сталъ совсѣмъ иной, необычный. Въ полуоткрытую дверь виднѣлась часть синяго ночного неба, и черныя верхушки сада качались и шумѣли. Когда дѣти подошли къ концу корридора,—вѣтеръ обвѣялъ ихъ голыя ноги.

Дверь „на ту половину“ была недалеко отъ входа, направо. Маркъ шелъ впереди и первый, поднявшись на цыпочки, тихо открылъ эту дверь. Дѣти гуськомъ шмыгнули въ первую комнату.

Знакомыя прежде, комнаты имѣли теперь совсѣмъ другой видъ. Прежде всего дѣти обратили вниманіе на дверь маминой спальни. Тамъ было тихо; слабый свѣтъ чуть-чуть брезжилъ и позволялъ видѣть фигуру отца, нѣжно склонившагося къ изголовью кровати... Темная

фигура незнакомой женщины порой проходила неясною тѣнью по спальнѣ.

Марсъ дернулъ Васю за рукавъ.

— Видишь теперь, кто это пріѣхалъ?

— Кто?

— Смотри: дядя Генрихъ и... Михаилъ.

Вася отвелъ глаза отъ дальней двери и взглянулъ въ среднюю комнату, отдѣлявшую переднюю отъ спальни. Это была прежде гостиная, но теперь въ ней все было переставлено по-иному. Дядя Генрихъ сидѣлъ задумчиво на стулѣ, подѣ висячею лампой, и на его блѣдномъ лицѣ выдѣлялись одни глаза, которые, казалось дѣтямъ, стали еще больше. Михаилъ безъ скрутува, съ засученными рукавами, вытиралъ полотенцемъ руки.

— Что теперь дѣлать? — спросилъ растерянно Вася. Во всѣхъ практическихъ начинаніяхъ онъ предоставлялъ первенство Марку.

— Не знаю, — отвѣтилъ тотъ, отодвигаясь въ тѣнь. Дѣти послѣдовали за нимъ. Присутствіе Генриха и Михаила ихъ озадачило. Генрихъ прежде былъ весельчакъ, игралъ съ дѣтьми, щекоталъ ихъ и вертѣлъ въ воздухѣ. Около двухъ лѣтъ назадъ у него родилась Шура, а жена умерла. Съ тѣхъ поръ онъ уѣхалъ въ другой городъ и рѣдко навѣщалъ ихъ, а когда пріѣзжалъ, то дѣти замѣчали, что онъ сильно перемѣнился. Онъ былъ съ ними по-прежнему ласковъ, но они чувствовали себя съ нимъ не по-прежнему, — что-то смущало ихъ, и имъ не было съ нимъ весело. Теперь онъ глубоко задумался и въ глазахъ его было особенно много печали.

Михаилъ былъ гораздо моложе брата. У него были голубые глаза, блѣлые волосы въ мелкихъ кудряхъ и очень блѣлое, правильное, веселое лицо. Вася зналъ его еще гимназистомъ, съ краснымъ воротникомъ и мѣдными пуговицами, но это все-таки было давно. Потомъ онъ появлялся изъ Кіева въ синемъ студенческомъ мундирѣ и при шпагѣ. Старшіе говорили тогда между собой, что онъ становится совсѣмъ взрослый, влюбился въ барышню, сдѣлалъ разъ „операцию“ и уже не вѣритъ въ Бога. Всѣ студенты перестаютъ вѣрить въ Бога, потому что рѣжутъ трупы и ничего уже не боятся. Но когда приходитъ старость, то опять вѣрятъ и просятъ у Бога прощенія. А иногда и не просятъ прощенія, но тогда и бываетъ имъ плохо, какъ доктору Войцеховскому... Такіе всегда умираютъ скоропостижно и у нихъ лопаются животъ, какъ и у Войцеховскаго...

Михаилъ никогда не обращалъ на дѣтей вниманія, и дѣтямъ всегда казалось, что онъ презираетъ ихъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ за то, что они еще не выросли, а во-вторыхъ за то, что самъ онъ выросъ еще недавно и что у него еще не было усовъ. Впрочемъ, когда теперь онъ подошелъ къ лампѣ и надѣлъ какой-то совсѣмъ новый мундиръ, вродѣ военнаго, — дѣти удивились, какъ онъ перемѣнился: у него были усики и борода, и онъ сталъ на самомъ дѣлѣ взрослый. Лицо у него было довольное и даже гордое. Глаза блестящи, а губы улыбались, хотя онъ старался сохранять важный видъ... Надѣвъ мундиръ, онъ таки не вытерпѣлъ и, крутя папиросу, сказалъ Генриху:

— Ну, что скажешь, Геня, каково я справился... А случай трудный, и этотъ старый осель, Рудницкій, навѣрное отправилъ бы на тотъ свѣтъ или мать, или ребенка, а можетъ-быть и обоихъ вмѣстѣ...

Генрихъ отвелъ глаза отъ стѣны и отвѣтилъ:

— Молодецъ, Миша!... Да, мы приѣхали съ тобой въ-время. Можетъ-быть, еслибы два года назадъ... у моей Кати...

Но тутъ голосъ его сталъ глуше... Онъ отвернулся.

— А все-таки,—сказалъ онъ,—рожденіе и смерть... такъ близко... рядомъ... Да, это великая тайна!...

Михаилъ пожалъ плечами.

— Эту тайну мы, братъ, прослѣдили чуть не до первичной клѣточки...

Дѣти недоумѣвали и не знали, на что рѣшиться. Во-первыхъ, все оказалось слишкомъ будничнымъ; во-вторыхъ, они поняли, что и въ эту ночь имъ можетъ достаться за смѣлый набѣгъ, какъ и всегда; а даже выговоръ въ присутствіи Михаила былъ бы имъ въ высшей степени непріятенъ. Неизвѣстно, какъ разрѣшилось бы ихъ двусмысленное положеніе, еслибы не вмѣшался неожиданный случай.

Входная дверь скрипнула, пріотворилась и кто-то заглянулъ въ щелку. Дѣти подумали, что это няня, наконецъ, хватилась ихъ и пришла искать. Но щель раздвинулась шире и въ ней показалась незнакомая голова съ мокрыми волосами и бородой. Голова робко оглянулась и затѣмъ какой-то чужой мужикъ тихонько вошелъ въ переднюю. Онъ былъ одѣтъ въ бѣлой свитеѣ, за поя-

сомъ торчалъ кнутъ, а на ногахъ были громадныя сапожищи. Дѣти прижались къ стѣнѣ.

Мужикъ потоптался на мѣстѣ и слегка кашлянулъ, но будто нарочно такъ тихо, что его никто не услыхалъ въ спальнѣ. Всѣ его движенія обличали крайнюю робость и дверь онъ оставилъ полуоткрытой, какъ будто обезпечивая себѣ отступленіе. Кашлянувъ еще разъ и еще тише, онъ сталъ почесывать затылокъ. Глаза у него были голубые, борода русая, а выраженіе чрезвычайной робости и почти отчаянія внушало дѣтямъ невольную симпатію къ пришельцу.

Отчасти тревожный шепотъ дѣтей, отчасти привычка къ полутемнотѣ передней указали незнакомому пришельцу его сосѣдей. Онъ видимо не удивился и въ его лицѣ появилось выраженіе довѣрчивой радости. Тихонько, на цыпочкахъ, хотя и очень неуклюже, онъ подошелъ къ сундуку.

— А что мнѣ... коней распрягать прикажутъ?—спросилъ онъ съ видомъ такого почти дѣтскаго довѣрія къ ихъ „приказу“, что дѣти окончательно ободрились.

— А это вы привезли маленькаго ребеночка?—спросила Мама.

— Э! какого ребеночка? Я-бо привезъ пана съ паничомъ... А что мнѣ, не знаете ли, кдней распрягать, или какъ?...

— Не знаемъ мы,—сказалъ Мордикъ.

— А ты вотъ что: ты, паничѣ, поди въ ту комнату, да и спытай у панича, у Михаила, что онъ скажетъ тебѣ?

— Сходи самъ.

— Да я, видите ли, боюсь... Мнѣ того, мнѣ не того... А вы бы сходили - таки, вамъ-таки лучше сходить. Не Богъ знаетъ, что съ вами сдѣлають.

— А съ тобой?

— Э, какой же ты, хлопчику, непонятный. Иди-бо, иди...

Онъ выдвинулъ Марка изъ угла и двинулъ къ дверямъ. Маркъ предпочелъ бы лучше провалиться сквозь землю, чѣмъ предстать теперь передъ всѣми—и въ особенности передъ Михаиломъ—въ одной рубашкѣ и такъ неожиданно. Но рука незнакомца твердо направляла его впередъ.

— Что это, откуда - то дуетъ... — слышался тихій голосъ матери. Тогда Михаилъ повернулся на стулѣ и Маркъ понялъ, что участь его рѣшена. Поэтому онъ со злобой отмахнулъ руку незнакомца и храбро выступилъ передъ удивленными зрителями.

— Онъ говоритъ, вотъ этотъ...—заговорилъ Маркъ громко и съ очевиднымъ желаніемъ свалить на мужика цѣликомъ вину своего неожиданнаго появленія,—узнай, говоритъ, что мнѣ лошадей распрягать, или не надо?...

— Кто? гдѣ? — спрашивалъ отецъ, вышедшій на говоръ изъ спальни.

— Тамъ вотъ, мужикъ.

Но мужикъ въ это время предательски отодвинулся къ выходной двери и, на половину скрывшись за ней, политично ожидалъ конца сцены. Маша, увидѣвъ этотъ маневръ, пришла въ негодованіе:

— А ты зачѣмъ причесься? Вотъ видишь какой: вытолинулъ Маркушу, а самъ спрятался!...

Это внимательство выдало всѣхъ. Михаилъ взялъ съ комода свѣчку, поднялъ ее надъ головой и освѣтилъ дѣтей.

— Эге, — сказалъ онъ, — тутъ ихъ цѣлый выводокъ. И дурень Хведько съ ними. Хведько, это ты тамъ, что ли?

— А никто, только я. Я-бо спрашиваю, чи распрягать мнѣ коней?

— Дурень, запирай двери! — крикнулъ Михаилъ. — Да не уходи пока! Погоди тамъ въ передней.

Мужикъ съ большою неохотой повиновался.

— Ну, теперь расправа: какъ вы сюда попали, пострѣлята? Ты зачѣмъ ихъ привелъ, Хведько?

— А какой ихъ бѣсъ приводилъ. Я вошелъ спытать, чи распрягать мнѣ коней. Гляжу, а ихъ тамъ напхано цѣлый уголъ. Вотъ что! А мнѣ что? Вотъ и маленькая панночка говоритъ: „ты ребеночка привезъ“... Какого ребеночка, чуднѣе дѣло...

Всѣ засмѣялись.

— Ну, теперь вы говорите: какъ сюда попали?

Оба мальчика угрюмо потупились... Они ждали чего-то необычайнаго, а вмѣсто того попали на допросъ, да еще къ Михаилу.

— Мы слышали, что ребеночекъ плачетъ, — отвѣтила одна Маша.

— Ну такъ что?

— Намъ любопытно, — угрюмо отвѣтилъ Маркъ: — откуда такое?

— Ого, ого!—сказалъ на это Генрихъ, который между тѣмъ взялъ на руки свою Шуру.—Вотъ что называется вопросъ! Спросите у него, — кивнулъ онъ на Михаила:—онъ все знаетъ.

Михаилъ поправилъ свои очки съ видомъ пренебреженія.

— Подъ лопухомъ нашли,—сказалъ онъ, отряхивая свои кудри.

Пренебреженіе Михаила задѣло Марка за живое.

— Глупости!—сказалъ онъ съ раздраженіемъ.—Мы знаемъ, что это не можетъ быть. На дворѣ дождикъ, она бы простудилась.

— Ну, вотъ, одна гипотеза отвергнута, — засмѣялся Генрихъ;—подавай Миша другую.

— Спустили прямо съ неба на ниточкѣ.

— Рассказывайте...—возразилъ Маркъ, входя все въ большій азартъ.—Видно сами не знаете. А мы вотъ знаемъ!

— Любопытно. Вѣрно отъ старой дуры, няньки?

— Нѣтъ, не отъ няньки.

— А отъ кого?

— Отъ... отъ жида Мошка.

— Еще лучше! А что вамъ рассказалъ мудрецъ Мошко?

— Расскажи, Вася, — обратился Маркъ въ Головану.

— Нѣтъ, рассказывай самъ.—Вася былъ очень сконфуженъ и чувствовалъ себя совершенно уничтоженнымъ насмѣшливымъ тономъ Михайловыхъ вопросовъ. Маркъ же не такъ легко подчинялся чужому настроенію,

— И расскажу, что-жъ такое!—задорно сказалъ онъ, выступая впередъ.—У Бога два ангела...

И онъ бойко изложилъ теорію Мошкы, изукрашенную Васиной фантазіей. По мѣрѣ того, какъ онъ рассказывалъ, его бодрость все возрастала, потому что онъ замѣтилъ, какъ возрастало всеобщее вниманіе. Даже мать позвала отца и попросила сказать, чтобы Маркъ говорилъ громче. Генрихъ пересталъ ласкать Шуру и установился на Марку своими большими глазами; отецъ усмѣхался и ласково кивалъ головой. Даже Михаилъ, хотя и покачивалъ правою ногой, заложенною за лѣвую, съ видомъ пренебреженія, но самъ видимо былъ заинтересованъ.

— Что же это все... правда?—спросилъ Маркъ, кончивъ рассказъ.

— Все правда, мальчикъ, все это правда!—сказалъ серьезно Генрихъ.

Тогда Михаилъ, еще за минуту передъ тѣмъ утверждавшій, что ребятъ находятъ подъ лопухомъ, нетерпѣливо повернулся на стулѣ.

— Не вѣрь, Маркъ! Все это—глупости, глупыя Мошкины сказки... Охота, — повернулся онъ къ Генриху, — забивать дѣтскую голову пустяками!

— А ты сейчасъ не забивалъ ее лопухомъ?

— Это не такъ вредно: это—очевидный абсурдъ, отъ котораго имъ отдѣлаться легче.

— Ну, расскажи имъ ты, если можешь...

— Ты знаешь, что я могъ бы рассказать...

— Что?

Михаилъ звонко засмѣялся.

— Физиологію... разумѣется, въ популярномъ изложе-
ніи... Надѣюсь, это была бы правда.

— Напрасно надѣешься...

— То-есть?

— Ты знаешь немного, а думаешь, что знаешь все...
А они чувствуютъ тайну и стараются облечь ее въ об-
разы... По-моему они ближе къ истинѣ.

Михаилъ нетерпѣливо вскочилъ со стула.

— А, я сказалъ бы тебѣ, Геня! Ну, да теперь не
время. А только вотъ тебѣ лучшая мѣрка: попробуйте
вы всѣ, съ вашей... или, вѣрнѣе, съ Мошкиной теоріей
сдѣлать то, что, какъ ты сейчасъ видѣлъ, мы дѣлаемъ
съ физиологіей... Вы будете умиляться, а больная ум-
ретъ...

— Ну, умираютъ и съ физиологіей, я знаю это по
близкому опыту...—сказалъ Генрихъ глухо.

— Частный фактъ...

— Этотъ частный фактъ для меня,—пойми ты,—общѣ
всѣхъ твоихъ обобщеній. Погоди, ты поймешь когда-
нибудь, что значитъ смерть любимого человѣка, и част-
ный ли это фактъ...

— Истина выше личнаго чувства!—сказалъ Михаилъ
и смолкъ. Онъ понялъ, что съ Генрихомъ нельзя те-
перь продолжать этого разговора.

VIII.

Въ комнатѣ стало тихо. Дѣти недоумѣвали. Они не поняли ни слова изъ того, что говорилось, но ощутили одно: это—спорность ихъ теоріи. Они были смущены и нерадостны.

Въ это время Хведько, о которомъ всѣ забыли, высунулъ опять голову изъ-за косяка двери.

— А что, мнѣ распрягать коней, чи нѣтъ? — произнесъ онъ съ глубокою тоской въ голосѣ.

Это вмѣшательство показалось всѣмъ очень естати.

Михаилъ весело засмѣялся.

— Ага!—сказалъ онъ,—еще одинъ мудрецъ. Попробуемъ сейчасъ маленькую индукцію. Какъ ты думаешь, Хведоръ, куда мы съ тобой ѣхали?

— Да я-жъ думаю никуда, только сюда.

Онъ внимательно, не отрывая выпученныхъ глазъ, смотрѣлъ на Михаила, какъ будто боялся его шуточныхъ разспросовъ.

— Ну?

— А что ну?

— Ну, пріѣхали мы сюда или нѣтъ?

— Э, вы-бо все смѣтаетесь. Чего бы я спрашивалъ, когда оно само видно?

— Такъ зачѣмъ же лошадямъ стоять на дождѣ, дурню!

— Отъ и я такъ думалъ,—обрадовался Хведько.—Оно хоть дождя и нѣтъ, а таки лошадямъ стоять не для чего. Пойду распрягать. Такъ и говорили бы сразу...

И онъ поторопился уйти съ видимымъ облегченіемъ.

— Ну, и вы тоже... маршъ обратно!—сказалъ отецъ.

— А... а дѣточку?—сказала Маша плачевно.

Виновница всей кутерьмы находилась въ спальнѣ. Мать тихо сказала что-то и вскорѣ бабка вынесла ее на рукахъ, въ хорошенькомъ бѣломъ свивальникѣ.

Среди кучи бѣлья виднѣлась маленькая головка. Глаза смотрѣли прямо, на лицѣ было то странно-сознательное выраженіе, которое порой дѣлаетъ лица дѣтей почти старческими. Дѣвочка зѣвала и потягивалась.

— Гордячка какая!—неизвѣстно почему рѣшила про нее Маша, поднимаясь на цыпочки.

Еслибы мама была здорова, она навѣрное вспомнила бы, что дѣтямъ нужно принести платье. Но теперь никто не обратилъ вниманія на то, что они вышли, какъ и вошли, въ однихъ рубашонкахъ. Шура осталась на рукахъ отца.

Выйдя въ корридоръ, Маша тотчасъ же побѣжала въ дѣтскую, но мальчики замѣшкались. Маркъ увидѣлъ въ наружную дверь, что около конюшни стоитъ бричка, а Хведько распрягъ уже лошадей и ведетъ ихъ подъ навѣсъ. Это его заинтересовало, и онъ юркнулъ на крыльцо; Вася пошелъ за нимъ.

Хведько привязалъ лошадей, потомъ его бѣлая свита замелькала около брички, и онъ вынесъ оттуда громадный чемоданъ. Втащивъ его на крыльцо и поставивъ на верхней ступенькѣ, онъ, по-своему, съ наивною фамиллярностью обратился къ Марку:

— А то, видно, у васъ родилось тутъ что-то?

— Не что-то, а дѣвочка!

— Вотъ и я говорю. А о чемъ это паничи спорились?

— А это, видишь ты... Мы говоримъ: у Бога два ангела...

— Ну-ну, не два,—много... Мало ли ихъ у Бога... богато...

— Правда? А Михаилъ говорить: глупости!

— Но!... Молодой паничъ иной разъ скажетъ, такъ будетъ надъ чѣмъ посмѣяться.—И онъ самъ засмѣялся...

Дѣти почувствовали въ нему полное довѣріе.

— А правда, что дѣтей приносятъ ангелы?

— Оно... того... такъ надо сказать, что дѣтей приносятъ бабы... таки не кто другой... А душу ангелы приносятъ. Вотъ ужъ это такъ ваша правда. Вотъ что хлопчики: душу... Ну, а мнѣ, хлопчики мои, надо сундукъ нести, вотъ что. А то я бы тутъ вамъ все это отлично рассказалъ...

И Хведько взвалилъ себѣ на плечи тяжелый чемоданъ.

Мальчики очень жалѣли объ этой необходимости. Тамъ, въ кабинетѣ, ихъ теорія, выдержавшая въ дѣтской полную критику, какъ-то помутилась. Они чувствовали недоумѣніе и растерянность. Здѣсь же короткая бесѣда съ Хведькомъ опять возстановила ее въ прежнемъ порядкѣ и стройности.

И оба они посмотрѣли на небо въ одно время.

Только теперь они обратили вниманіе, что и на дворѣ тоже все странно. Первая странность состояла, конечно, въ томъ, что они стоятъ на крыльцѣ босые и не одѣтые, въ такую пору, и что ихъ обдуваетъ прохлад-

ный и сырой вѣтеръ. Кромѣ того, на дворѣ, тамъ и сямъ, странно свѣтились лужи, какимъ-то особеннымъ, загадочнымъ отблескомъ ночного неба, а садъ все колыбался, точно онъ еще не могъ окончательно успокоиться послѣ волненій ночи. Небо свѣтлѣло, но тѣмъ рѣзче выдѣлялись на немъ крупныя, тяжелыя и будто взерошенныя облака. Точно кто-то пролетѣлъ по небу, все раскидалъ, все перерылъ и теперь такъ трудно привести все въ порядокъ до наступленія утра. А между тѣмъ всюду замѣтна была торопливость. Одно тонкое облако, вытянувшееся до самой середины неба громаднымъ столбомъ, быстро наклонялось, столбъ ломался и закрывалъ однѣ звѣзды, между тѣмъ какъ изъ-за него бойко выглядывали другія. Какіе-то раскиданные по небу лохмотья стягивались къ одному мѣсту, въ сплошную тучу, которая все осѣдала внизу; и по мѣрѣ того, какъ туча спадала, становилось свѣтлѣе и можно было разглядѣть, какъ осина въ саду то и дѣло мѣняется отъ вѣтра, взмахивая своими, бѣлыми снизу, листьями.

И дѣтямъ чудился въ свѣтлѣющемъ небѣ неуволимый полетъ свѣтлаго ангела, между тѣмъ какъ другой распростеръ темныя крылья тамъ далеко, подъ низкими тучами.

Обоимъ мальчикамъ хотѣлось встрѣтить здѣсь восходъ солнца,—это такъ любопытно,—и они простояли бы еще долго, еслибы нянька наконецъ не спохватилась. Ворча, въ какомъ-то изступленіи, она неслась по корридору съ совершенно несвойственною старымъ ногамъ быстротой. Однако она не добѣжала до крыльца, а остановилась въ трехъ шагахъ отъ дверей, отстранив-

пись къ стѣнѣ, такъ что осталось узкое мѣсто для прохода дѣтей.

— А кышъ, а кышъ!—кричала она.—Ахъ, проклятые гультаи, куда забрались, нѣтъ на васъ холеры великой!... А кышъ!...

Мальчики охотно не пошли бы опаснымъ проходомъ, но они понимали, что ихъ поступокъ выходилъ совершенно изъ рамокъ всякаго компромисса и что нянька имѣетъ право на возмездіе. Оставалось только надѣяться на свою ловкость.

Голованъ былъ любимецъ няньки и хотя бѣжалъ первымъ, но получилъ ударъ снисходительный. За то шлепокъ, отпущенный Марку, отдался по всему корридору. Тѣмъ не менѣе, отбѣжавъ на середину корридора, онъ остановился и сказалъ довольно равнодушно:

— Думаешь, очень больно? Какъ же. Ничего не больно, только громко.

Черезъ полчаса все въ домѣ успокоилось, хотя спали далеко не всѣ.

Отецъ думалъ о томъ, что прибавились еще расходы, а жалованья и такъ не хватаетъ. Мать думала о томъ же. Она велѣла поднести къ себѣ дѣвочку, смотрѣла на нее и плакала, потому что она не знала, можно ли ей радоваться новой жизни при такихъ маленькихъ средствахъ. Михаилъ начиналъ дремать и въ дремотѣ думалъ о жизни, что она хороша. А Генрихъ не спалъ, смотрѣлъ въ темноту и думалъ о смерти: что же она такое?

Только дѣти спали безмятежно и крѣпко.

Т Ъ Н И.

(Фантазія).

I.

Это былъ мѣсяцъ и два дня спустя послѣ того, какъ, при громкихъ крикахъ аѣинскаго народа, судьи постановили смертный приговоръ философу Сократу за то, что онъ разрушалъ вѣру въ боговъ. Онъ былъ для Аѣинъ то же, что оводъ для коня. Оводъ жалитъ коня, чтобъ онъ не заснулъ и бодро шелъ своею дорогой. Философъ говорилъ аѣинскому народу: „Я твой оводъ, я больно жалею твою совѣсть, чтобы ты не заснулъ. Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, аѣинскій народъ!“

И народъ, въ припадкѣ жестокой досады, пожелалъ избавиться отъ своего овода. „Быть-можетъ, доносчики Мелить и Анить оба не правы,—говорили граждане, расходясь съ площади послѣ приговора.—Но что же это, наконецъ, такое и куда онъ идетъ? Онъ плодитъ недоумѣнія, онъ разрушаетъ мнѣнія твердо установленныя вѣками, онъ говоритъ о новыхъ добродѣтеляхъ, ко-

торыя надо познавать и разыскивать, онъ говоритъ о божествѣ, которое намъ еще невѣдомо. Дерзкій, онъ считаетъ себя умнѣ боговъ!... Нѣтъ, спокойнѣ намъ вернуться къ старымъ, хорошо знакомымъ божествамъ. Пусть они не всегда справедливы, пусть распаляются порой несправедливымъ гнѣвомъ, а другой разъ и нечестивою похотью даже къ женамъ смертныхъ. Но не съ ними ли жили наши предки въ спокойствіи души, не съ ихъ ли помощью совершали славные подвиги? А теперь образы олимпійцевъ померкли и старая добродѣтель распатана. Что же будетъ дальше, и не должно ли однимъ ударомъ положить конецъ нечестивой мудрости?"

Такъ говорили другъ другу аѳинскіе граждане, проходясь съ площади подъ покровомъ синяго вечера. Они рѣшили убить бозпкойнаго овода въ надеждѣ, что съ этихъ поръ лица боговъ опять просвѣтлѣютъ. Правда, въ умахъ гражданъ порой вставалъ кроткій образъ чудака-философа; порой они вспоминали, какъ мужественно дѣлил онъ съ ними при Потидеѣ труды и опасности; какъ онъ одинъ защищалъ ихъ самихъ отъ позора несправедливой казни военачальниковъ послѣ аргинусской побѣды; какъ одинъ онъ противъ тиранновъ, убившихъ полторы тысячи гражданъ, осмѣлился возвысить голосъ, спрашивая на площадяхъ о пастыряхъ и овцахъ: „Не тотъ ли пастырь,—говорилъ онъ,—можетъ назваться добрымъ, который приумножаетъ и бережетъ свое стадо? Или, напротивъ, добрые пастыри призваны уменьшать количество овецъ и разгонять ихъ, а добрые правители—дѣлать то же съ гражданами? Изслѣдуемъ, аѳи-

няне, этотъ вопросъ!“ И отъ вопроса одинокаго, безоружнаго философа лица тиранновъ блѣднѣли, а глаза юношей загорались огнемъ негодованія и честнаго гнѣва...

Когда аеиняне, расходясь съ площади послѣ приговора, вспоминали все это, тогда ихъ сердца сжимало смутное сомнѣніе: „ужь не совершили ли мы надъ сыномъ Софрониска жестокую неправду?“ Но тогда добрые аеиняне смотрѣли въ гавань и на море. При свѣтѣ угасавшей зари на синемъ понтѣ еще мелькали вдали пурпуровые паруса острогрудаго корабля делосскихъ празднествъ. Корабль ушелъ изъ гавани въ этотъ день и вернется лишь черезъ мѣсяцъ, а до тѣхъ поръ въ Аеинахъ не можетъ пролиться кровь ни виноватаго, ни невиннаго. Въ мѣсяцѣ же много дней, а часовъ еще больше. Кто помѣшаетъ сыну Софрониска, если ужь онъ осужденъ невинно, убѣжать изъ тюрьмы, а многочисленные друзья навѣрное даже помогутъ? Развѣ такъ трудно богатому Платону, Эсхину и другимъ подкупить тюремную стражу? Тогда безпокойный оводъ улетитъ изъ Аеинъ къ еессалійскимъ варварамъ, или въ Пелопоннесъ, или еще дальше... въ Египетъ. Аеины не услышатъ болѣе его назойливыхъ рѣчей, а на совѣсти добрыхъ гражданъ не будетъ этой смерти. И все такимъ образомъ обойдется ко всеобщему благополучію...

Такъ многіе разсуждали про себя въ этотъ вечеръ, восхваляя мудрость демоса и геліастовъ, а втайнѣ питая надежду, что безпокойный философъ уберется изъ Аеинъ, убѣжить отъ цикуты къ варварамъ, освобождая сограж-

VIII.

Въ комнатѣ стало тихо. Дѣти недоумѣвали. Они не поняли ни слова изъ того, что говорилось, но ощутили одно: это—спорность ихъ теоріи. Они были смущены и нерадостны.

Въ это время Хведько, о которомъ всѣ забыли, высунулъ опять голову изъ-за косяка двери.

— А что, мнѣ распрягать ко́ней, чи нѣтъ? — произнесъ онъ съ глубокою тоской въ голосѣ.

Это вмѣшательство показалось всѣмъ очень встати.

Михаилъ весело засмѣялся.

— Ага!—сказалъ онъ,—еще одинъ мудрецъ. Попробуемъ сейчасъ маленькую индукцію. Какъ ты думаешь, Хведоръ, куда мы съ тобой ѣхали?

— Да я-жъ думаю нигуда, только сюда.

Онъ внимательно, не отрывая выпученныхъ глазъ, смотрѣлъ на Михаила, какъ будто боялся его шутивыхъ разспросовъ.

— Ну?

— А что ну?

— Ну, пріѣхали мы сюда или нѣтъ?

— Э, вы-бо все смѣтаетесь. Чего бы я спрашивалъ, когда оно само видно?

— Такъ зачѣмъ же лошадямъ стоять на дождѣ, дурню!

— Отъ и я такъ думалъ,—обрадовался Хведько.—Оно хоть дождя и нѣтъ, а таки лошадямъ стоять не для чего. Пойду распрягать. Такъ и говорили бы сразу...

ни доброму аѳинскому народу. „Изслѣдуемъ этотъ вопросъ,—говорилъ онъ.—Если окажется, что мнѣ надо бѣжать,—я убѣгу; а если нужно умереть, то умру. Припомнимъ, что мы говорили раньше о справедливости, о жизни и о смерти. Не говорили ли мы, что не смерть должна страшить разумнаго человѣка, а неправда? Справедливо ли соблюдать нами же установленные законы, пока они намъ лично пріятны, а непріятные нарушать? Кажется, память мнѣ не измѣнила: вѣдь мы дѣйствительно что-то говорили объ этихъ предметахъ?“

— Да, говорили,—отвѣтилъ ученикъ.

— И, кажется, всѣ были въ этомъ вопросѣ согласны?

— Да.

— Но можетъ-быть правда есть правда для другихъ, а не для насъ?

— Нѣтъ, правда одинакова для всѣхъ, и для насъ тоже.

— Но, можетъ-быть, когда намъ, а не другимъ приходится умирать, то и правда превращается въ неправду?

— Нѣтъ, Сократъ, правда остается правдой при всѣхъ обстоятельствахъ.

Когда, такимъ образомъ, ученикъ послѣдовательно согласился со всѣми послылками Сократа, философъ, улыбаясь, перешелъ къ умозаключенію:

— Но если такъ, другъ мой, то не слѣдуетъ ли, пожалуй, мнѣ умереть? Или ужъ моя голова такъ ослабѣла, что я не въ состояніи сдѣлать вѣрнаго заключенія?... Тогда поправь меня, добрый человѣкъ, и укажи правильный путь моей заблудившейся мысли.

Ученикъ закрылъ лицо плащомъ и отвернулся.

— Да,—сказалъ онъ,—я вижу теперь, что ты непремѣнно умрешь...

И въ этотъ темный вечеръ, когда море металось и глухо шумѣло подъ туманомъ, а измѣнчивый вѣтеръ шевелилъ паруса кораблей съ тихимъ и грустнымъ недоумѣніемъ; когда на улицахъ Аѳинъ граждане, встрѣчаясь, спрашивали другъ друга: онъ умеръ?—и голоса ихъ звучали робкою надеждой, что это неправда; когда первое дыханіе проснувшейся совѣсти, какъ первый предвѣстникъ бури, уже шевельнуло сердца аѳинскаго народа и даже, казалось, лица домашнихъ боговъ устыдились и потемнѣли:—въ этотъ вечеръ, съ закатомъ солнца, упрямецъ выпилъ чашу смерти...

Вѣтеръ крѣпчалъ, сильнѣе закутывая городъ пеленой морскихъ тумановъ, и начиналъ съ яростью трепать паруса, запоздавшіе въ гавань. И Эринніи заводили свои мрачныя пѣсни въ сердцахъ гражданъ, возбуждая въ нихъ грозу, отъ которой впослѣдствіи погибли обвинители Сократа... Но въ тотъ часъ эти первые порывы раскаянія метались еще смутно и неясно. Граждане еще болѣе сердились на Сократа, зачѣмъ онъ не доставилъ имъ удовольствія услышать о своемъ побѣгѣ въ Тессалію; злились на учениковъ его, которые ходили въ послѣдніе дни печальные, мрачные, какъ живые упреки; злились на судей, у которыхъ не было ни благоразумія, ни мужества, чтобы воспротивиться слѣпой ярости возбужденнаго народа; злились на самихъ боговъ. „Вамъ, боги, принесли мы эту жертву,—говорили многіе,—радуйтесь, ненасытные!“

„Не знаю, кто изъ насъ беретъ лучший жребій!“ — вспоминались слова Сократа, послѣднія слова его къ судьямъ и къ народу, собранному на площади. Теперь онъ лежалъ въ своей тюрьмѣ, подъ плащомъ, спокойный и недвижимый, а надъ городомъ нависли печаль, недоумѣніе, стыдъ. Онъ опять сталъ мучителемъ города, самъ уже недоступный мученію... Оводъ былъ убитъ, но мертвый онъ жалилъ свой народъ еще больнѣе... Не спи, не спи эту ночь, афинскій народъ! Не спи,—ты совершилъ жестоку, неизгладимую неправду!

II.

Въ эти печальные дни изъ учениковъ Сократа воинъ Ксенофонтъ находился въ далекомъ походѣ съ десятию тысячами, пробивая себѣ среди опасностей путь къ милой родинѣ. Эсхинъ, Критонъ, Критулль, Федонъ и Аполлодоръ были заняты приготовленіемъ скромныхъ похоронъ, а у Платона горѣла вечерняя лампа, и лучшій изъ учениковъ философа записывалъ на пергаментѣ его дѣла, слова и поученія, которыми завершилась жизнь мудреца. Ибо, какъ говоритъ великій поэтъ,

Листьямъ въ дубравѣ подобны сыны человѣковъ:
Вѣтеръ одни по землѣ разстилаетъ, другіе—дубрава,
Вновь расцвѣтая, рождаетъ, и съ новой весной воз-
растаютъ...

Такъ человѣки: одни нарождаются, тѣ погибаютъ.

Однако, мысль не гибнетъ и истина, достигнутая ве-

ликимъ умомъ, какъ факелъ въ темнотѣ, освѣщаетъ пути слѣдующихъ поколѣній.

Былъ и еще ученикъ Сократа. Пылкій Ктезиппъ еще недавно считался самымъ веселымъ и самымъ безпечнымъ изъ аѳинскихъ юношей; онъ боготворилъ только красоту и преклонялся передъ Клиніасомъ, какъ совершеннѣйшимъ ея воплощеніемъ. Но съ нѣкоторыхъ поръ, и именно съ того времени, какъ познакомился съ Сократомъ, онъ потерялъ и веселье, и безпечность, а въ толпѣ Клиніасовыхъ друзей его замѣнили другіе, и онъ смотрѣлъ на это равнодушно. Стройность мысли и гармонія духа, которыя онъ встрѣтилъ у Сократа, казались ему теперь во сто кратъ болѣе привлекательными, чѣмъ стройность стана и гармонія въ чертахъ Клиніаса. Всѣми силами своей пылкой души онъ привязался къ тому, кто нарушилъ дѣвственное спокойствіе его собственной души, раскрывшейся на-встрѣчу первымъ сомнѣніямъ, какъ почки молодого дуба раскрываются на-встрѣчу свѣжему весеннему вѣтру.

Теперь, въ эти горькія минуты, онъ нигдѣ не могъ найти успокоенія,—ни у домашняго очага, ни на улицахъ притихшаго города, ни въ обществѣ единомышленниковъ друзей. Боги очага, домашніе и народныя боги стали ему противны: „Я не знаю,—говорилъ онъ,—лучшіе ли вы изъ тѣхъ, кому безчисленныя поколѣнія народовъ сожигаютъ благовонія и приносятъ жертвы. Но не сомнѣваюсь, что вамъ въ угоду слѣпая толпа погасила яркій свѣтильникъ истины, что вамъ въ жертву принесенъ лучшій изъ смертныхъ!“

Улицы и площади, казалось Ктезиппу, еще оглашаются криками несправеднаго суда. Здѣсь нѣкогда Сократъ одинъ воспротивился безчеловѣчному приговору судей и слѣпой ярости черни, требовавшей смерти аргинузскимъ вождямъ *) Теперь не нашлось никого, кто бы счумѣлъ зацитить его съ такою же силой. Въ этомъ Ктезиппъ винилъ и себя, и товарищей, и вотъ отчего ему хотѣлось въ этотъ вечеръ избавиться отъ присутствія всѣхъ людей и даже, если возможно, отъ себя самого.

Онъ пошелъ къ морю. Но здѣсь его тоска стала еще тяжелѣе. Казалось, подъ покровами изъ тумана, опечаленныя дочери Нерее метались и бились о берегъ, оплакивая лучшаго изъ аеинянъ и самый городъ, ослѣпленный безуміемъ. Волны летѣли одна за другой, волны плескались о каменныя скалы съ непрерывнымъ жалобнымъ рокотомъ, который раздавался въ ушахъ Ктезиппа какъ траурное, намогильное пѣніе.

Тогда онъ отвернулся и пошелъ отъ берега все прямо, не глядя передъ собой и не заботясь даже о дорогѣ. Мрачная скорбь затемнила его сознаніе и нависла надъ

*) Въ битвѣ при Аргинузахъ аеиняне одержали блестящую побѣду. Послѣ битвы наступила буря, и, шая живыхъ, вожди не достаточно позаботились о мертвыхъ, которые остались безъ погребенія. Тогда противъ счастливыхъ вождей поднялись въ Аеинахъ страсти суевѣрной толпы. Родственники убитыхъ явились на собраніе въ траурныхъ платьяхъ, обвиняя вождей въ томъ, что теперь умершіе останутся вѣчными скитальцами; здѣсь выступило древнее вѣрованіе, гласившее, что душа не покидаетъ тѣла и вмѣстѣ съ нимъ сходить въ нѣдра земли. Сократъ одинъ воспротивился приговору, основанному на угожденіи грубому суевѣрію.

нимъ, какъ темная туча. Онъ забылъ о времени, о престранствѣ, о собственномъ существованіи, и весь полонъ былъ одною гнетущею мыслью о Сократѣ... „Вчера онъ былъ, вчера еще раздавались его кроткія рѣчи. Какъ можетъ быть, что его *нѣтъ* сегодня?... О ночь, о вы, великаны-гóry, окутанные туманными нимбами, ты, рокошующее море, обладающее собственнымъ движеніемъ, вы, беспокойные вѣтры, несущіе на крыльяхъ дыханіе необъятнаго міра, ты, звѣздный сводъ, покрытый летучими облаками, ты, тихо сверкающая зарница, раздвигающая ихъ молчаливыя гряды,—возьмите меня къ себѣ, откройте мнѣ тайну этой смерти, если вы ее знаете! А если вы не знаете, дайте моему невѣдѣнію ваше безстрастіе. Возьмите у меня эти мучительные вопросы,—я не въ силахъ болѣе носить ихъ въ груди безъ отвѣта и безъ надежды на отвѣтъ... А кто же отвѣтитъ, если уста Сократа смежило вѣчное молчаніе, а на его взоры легла вѣчная тьма?“

Такъ говорилъ Ктезиппъ, обращаясь къ морю, къ горамъ и мракамъ ночи, которая, между тѣмъ, какъ всегда, совершала надъ спящимъ міромъ свой незримый, неудержимый полетъ. Прошло много часовъ, прежде чѣмъ Ктезиппъ вздумалъ оглянуться, куда привели его шаги, не управляемые сознаниемъ. Когда же онъ оглянулся, то темный ужасъ охватилъ его душу.

III.

Казалось, невѣдомыя божества вѣчной ночи услышали дерзкую молитву. Ктезиппъ глядѣлъ и не узнавалъ мѣста, гдѣ онъ находился. Огни города давно угасли въ темнотѣ, рокотъ моря смолкъ въ отдаленіи, и теперь самое воспоминаніе о немъ стихало въ оробѣвшей душѣ. Ни одинъ звукъ: ни осторожный крикъ ночной птицы, ни свистъ ея крыла, ни шорохъ листьевъ, ни журчаніе ни когда не засыпающихъ горныхъ ручьевъ,—ничто не нарушало глубокаго молчанія... И только синіе блуждающіе огни тихо снимались и переносились съ мѣста на мѣсто, по утесамъ, да молчаливыя зарницы вспыхивали и угасали въ туманахъ надъ вершинами, усиливая мракъ своими короткими вспышками и мертвымъ свѣтомъ открывая мертвыя очертанія пустыни, по которой черныя разсѣлины вились какъ змѣи и скалы громоздились въ дикомъ хаотическомъ безпорядкѣ.

Казалось, всѣ веселые боги, живущіе въ зеленыхъ дубравахъ, въ звенящихъ ручьяхъ и въ горныхъ лощинахъ, навсегда бѣжали изъ этой пустыни; только одинъ великій таинственный Панъ притаился гдѣ-то близко въ хаосѣ природы и зорко, насмѣшливымъ взглядомъ слѣдитъ за нимъ, ничтожнымъ муравьемъ, еще такъ недавно дерзко взывавшимъ къ тайнѣ міра и смерти. И слѣпой не разсуждающій ужасъ уже разливался въ душѣ Ктезиппа, какъ море заливаешь во время шумнаго прилива прибрежныя скалы...

Быль ли это сонъ, была ли это дѣйствительность, было ли это отравленіе невѣдомаго божества, но только Ктезиппъ чувствовалъ, что еще одна минута—и грань жизни будетъ перейдена, и душа его растворится въ этомъ океанѣ безпредѣльнаго, безформеннаго ужаса, какъ дождевая капля въ волнѣ сѣдого океана въ темную и бурную ночь. Но въ эту минуту онъ услышалъ вдругъ голоса, показавшіеся ему знакомыми, и глаза его различили при свѣтѣ зарницы человѣческія формы.

IV.

Человѣкъ сидѣлъ на одномъ изъ каменныхъ выступовъ въ позѣ глубокаго отчаянія и съ плащомъ, накинутымъ на низко опущенную голову. Другой тихими шагами приближался къ нему, поднимаясь съ осторожностью и изслѣдуя каждую пядь дороги. Сидѣвшій открылъ лицо и воскликнулъ:

— Тебя ли я видѣлъ сейчасъ, добрый Сократъ? Ты ли идешь мимо меня въ этомъ безрадостномъ мѣстѣ, гдѣ я сижу уже много часовъ, не зная смѣны дня и ночи, напрасно дожидаясь разсвѣта?

— Да, это я, другъ! А въ тебѣ не узнаю ли я Елпидія, умершаго за три дня передо мной?

— Да, я—Елпидій, богатѣйшій изъ аеинскихъ кожевниковъ, а нынѣ несчастнѣйшій изъ всѣхъ рабовъ. Теперь только понимаю я справедливость словъ, сказан-

ныхъ поэтомъ: лучше быть послѣднимъ рабомъ на землѣ, чѣмъ властителемъ во мракѣ аида.

— Другъ! Но если такъ тяжело тебѣ въ этомъ мѣстѣ, почему не идешь ты въ другое?

— О Сократъ! я удивляюсь тебѣ: какъ можешь ты идти, не видя цѣли, я же... Въ глубокой тоскѣ сижу я здѣсь и оплакиваю радости такъ скоро промелькнувшей жизни.

— Другъ Елпидій, я, какъ и ты, очутился въ этой тѣмѣ, когда въ глазахъ моихъ угасъ свѣтъ земной жизни. Но голосъ сказалъ мнѣ: „Сократъ, иди въ новый путь, не теряя времени“,—и я пошелъ.

— Но куда же пошелъ ты, Сократъ? Здѣсь нѣтъ торной дороги, ни одного герма, ни одной колени, ни даже луча свѣта. Только хаосъ камней, мрака и тумановъ...

— Это правда. Но, другъ Елпидій, убѣдившись въ этой печальной истинѣ, не спросишь ли ты себя: что наиболѣе угнетаетъ твою душу?

— Безъ сомнѣнія, эта ужасная тѣма.

— Итакъ, надо идти на-встрѣчу свѣту. Не замѣчалъ ли ты, что вершины всегда освѣщаются лучами первыя? Итакъ, я сказалъ себѣ: „должно быть, великій законъ состоитъ въ томъ, чтобы смертные сами искали во мракѣ пути въ источнику жизни. Не зная ничего болѣе опредѣленнаго, иди, Сократъ, все впередъ и все вверхъ...“ Не думаешь ли ты, что это лучше, чѣмъ сидѣть ана мѣстѣ? Я думаю, и потому иду. Прощай!

— О нѣтъ, добрый Сократъ, не покидай меня. Ты

довольно твердо ступаешь по этому адскому бездорожью. Дай мнѣ полу твоего плаща...

— Если ты полагаешь, что и тебѣ это будетъ лучше, иди за мной, другъ Елпидій.

И двѣ тѣни пошли дальше, а душа Ктезиппа, исторгнутая сномъ изъ тлѣнной оболочки, понеслась имъ вслѣдъ, жадная къ яснымъ звукамъ знакомой Сократовой рѣчи, какъ будто освѣтившей для нея эти области безнадежной тьмы.

— Что же ты смолкъ, добрый Сократъ?—послышался опять голосъ афинянина Елпидія.—Разговоръ сокращаетъ скуку путешествія, а влянусь Геракломъ, никогда еще не случалось мнѣ идти такою ужасною дорогой. Вотъ когда чувствуешь настоящую потребность въ добромъ товарищѣ, у котораго, какъ у тебя, языкъ привѣщенъ не напрасно!

— Спрашивай, другъ Елпидій. Вопросъ любознательнаго человѣка вызываетъ отвѣты и рождаетъ собесѣдованіе.

Елпидій помолчалъ и потомъ спросилъ, собравшись съ мыслями:

— Вотъ что. Расскажи ты мнѣ, мой бѣдный Сократъ, хорошо ли, по крайней мѣрѣ, тебя похоронили? Какъ странно, не правда ли, что мы теперь должны предлагать другъ другу такіе вопросы, вмѣсто прежнихъ: „какъ ты провелъ ночь и хорошо ли пообедалъ?“

— Признаюсь тебѣ, другъ Елпидій, я не могу удовлетворить твое любопытство.

— Понимаю тебя, бѣдный Сократъ,—тебѣ нечѣмъ похвастать. Вотъ я—другое дѣло! Ахъ, какъ меня хоро-

нили, какъ превосходно хоронили меня, мой бѣдный товарищъ! Я и теперь съ великимъ удовольствіемъ вспоминаю объ этихъ лучшихъ минутахъ... послѣ моей смерти! Прежде всего, меня обмыли и умаслили дорогими благовоніями. Потомъ вѣрная моя Ларисса надѣла на меня лучшія ткани. Искуснѣйшія плакальщицы въ городѣ рвали на себѣ волосы, такъ какъ имъ обѣщали очень хорошую плату. Въ семейную усыпальницу со мной поставили одну амфору, одну кратеру съ превосходно украшенными бронзовыми ручками, одинъ фіалъ, затѣмъ...

— Пстой, другъ Елпидій. Я увѣренъ, что вѣрная Ларисса размѣняла свою любовь на нѣсколько минъ... Однако...

— Ровно десять минъ и четыре драхмы, не считая напитковъ, которые выпиты гостями. Такъ вотъ, видишь ли, какъ меня проводили до могилы. Рѣдкій, я думаю, даже изъ богатыхъ кожевниковъ можетъ похвалиться передъ своими предками, отошедшими раньше, такими похоронами и такимъ вниманіемъ со стороны живущихъ.

— Другъ Елпидій, не думаешь ли ты, что золото это принесло бы больше пользы оставшимся въ Аѳинахъ бѣднякамъ, чѣмъ тебѣ въ настоящую минуту?

— Это ты говоришь, признайся, изъ зависти,—возразилъ Елпидій съ горечью.—Мнѣ жаль тебя, несчастный Сократъ. Хотя, между нами сказать, ты дѣйствительно заслужилъ свою участь, и не разъ, въ кругу своей семьи, я самъ говаривалъ, что давно бы пора прекратить разсѣваемое тобою нечестіе, ибо...

— Пстой, другъ. Кажется, ты имѣлъ въ виду какое-

то заключеніе, и я боюсь, что ты свернулъ съ прямого пути. Скажи же, добрый человѣкъ, куда клонится твоя нетвердая мысль?

— Я хотѣлъ только сказать, что, по добротѣ сердечной, я все-таки тебя жалѣю. Мѣсяцъ назадъ я и самъ не мало кричалъ въ собраніи, но, по-истинѣ, никто изъ насъ, кричавшихъ, не желалъ для тебя такой крупной несправедливости. Теперь тѣмъ болѣе, повѣрь, мнѣ жаль тебя, несчастный философъ!...

— Благодарю тебя. Однако, товарищъ, скажи: въ глазахъ твоихъ свѣтло?

— О нѣтъ, передо мной одна темная мгла, и я спрашиваю себя даже: не это ли туманныя области Орка?

— Какъ, значитъ и для тебя путь этотъ такъ же теменъ, какъ и для меня?

— Кажется, не менѣе.

— Если не ошибаюсь, ты даже держишься за полу моего плаща?

— Это правда.

— Но тогда не одинаково ли мы оба достойны сожалѣнія?... Ты видишь, предки не спѣшатъ насладиться разсказомъ о твоёмъ похоронномъ торжествѣ. Гдѣ же разница между нами, мой добрый товарищъ?

— Но, Сократъ, неужели боги помрачили твой разумъ настолько, что тебѣ не ясна эта разница?

— Другъ, если тебѣ твое положеніе яснѣе, тогда дай мнѣ руку и веди меня, ибо, клянусь собакой *), ты предоставляешь именно мнѣ идти впередъ въ этой тьмѣ...

*) Обычная клятва Сократа.

— Оставь шутки, Сократъ! Оставь твои шутки и не ровняй себя (потому что, вѣдь, ты безбожникъ) съ человекомъ, умершимъ на своей собственной постелѣ...

— А! кажется я начинаю понимать тебя... Скажи мнѣ, однако, Елпидій: надѣнешься ли ты, что будешь пользоваться твоею постелью еще когда-либо?

— Увы! не думаю.

— И было такое время, когда ты не спалъ на ней?

— Было... до того самаго дня, когда я купилъ ее у Агезилая за половинную цѣну. Вотъ видишь ли... Этотъ Агезилай, хоть и порядочный мошенникъ...

— Оставимъ Агезилая. Быть-можетъ, онъ торгуетъ ее теперь у твоей вдовы за четверть цѣны. Не правъ ли я, однако, когда говорю, что, вѣдь, постель находилась лишь во временномъ твоёмъ владѣніи?

— Согласенъ.

— Но, вѣдь, и та постель, на которой я умеръ, тоже находилась въ моемъ временномъ владѣніи. Ее далъ мнѣ на время добрый Протисъ, тюремный сторожъ.

— А! еслибъ я зналъ, къ чему ты склоняешь рѣчь, я не сталъ бы отвѣчать на твои коварные вопросы. Ну, слыхано ли, о Гераклъ, подобное нечестіе: онъ равняетъ себя со мною! Но, вѣдь, я могъ бы уничтожить тебя, если на то пошло, двумя словами...

— Произноси ихъ, Елпидій, произноси безъ страха. Едва ли можно уничтожить меня словами больше, чѣмъ это сдѣлала цикута...

— Ну, вотъ! Это-то я и хотѣлъ сказать. Несчастный! ты умеръ по приговору суда, отъ цикуты!

Но, нѣдь, я это зналъ съ самаго дня смерти и
значительно ранѣе. А ты, о счастливый Елпидій,
миръ, отъ чего ты умеръ?

О, я совсѣмъ другое дѣло! У меня, видишь ли,
заболѣла водянка въ животѣ. Былъ позванъ дорогой
докторъ изъ Коринеа, который взялся вылѣчить меня за
миллион и половину получилъ въ задатокъ... Боюсь,
изъ-за неопытности въ этихъ дѣлахъ, Ларисса, пожа-
луй, отдастъ ему и другую половину...

Судя по тому, что я вижу, врачъ изъ Коринеа не
исполнилъ своего обѣщанія?

Это правда.

— И ты умеръ именно отъ водянки?

— Ахъ, Сократъ, повѣришь ли, она принималась ду-
шить меня три раза, пока не залила, наконецъ, огонь
моей жизни!...

— Скажи же мнѣ: смерть отъ водянки доставила те-
бѣ большое наслажденіе?

— О, злой Сократъ, не смѣйся надо мной! Говорю
же тебѣ: она принималась душить меня три раза... Я
кричалъ, какъ быкъ подъ ножомъ мясника, и молилъ
Парку поскорѣе перерѣзать нить, связывающую меня
съ жизнью...

— Это меня не удивляетъ. Но тогда, добрый Елпидій,
откуда ты заключаешь, что водянка сдѣлала свое дѣло
лучше, чѣмъ цикута, которая покончила со мной въ
одинъ разъ?

— Вижу, что опять попался въ твою западню, лука-
вый нечестивецъ! Не стану больше гнѣвить боговъ,

разговаривая съ тобою, нарушителемъ священныхъ обычаевъ.

И оба замолчали, и было тихо. Но спустя немного Елпидій заговорилъ первый:

— Что же ты смолкъ, добрый Сократъ?

— Другъ, не ты ли самъ настойчиво просилъ объ этомъ?

— Я не гордъ и умѣю относиться снисходительно къ людямъ хуже меня. Оставимъ ссору!

— Я не ссорился съ тобою, другъ Елпидій, и, повѣрь, не хотѣлъ сказать тебѣ ничего непріятнаго. Я привыкъ только познавать вещи посредствомъ сравненія. Мнѣ неясно мое положеніе. Свое ты считаешь лучшимъ, и я былъ бы радъ узнать—почему. Въ свою очередь и тебѣ, быть-можетъ, не лишне было бы узнать истину, какова бы она ни была...

— Ну-ну, оставимъ это!... Скажи, ты не боишься?

— Не думаю, чтобы чувство, которое я теперь испытываю, слѣдовало назвать страхомъ.

— А я чувствую именно страхъ, хотя, сказать по правдѣ, у меня меньше поводовъ къ ссорѣ съ богами, чѣмъ у тебя. Не кажется ли тебѣ, однако, что, оставляя насъ здѣсь, на волю хаоса и собственныхъ усилій, боги обманули наши ожиданія?

— Это зависитъ отъ того, каковы были ожиданія... Чего же ты ждалъ отъ боговъ, другъ Елпидій?

— Чего ждалъ, чего ждалъ!... Странные вопросы предлагаешь ты, Сократъ! Я полагаю, что если человекъ приносить въ теченіе своей жизни жертвы и умираетъ

въ благочестіи и со всѣми обрядами, то можно бы, кажется, послать если не Гермеса, то хоть кого-нибудь изъ незначительныхъ боговъ для указанія человѣку пути... Правда, совѣсть указываетъ мнѣ на одно обстоятельство... Видишь ли: много разъ общалъ я Гермесу тельцовъ, прося удачи въ торговлѣ кожами, и...

— Удачи тебѣ не было?

— Удача была, добрый Сократъ, но...

— Понимаю,—не оказалось теленка.

— Ахъ, Сократъ, ну могло ли не быть какого-нибудь теленка у богатого кожевника?

— Теперь я понимаю: была и удача, и тельцы, но ты оставлялъ ихъ себѣ, Гермю же не досталось ничего.

— Ты умный человѣкъ, я это говорилъ много разъ... Увы, свои обѣты я исполнялъ не болѣе трехъ разъ изъ десяти и съ другими богами поступалъ не лучше, чѣмъ съ Гермесомъ. Если и съ тобой, какъ я думаю, случилось что-либо подобное, то не въ этомъ ли причина, что мы теперь оставлены?... Правда, я приказалъ Лариссѣ принести послѣ моей смерти цѣлую гекатомбу...

— Но, вѣдь, это уже Ларисса, другъ Елпидій, а обѣщаніе дано тобою.

— Это правда, это правда... Ну, а ты, добрый Сократъ? Неужели ты, безбожникъ, поступалъ въ отношеніи боговъ лучше меня, богобоязненнаго кожевника?

— Другъ! не знаю, лучше ли я поступалъ или хуже. Прежде я приносилъ жертвы, не давая обѣтовъ, а въ послѣдніе годы я не давалъ ни тельцовъ, ни обѣщаній...

— Какъ, несчастный, ни одного теленка?

— Да, другъ, еслибы Герму пришлось питаться одними моими приношеніями, боюсь, онъ бы сильно отощаль...

— Понимаю! Ты не занимался торговлей скотомъ и приносилъ ему отъ предметовъ другого промысла. Можетъ быть, мину, другую изъ платы твоихъ учениковъ?

— Другъ, ты знаешь, что я не бралъ платы съ учениковъ, а промысла едва хватало на собственное прокормленіе. Еслибы боги рассчитывали на остатки отъ моей суровой трапезы, они сильно обманулись бы въ расчетахъ.

— О, нечестивецъ! Передъ тобой и я могу похвалиться святостію. Посмотрите, боги, на этого человѣка! Правда, я иногда обманывалъ васъ, но порой, все-таки, дѣлился съ вами излишками удачной торговли. Даетъ много дающій что-нибудь въ сравненіи съ нечестивцемъ, который не даетъ ничего! Знаешь что: ступай себѣ одинъ. Боюсь, какъ бы общество подобнаго тебѣ безбожника не повредило мнѣ во мнѣніи боговъ...

— Какъ хочешь, добрый Елпидій. Клянусь собакой, никто не долженъ насильно навязывать свое сообщество другимъ. Отпусти полу моего плаща и прощай. Я пойду одинъ.

И Сократъ пошелъ впередъ, все такъ же твердо, хотя и изслѣдуя на каждомъ шагу почву. Но Елпидій тотчасъ же закричалъ ему вслѣдъ:

— Погоди, погоди, мой добрый согражданинъ, не оставляй афинянина одного въ такомъ ужасномъ мѣстѣ! Я только пошутилъ, прими мои слова въ шутку и пере-

стань торопиться. Я удивляюсь, какъ можешь ты видѣть что-нибудь въ такой кромѣшной тѣмѣ.

— Другъ, я приучилъ свои глаза.

— Это хорошо. Однако, я не могу похвалить тебя за то, что ты не приносилъ жертвы богамъ. Нѣтъ, не могу, бѣдный Сократъ, не могу. Навѣрное, почтенный Софронискъ не тому училъ тебя смолоду, и ты самъ, я видѣлъ это, прежде участвовалъ въ моленіяхъ.

— Да. Но я привыкъ изслѣдовать разныя основанія и принимать только тѣ, которыя, послѣ изслѣдованія, оказывались разумными... Итакъ, пришелъ день, въ который я сказалъ себѣ: Сократъ, вотъ ты поклоняешься олимпійцамъ. За что же именно ты имъ поклоняешься?

Елпидій засмѣялся.

— Вотъ это такъ! Право, вы, философы, не находите порой отвѣтовъ на самые простые вопросы. А вотъ я, простой кожевникъ, никогда въ жизни не занимавшійся софистикой... и, однако, я знаю, почему слѣдуетъ почитать олимпійцевъ.

— Скажи же, другъ, поскорѣе, пусть и я узнаю отъ тебя—почему?

— Почему? Ха, ха, ха! Но, вѣдь, это такъ просто, мудрый Сократъ.

— Чѣмъ проще, тѣмъ лучше. Но только не скрывай отъ меня твоего знанія. Итакъ, почему слѣдуетъ чтить боговъ?

— Почему?... Да, вѣдь, всѣ дѣлаютъ это...

— Другъ! ты знаешь хорошо, что не всѣ. Не вѣряй ли сказать: многіе?

— Ну, пусть многіе...

— Но скажи мнѣ, не большее ли количество людей дѣлають зло, чѣмъ добро?

— Думаю, что это правда: зло встрѣчается чаще.

— Итакъ, надлежитъ дѣлать зло, а не добро, слѣдуя за большинствомъ?

— Что ты говоришь!

— Не я, ты самъ говоришь это, я же думаю, что множество преклоняющихся передъ олимпійцами не есть еще основаніе, и намъ нужно поискать другого, болѣе разумнаго. Быть-можетъ, ты находишь ихъ заслуживающими уваженія?

— Это вотъ вѣрно!

— Хорошо. Но тогда новый вопросъ: за что же именно ты уважаешь ихъ?

— За ихъ величіе, это ясно.

— Пожалуй, и я, можетъ-быть, скоро соглашусь съ тобой. Мнѣ остается только узнать отъ тебя, въ чемъ состоитъ величіе... Ты затрудняешься? Поищемъ же отвѣта вмѣстѣ. Гомеръ говоритъ, что буйный Арей, ниспровергнутый камнемъ Паллады-Аѳины, покрылъ своимъ тѣломъ семь десятинъ.

— Вотъ видишь, какое огромное пространство!

— Итакъ, въ этомъ величіе?... Но, другъ, вотъ опять недоумѣніе. Не помнишь ли атлета Діофанта? Онъ выдѣлялся цѣлою головой изъ толпы, а Периклъ былъ не выше тебя. Кого, однако, мы называемъ великимъ, Перикла или Діофанта?

— Я вижу, что величіе, дѣйствительно, не въ громадности.

— Да, величіе—не громадность, это правда. Я радъ, что мы кое въ чемъ уже съ тобой согласились. Быть-можетъ оно въ добродѣтели?

— Конечно!

— Я опять думаю то же. Теперь скажи, кто же передъ кѣмъ долженъ преклониться: меньшій ли передъ бѣльшимъ или, наоборотъ, болѣе великій въ добродѣтели долженъ преклониться передъ порочнымъ?

— Отвѣтъ ясенъ.

— Думаю. Теперь пойдемъ дальше: скажи мнѣ по совѣсти, убивалъ ли ты стрѣлами чужихъ дѣтей?

— Конечно, никогда! Неужели ты думаешь обо мнѣ такъ дурно?

— И не соблазнялъ, надѣюсь, чужихъ женъ?

— Я былъ честный кожевникъ и хорошій семьянинъ, не забывай этого Сократъ, прошу тебя!

— Значить, ты не обращался въ скота и своею похотливостью не давалъ вѣрной Лариссѣ поводовъ мстить соблазненнымъ тобою женщинамъ и ни въ чемъ виновнымъ дѣтямъ?

— Право, ты меня сердишь, Сократъ.

— Но, быть-можетъ, ты отнялъ наслѣдство у родного отца и заключилъ его въ темницу?

— Никогда!... Но къ чему эти обидные вопросы?

— Погоди, другъ. Можетъ-быть, мы какъ-нибудь и придемъ вмѣстѣ къ какому-либо заключенію... Скажи, считалъ ли бы ты великимъ человѣка, который сдѣлалъ все, что я сейчасъ перечислилъ?

— Ну, нѣтъ, нѣтъ! Я назвалъ бы такого человѣка

негодяемъ и обвинилъ бы его публично передъ судьями на площадяхъ.

— Ну, Елпидій, почему же ты не обвинялъ на площади Зевса и олимпійцевъ? Кронидъ воевалъ съ роднымъ отцомъ и распалялся скотскою похотью въ смертнымъ, а Гера мстила невиннымъ, потерпѣвшимъ насиліе... Не они ли вдвоемъ обратили несчастную дочь Инаха въ жалкую корову, не Аполлонъ ли убилъ стрѣлами всѣхъ дѣтей Ніобеи, а Калленій не воровалъ ли быковъ?... Итакъ, Елпидій, если правда, что менѣе добродѣтельный долженъ оказывать почтеніе большому въ добродѣтели, то, вѣдь, не ты олимпійцамъ, а они тебѣ должны воздвигать алтари.

— Не богохульствуй, нечестивый Сократъ, перестань! Тебѣ ли судить боговъ?

— Другъ, ихъ осудило нѣчто высшее. Изслѣдуемъ вопросъ: какой признакъ божества?... Ты, кажется, сказалъ: величіе, состоящее въ добродѣтели. Не это ли же самое—единственная божественная искра въ человѣкѣ? Но если ничтожною человѣческою добродѣтелью мы измѣрили величіе боговъ и мѣрило оказалось больше измѣряемаго, то отсюда слѣдуетъ, что само божественное начало осудило олимпійцевъ. Но тогда...

— Что тогда?

— Тогда, добрый Елпидій, они—не боги, а обманчивые призраки. Не такъ ли?

— Вотъ въ чему приводитъ разговоръ съ вами, боконогіе философы! Я вижу теперь, что о тебѣ говорили правду: ты и видомъ, и всѣмъ другимъ походишь на

рыбу торпиль, которая своимъ взглядомъ околдовываетъ человѣка. Такъ же околдовалъ ты меня лишь затѣмъ, чтобы породить въ душѣ моей, твердой въ вѣрѣ, недоумѣніе и колебаніе. Вотъ уже въ моемъ умѣ пошатнулось уваженіе къ Зевесу... Ну, нѣтъ, говори же теперь одинъ,—я не стану отвѣчать!

— Не сердись, Елпидій, я не желаю тебѣ зла. Если же ты усталъ слѣдить за правильностью умозаключеній, то позволь рассказать тебѣ притчу объ одномъ милетскомъ юношѣ. Умъ отдыхаетъ на притчахъ, а между тѣмъ и отдыхъ бываетъ не безплоденъ.

— Говори, если твой рассказъ не очень длиненъ и имѣетъ въ виду хорошее правоученіе.

— Онъ имѣетъ въ виду истину, другъ Елпидій, и я постараюсь его сократить:

„Видишь ли. Когда-то, въ древнія времена, Милетъ подвергся нападенію варваровъ. Въ числѣ юношей, уведенныхъ въ плѣнъ, былъ одинъ отрокъ, сынъ мудрѣйшаго и лучшаго изъ всѣхъ гражданъ страны. Дорóгой ребенокъ впалъ въ сильную болѣзнь и былъ брошенъ въ безпамятствѣ, какъ негодная добыча.

„Глубокою ночью пришелъ онъ опять въ себя. Высоко надъ нимъ мигали звѣзды, кругомъ разстилась пустыня, а вдали раздавались хищные крики звѣрей. Онъ былъ одинъ...

„Онъ былъ совершенно одинъ и, кромѣ того, боги отняли у него память всѣхъ событій его предыдущей жизни. Тщетно онъ напрягалъ свой умъ,—въ немъ было такъ же темно и пусто, какъ въ этой непривѣтливой пу-

стынѣ. И только гдѣ-то, за далью туманныхъ и неясныхъ образовъ, стояла мечта объ оставленной родинѣ. Въ этой свѣтлой странѣ чудился ему образъ лучшаго изъ всѣхъ людей, и тогда въ сердцѣ звучало слово: „Отецъ!“

„Ободренный, онъ поднялся на ноги и пошелъ не твердыми шагами, избѣгая опасностей. Послѣ долгаго пути, когда, казалось, послѣднія силы готовы были измѣнить ему, онъ увидѣлъ въ туманной дали огонь, который освѣщалъ тьму и разгонялъ холодъ. Въ усталую душу вступила тогда кроткая надежда, воспоминанія объ отчемъ кровѣ ожили и юноша пошелъ на огонь, съ крикомъ: „это ты, это ты, отецъ мой!“

— Это и былъ домъ отца?

— Нѣтъ, это была куца кочевниковъ, остановившихся на роздыхъ. Они взяли его въ плѣнъ, но дали обогрѣться и научили добыванію огня... Много лѣтъ послѣ того онъ велъ жалкую жизнь плѣннаго раба, лелѣя мечту о далекой родинѣ, объ отдыхѣ на родной груди отца. Порой нетвердая рука его пыталась вызвать неясный образъ изъ мертвой глины, дерева или камня. Бывали даже минуты, когда, усталый, онъ обнималъ собственное произведеніе, поклонялся ему и орошалъ его слезами. Однако, камень оставался холоднымъ камнемъ, и, вырастая, юноша разбивалъ свои издѣлія, которыя казались ему уже жалкимъ оскорбленіемъ его завѣтной мечты.

„Наконецъ, судьба привела скитальца къ доброму варвару, который спросилъ у него о причинѣ его всегдашней грусти. Когда юноша довѣрилъ ему тоску и

надежды своей души, варваръ, человѣкъ тоже мудрый, сказалъ:

„— Міръ былъ бы лучше, еслибы въ немъ была такая страна и тотъ, о которомъ ты говоришь. Ты вѣришь,—пусть исполнятся твои надежды... Но по какому же признаку узнаешь ты отца своего?

„— Въ моей странѣ, —отвѣтилъ юноша,—чтили мудрость и добродѣтель, а отецъ мой признавался всѣми учителемъ.

„— Хорошо,—отвѣтилъ варваръ.—Надо думать, что и въ тебѣ есть зерно его ученія. Итакъ, возьми же посохъ и иди рано въ путь. Страна, гдѣ чтятъ истинную мудрость, будетъ твоею страной, а мудрѣйшій изъ ея жителей — твой отецъ.

„И юноша рано на зарѣ пустился въ дорогу...”

— Онъ нашелъ, кого искалъ?

— Онъ ищетъ его до сихъ поръ. Онъ узналъ много странъ, много городовъ, много людей. Онъ изучилъ земные пути, переплылъ бурные понты, изслѣдовалъ тропы свѣтилъ, указующихъ пути въ безбрежныхъ пустыняхъ. И всякій разъ, когда въ трудномъ пути, въ темнотѣ ночи, глазамъ его являлся привѣтный огонь, сердце его билось сильнѣе и въ душѣ вставала надежда: „Это пріютъ въ домѣ отца моего!“ Когда же радушный хозяинъ предлагалъ истомленному страннику привѣтъ, благословеніе и отдыхъ у своего очага, то растроганный юноша припадалъ къ его ногамъ и говорилъ: „Благодарю тебя, отецъ мой! Не узнаешь ли ты своего пропавшаго сына?“

„И многіе готовы были усыновить его, потому что въ

тѣ времена похищенія дѣтей были часты... Но послѣ первыхъ восторговъ юноша начиналъ замѣчать въ воображаемомъ отцѣ слѣды несовершенства, а иногда и пороковъ. Тогда онъ начиналъ изслѣдовать и искушать, приставая къ нему со своими вопросами о правдѣ и неправдѣ... И его скоро прогоняли изъ-подъ гостепріимнаго крова на трудъ и холодъ новаго пути. Не одинъ разъ онъ говорилъ себѣ: „Останусь у этого послѣдняго очага, сохраню эту послѣднюю вѣру. Пусть будутъ они мнѣ вмѣсто отеческаго крова...“

— Знаешь что, это, пожалуй, было бы благоразумнѣе, Сократъ.

— Порой онъ думалъ, какъ и ты. Но привычка къ изслѣдованію и смутная мечта объ отцѣ не давали ему покоя. И опять отряхалъ онъ прахъ отъ своихъ ногъ, и опять бралъ страннической посохъ, и не всегда бурная ночь заставляла его подъ кровлей... Не находишь ли ты, что судьба юноши напоминаетъ судьбу человѣческаго рода?

— О лукавый мудрецъ, о рыба торпиль, я понимаю теперь, къ чему ведетъ твоя притча!... Ну, таѣъ я скажу тебѣ прямо: пусть только мелькнетъ свѣтъ въ этой тьмѣ, и ты увидишь, стану ли я искушать хозяина ненужными вопросами...

— Другъ, свѣтъ уже мелькаетъ,—отвѣтилъ Сократъ.

V.

Казалось, слова философа должны были оправдаться. Гдѣ-то высоко, за дымною пеленой, скользнулъ далекій лучъ и исчезъ въ горнихъ предѣлахъ. За нимъ другой, третій... Казалось, тамъ, за предѣлами тьмы, рѣютъ какіе-то свѣтлые геніи, свершается великая тайна, чье-то чудится живое дыханіе, готовится какое-то великое торжество.

Но это было далеко. А надъ землею тѣни сгущались, клубились дымныя тучи, свиваясь и развиваясь, перегоная другъ друга, безъ конца и перерыва...

Синій огонь упалъ съ отдаленной вершины въ глубокую пропасть и тучи поднялись выше, покрывая небо до самаго зенита.

А лучи уходили все дальше и дальше, какъ будто имъ не было дѣла до этой мрачной и затѣненной равнины.

Сократъ стоялъ, слѣдя за ними грустнымъ взглядомъ. Елпидій со страхомъ смотрѣлъ на вершину.

— Посмотри, Сократъ, что увидишь ты тамъ, на горѣ?

— Другъ, — отвѣтилъ философъ, — изслѣдуемъ положеніе. Такъ какъ мы идемъ, то, значитъ, идемъ къ нѣкоторой цѣли, и какъ земная жизнь должна имѣть предѣлы, то думаю, что предѣлъ этотъ на рубежѣ двухъ началъ: въ борьбѣ свѣта и тьмы вѣнецъ нашихъ усилій. А такъ какъ у насъ не отнята способность мышленія, то думаю, что божеству, давшему жизнь нашей мысли, угодно, чтобы мы изслѣдовали самые предѣлы

нашихъ стремленій. Итакъ, Елпидій, подготовимся встрѣтить зарю позади этихъ тучъ...

— О, добрый товарищъ! Если такова заря, то я предпочелъ бы, чтобы вѣчно длилась прежняя безотрадная, долгая, но спокойная ночь... Не находишь ли ты, что время проходило у насъ сносно въ поучительной бесѣдѣ? А теперь душа содрогается передъ надвигающеюся грозой. Нѣтъ, что ни говори, а тамъ, впереди, не простыя тѣни безжизненной ночи... Вотъ еще одна Зевсова стрѣла метнулась въ бездонную пропасть...

Ктезиппъ посмотрѣлъ на вершину и ужасъ сковалъ его душу. Великіе, мрачные образы олимпійцевъ тѣснились, вѣнчая гору, загораживая дорогу. Послѣдній лучъ скользнулъ еще разъ поверхъ туманныхъ нимбовъ и умеръ, какъ слабое воспоминаніе. И ночь съ надвигающеюся грозой воцарилась безраздѣльно, а темные образы заняли все небо... Въ серединѣ, съ головой, увѣнчанною нимбомъ, увидѣлъ Ктезиппъ могучаго Кронида. Кругомъ толпились гнѣвные фигуры старшихъ боговъ, сматенныя и въ мрачномъ движеніи. Какъ стаи птицъ, летящія въ вечернюю даль, какъ пыль, взметаемая ураганомъ, какъ осенніе листья, гонимые бореємъ рѣяли длиною тучей безчисленныя меньшія божества народной вѣры... И Зевсовъ громъ гремѣлъ надъ равниной, и скалы долго дрожали въ отвѣтъ послѣ каждаго удара. А когда огонь угасалъ и раскаты смолкали, сгущалась тьма и въ испуганной тишинѣ слышались глухіе стоны. Каза-лось, въ сердцѣ земли стонали отъ ударовъ Кронида скованные титаны...

Когда же тучи двинулись съ вершины и мрачный ужасъ ринулся передъ ними, обвѣивая землю, Ктезиппъ упалъ ницъ: онъ признавался впослѣдствіи, что въ эту страшную минуту онъ забылъ всѣ выводы и всѣ заключенія, такъ какъ душа его умалилась отъ страха и надъ ней властно пронесся страхъ...

Онъ только слушалъ.

Два голоса звучали тамъ, гдѣ молчала вся оцѣпенѣвшая природа. Одинъ — могучій и грозный голосъ божества; другой — былъ слабый голосъ человѣка, приносимый вѣтромъ со склона горы, гдѣ Ктезиппъ оставилъ Сократа.

— Ты ли, — говорилъ голосъ изъ тучи, — дерзкій Сократъ, надменный разумомъ, боровшійся съ богами земли и неба? Не было безсмертныхъ веселѣе и свѣтлѣе насъ, олимпійцевъ; теперь давно уже проводимъ мы свои дни въ сумеркахъ отъ невѣрія и сомнѣній, воцарившихся на землѣ... Однако, никогда еще эти туманы не сгущались такъ сильно, какъ съ тѣхъ поръ, когда среди любезныхъ нѣкогда Аѳинъ слышалось ненавистное слово твое, сынъ Софрониска. Почему не слѣдовалъ ты завѣтамъ отца твоего? Добрый Софронискъ позволялъ себѣ, особенно въ молодые годы, небольшія кощунства, но все же не одинъ разъ запахъ его жертвъ радовалъ наше обоняніе...

— Остановись, Кронида, — сказалъ Сократъ, — и разрѣши мое недоумѣніе: итакъ, малодушное лицемѣріе предпочитаешь ты исканію истины?

Вслѣдъ за этимъ вопросомъ скалы дрогнули отъ учащенныхъ ударовъ. Первое дыханіе грозы промчалось и

стихло въ дальнихъ ущельяхъ, но склоны горы все еще дрожали, потому что все еще дрожалъ отъ гнѣва возсѣдающій на ея вершинѣ.

— Гдѣ ты теперь, дерзкій вопрошатель? — раздался насмѣшливый голосъ олимпійца.

— Я здѣсь, Кронидъ, здѣсь, на томъ же самомъ мѣстѣ, и только твой отвѣтъ подвинетъ меня дальше. Я жду.

Громъ заворчалъ въ тучѣ, какъ дикій звѣрь, удивленный безстрашіемъ ливійца-укротителя, когда онъ, безоружный, подходитъ къ нему съ яснымъ взглядомъ. И черезъ нѣсколько мгновеній голосъ прошумѣлъ вновь надъ равниной:

— О, сынъ Софрониска! не довольно ли тебѣ, что на землѣ ты расплодилъ столько сомнѣній, что даже здѣсь, на Олимпѣ, они окружили насъ темными облаками? Поистинѣ, иные дни, когда ты бесѣдовалъ на площадяхъ, въ академіяхъ или въ публичныхъ раздѣвальныхъ,—намъ казалось порой, что ты разрушилъ уже на землѣ всѣ алтари и что это пылъ отъ развалинъ несется къ намъ въ горнія... Тебѣ мало: ты и здѣсь, передъ лицомъ моимъ, не признаешь власти безсмертныхъ...

— Зевсъ, ты сердишься. Скажи, кто далъ мнѣ то геніальное, что тревожило всю жизнь мою душу, побуждая меня неустанно стремиться къ истинѣ?

Въ тучѣ царствовало таинственное безмолвіе.

— Не ты ли? Ты молчишь. Итакъ, я изслѣдую дѣло. Или это божественное начало дано тобою, или другимъ. Если оно дано тобою, то тебѣ же я несу его въ даръ,

Когда же тучи двинулись съ вершины и мрачный ужасъ ринулся передъ ними, обвѣивая землю, Ктезиппъ упалъ ницъ: онъ признавался въ послѣдствіи, что въ эту страшную минуту онъ забылъ всѣ выводы и всѣ заключенія, такъ какъ душа его умалилась отъ страха и надъ ней властно пронесся страхъ...

Онъ только слушалъ.

Два голоса звучали тамъ, гдѣ молчала вся оцѣпенѣвшая природа. Одинъ — могучій и грозный голосъ божества; другой — былъ слабый голосъ человѣка, приносимый вѣтромъ со склона горы, гдѣ Ктезиппъ оставилъ Сократа.

— Ты ли, — говорилъ голосъ изъ тучи, — дерзкій Сократъ, надменный разумомъ, боровшійся съ богами земли и неба? Не было безсмертныхъ веселѣе и свѣтлѣе насъ, олимпійцевъ; теперь давно уже проводимъ мы свои дни въ сумеркахъ отъ невѣрія и сомнѣній, воцарившихся на землѣ... Однако, никогда еще эти туманы не сгущались такъ сильно, какъ съ тѣхъ поръ, когда среди любезныхъ нѣкогда Аѳинъ послышалось ненавистное слово твое, сынъ Софрониска. Почему не слѣдовалъ ты завѣтамъ отца твоего? Добрый Софронискъ позволялъ себѣ, особенно въ молодые годы, небольшія кощунства, но все же не одинъ разъ запахъ его жертвъ радовалъ наше обоняніе...

— Остановись, Кронидъ, — сказалъ Сократъ, — и разрѣши мое недоумѣніе: итакъ, малодушное лицемеріе предпочитаешь ты исканію истины?

Вслѣдъ за этимъ вопросомъ скалы дрогнули отъ ударовъ. Первое дыханіе грозы промчалось

стихло въ дальнихъ ущельяхъ, но склоны горы все еще дрожали, потому что все еще дрожалъ отъ гнѣва возсѣдающій на ея вершинѣ.

— Гдѣ ты теперь, дерзкій вопрошатель? — раздался насмѣшливый голосъ олимпійца.

— Я здѣсь, Кронидъ, здѣсь, на томъ же самомъ мѣстѣ, и только твой отвѣтъ подвинетъ меня дальше. Я жду.

Громъ заворчалъ въ тучѣ, какъ дикій звѣрь, удивленный безстрашіемъ ливійца-укротителя, когда онъ, безоружный, подходитъ къ нему съ яснымъ взглядомъ. И черезъ нѣсколько мгновеній голосъ прошумѣлъ вновь надъ равниной:

— О, сынъ Софрониска! не довольно ли тебѣ, что на землѣ ты расплодилъ столько сомнѣній, что даже здѣсь, на Олимпѣ, они окружили насъ темными облаками? Поистинѣ, иные дни, когда ты бесѣдовалъ на площадяхъ, въ академіяхъ или въ публичныхъ раздѣвальныхъ,—намъ казалось порой, что ты разрушилъ уже на землѣ всѣ алтари и что это пылъ отъ развалинъ несется къ намъ въ горнія... Тебѣ мало: ты и здѣсь, передъ лицомъ моимъ, не признаешь власти безсмертныхъ...

— Зевсъ, ты сердишься. Скажи, что далъ мнѣ то геніальное, что тревожило всю жизнь мою душу, побуждая меня неустанно стремиться къ истинѣ?

Въ тучѣ царствовало таинственное безмолвіе.

— Не ты ли? Ты молчишь. Итакъ, я изслѣдую дѣло. Или это божественное начало дано тобою, или другимъ. Если оно дано тобою, то тебѣ же я несу его въ даръ,

Когда же тучи двинулись съ вершины и мрачный ужась ринулся передъ ними, обвѣивая землю, Ктезиппъ упалъ ницъ: онъ признавался въ послѣдствіи, что въ эту страшную минуту онъ забылъ всѣ выводы и всѣ заключенія, такъ какъ душа его умалилась отъ страха и надъ ней властно пронесся страхъ...

Онъ только слушалъ.

Два голоса звучали тамъ, гдѣ молчала вся оцѣпенѣвшая природа. Одинъ — могучій и грозный голосъ божества; другой — былъ слабый голосъ человѣка, прикосимый вѣтромъ со склона горы, гдѣ Ктезиппъ оставилъ Сократа.

— Ты ли, — говорилъ голосъ изъ тучи, — дерзкій Сократъ, надменный разумомъ, боровшійся съ богами земли и неба? Не было безсмертныхъ веселѣе и свѣтлѣе насъ, олимпійцевъ; теперь давно уже проводимъ мы свои дни въ сумеркахъ отъ невѣрія и сомнѣній, воцарившихся на землѣ... Однако, никогда еще эти туманы не сгущались такъ сильно, какъ съ тѣхъ поръ, когда среди любезныхъ нѣкогда Аѳинъ слышалось ненавистное слово твое, сынъ Софрониска. Почему не слѣдовалъ ты завѣтамъ отца твоего? Добрый Софронискъ позволялъ себѣ, особенно въ молодые годы, небольшія кощунства, но все же не одинъ разъ запахъ его жертвъ радовалъ наше обоняніе...

— Остановись, Кронидъ, — сказалъ Сократъ, — и разрѣши мое недоумѣніе: итакъ, малодушное лицемѣріе предпочитаешь ты исканію истины?

Вслѣдъ за этимъ вопросомъ скалы дрогнули отъ учащенныхъ ударовъ. Первое дыханіе грозы промчалось и

стихло въ дальнихъ ущельяхъ, но склоны горы все еще дрожали, потому что все еще дрожалъ отъ гнѣва возсѣдающій на ея вершинѣ.

— Гдѣ ты теперь, дерзкій вопрошатель? — раздался насмѣшливый голосъ олимпійца.

— Я здѣсь, Кронидъ, здѣсь, на томъ же самомъ мѣстѣ, и только твой отвѣтъ подвинетъ меня дальше. Я жду.

Громъ заворчалъ въ тучѣ, какъ дикій звѣрь, удивленный безстрашіемъ ливійца-укротителя, когда онъ, безоружный, подходитъ къ нему съ яснымъ взглядомъ. И черезъ нѣсколько мгновеній голосъ прошумѣлъ вновь надъ равниной:

— О, сынъ Софрониска! не довольно ли тебѣ, что на землѣ ты расплодилъ столько сомнѣній, что даже здѣсь, на Олимпѣ, они окружили насъ темными облаками? Поистинѣ, иные дни, когда ты бесѣдовалъ на площадяхъ, въ академіяхъ или въ публичныхъ раздѣвальныхъ,—намъ казалось порой, что ты разрушилъ уже на землѣ всѣ алтари и что это пылъ отъ развалинъ несется къ намъ въ горнія... Тебѣ мало: ты и здѣсь, передъ лицомъ моимъ, не признаешь власти безсмертныхъ...

— Зевсъ, ты сердишься. Скажи, кто далъ мнѣ то геніальное, что тревожило всю жизнь мою душу, побуждая меня неустанно стремиться къ истинѣ?

Въ тучѣ царствовало таинственное безмолвіе.

— Не ты ли? Ты молчишь. Итакъ, я изслѣдую дѣло. Или это божественное начало дано тобою, или другимъ. Если оно дано тобою, то тебѣ же я несу его въ даръ,

какъ созрѣвшій плодъ моей жизни, какъ пламя отъ зароненной тобою искры. Смотри, Кронидъ, я сохранилъ твой даръ; въ лучшемъ углу моего сердца я взростилъ твое сѣмя. Вотъ онъ, огонь моей души, который горѣлъ въ горькую минуту, когда я собственною рукой обрѣзывалъ пить моей жизни. Отчего же ты не примешь его, начѣмъ ты сердиться, какъ плохой наставникъ, которому старость мѣшаетъ разглядѣть, что отрокъ-ученикъ чертитъ на послушномъ воскѣ его собственныя повелѣнія?... Кто же ты, повелѣвающий мнѣ погасить священный огонь, осѣщавшій мою жизнь съ тѣхъ поръ, какъ въ нее проникъ первый лучъ святой мысли? Солнце не говоритъ звѣздамъ: угасните, чтобы мнѣ взойти. Оно всходитъ и слабое сіяніе звѣзды утопаетъ въ свѣтѣ безконечно сильнѣйшемъ. День не говоритъ факелу: погасни,—ты мнѣ мѣшаешь. Онъ разгорается и факель дымить, но не свѣтитъ. Божество, къ которому я иду,— не ты, боящійся сомнѣній. Онъ, какъ день, онъ какъ солнце, свѣтитъ самъ, не угашая ничьего свѣта. Тотъ, который скажетъ мнѣ: странникъ, дай мнѣ твой факель, онъ не нуженъ тебѣ больше, потому что я—источникъ всякаго свѣта... Тотъ, кто скажетъ: сложи на моемъ алтарѣ слабый даръ твоихъ сомнѣній, потому что во мнѣ разрѣшеніе,—тотъ мой Богъ, котораго я ищу. Если это ты, то прими мои вопросы. Никто не убиваетъ своего дѣтища, а мои сомнѣнія—порожденіе вѣчнаго духа, которому имя—Истина!

Темныя тучи разорвались отъ края и до края небесными огнями и въ крикахъ неистовой бури опять раздался могучій голосъ:

— Къ чему вели твои сомнѣнія, надменный мудрецъ, отринувшій смиреніе, лучшее украшеніе земныхъ добродѣтелей? Ты оставилъ пріютный кровъ простодушной вѣры, чтобы вступить въ пустыню сомнѣній. Ты видѣлъ его,—этотъ мертвый просторъ, оставленный живыми богами. Тебѣ ли пройти эту пустыню, ничтожному червю, ползающему въ прахѣ своего жалкаго отрицанія? Тебѣ ли оживить міръ, тебѣ ли постигнуть невѣдомое божество, которому ты не умѣешь молиться? Ничтожный мусорщикъ, запачканный пылью разрушенныхъ алтарей, не ты ли зодчій, которому суждено воздвигать новые храмы?... На что же надѣешься ты, отринувшій старыхъ боговъ и не знающій новаго? Вѣчная ночь неисходныхъ сомнѣній—таковъ вашъ міръ, жалкіе черви, истачивающіе живую вѣру, прибѣжище простыхъ сердецъ, вселенную обратившіе въ мертвый хаосъ... Что же, гдѣ ты теперь, ничтожный и дерзкій мудрецъ?

Буря одна властно гремѣла на просторѣ... Потомъ стихли громы, вѣтеръ смежилъ свои крылья и только потоки дождя лились во мглѣ, точно обильныя, неуправляемыя слезы, готовые поглотить землю, покрыть ее потокомъ неутолимой скорби... И Ктезиппу казалось, что они поглотили учителя, что навсегда уже смолѣлъ безстрашный голосъ, привыкшій къ неустаннымъ вопросамъ. Но черезъ минуту онъ раздался снова на томъ же мѣстѣ:

— Слова твои, Кронидъ, попадаютъ лучше твоихъ громовъ. Ты бросилъ въ смущенную душу то, что давно уже и не разъ звучало въ моемъ сердцѣ, и каждый разъ оно изнемогало подъ бременемъ невыносимой скорби. Да,

я оставилъ пріютный кровъ, гдѣ царилъ простодушная вѣра; да, я видѣлъ ее, пустыню, лишенную живыхъ боговъ, окутанную ночью непроглядныхъ сомнѣній. Но я безстрашно вступилъ въ нее, потому что мнѣ свѣтилъ мой геній, божественное начало всякой жизни. Изслѣдуемъ вопросъ: не во имя ли Того, кто даетъ жизнь, курятся еиміамы на твоихъ алтаряхъ? Ты—похититель чужого: не тебѣ, а Ему поклоняется простодушная вѣра, но не Его ли также ищетъ неусыпающее сомнѣніе? Да, я не зодчій, я не создатель новаго храма, не мнѣ было суждено на старомъ мѣстѣ поднять отъ земли къ небу величавое зданіе грядущей вѣры. Я—мусорщикъ, запачканный пылью разрушенія. Но, Кронидъ, совѣсть говоритъ мнѣ, что и работа мусорщика нужна для храма. Когда на расчищенномъ мѣстѣ стройно и величаво воздвигнется чудное зданіе и въ немъ воцарится живое божество новой вѣры, я, скромный мусорщикъ, приду къ Нему и скажу: вотъ я, безъ усталы ползавшій въ прахъ отрицанія. Окруженному туманомъ и пылью, мнѣ некогда было поднять глаза отъ земли, въ моемъ умѣ лишь слабо рисовалась мечта будущаго созиданія... Отринешь ли Ты меня, праведный, истинный и великій?...

Въ тучѣ царило удивленное молчаніе, а Сократъ возвысилъ свой голосъ и продолжалъ:

— Солнечный лучъ падаетъ на грязную лужу и легкій паръ, оставивъ на землѣ грязныя части, тяжелыя и бранныя, тянется къ свѣтлому геліосу и таетъ, растворяясь въ эфирѣ. Ты тронулъ своимъ лучомъ мою грязную душу и она устремилась къ Тебѣ, Невѣдомый, чье

имя—Тайна... Я искалъ Тебя, потому что Ты въ истинѣ, я стремился къ Тебѣ, потому что Ты въ справедливости, я любилъ Тебя, потому что Ты въ любви, для Тебя я умеръ, потому что Ты — источникъ жизни... Неужели Ты отринешь меня, Невѣдомый? Мои тяжкія сомнѣнія, мои жгучія иснанія, мою трудную жизнь, мою вольную смерть—прими ихъ, какъ безкровную жертву, какъ одну молитву, какъ вздохъ о Тебѣ, какъ летучую струйку бременаго пара принимаетъ безграничный океанъ чистаго эфира. Прими ихъ Ты, котораго я не знаю имени, не дай туманнымъ призракамъ пройденной ночи заградить мой путь къ Твоему вѣчному свѣту... Уступите же съ дороги, туманныя тѣни, заграждающія свѣтъ зари! Я говорю вамъ, боги моего народа: вы неправедны, олимпійцы, а гдѣ нѣтъ правды, тамъ и истина—только призракъ. Къ такому заключенію пришелъ я, Сократъ, привыкшій изслѣдовать разныя основанія.

„Итакъ, разступись же мертвый туманъ, я иду своею дорогой, къ Тому, Кого искалъ всю мою жизнь...

„Я иду.“

Громъ загремѣлъ, но короткій, отрывистый, какъ будто эгидъ выпалъ изъ ослабѣвшей руки громовержца. Голоса бури, колеблясь, ринулись по уступамъ горъ, прошумѣли въ тѣснинахъ и, удаляясь, замирали въ ущельяхъ. И на ихъ мѣстѣ слышались иные, невѣдомые, чудные звуки...

Когда Ктезиппъ открылъ изумленные глаза, передъ нимъ встало невиданное зрѣлище. Ночь уходила, тучи разсѣялись. Тѣни боговъ быстро неслись по лазури,

точно золотой узоръ на краяхъ чьей-то ризы. Другія мелькали по дальнимъ уступамъ и ущельямъ, и Елпидій, маленькая фигура котораго виднѣлась надъ расщелиной, простиралъ къ нимъ руки, какъ бы умоляя исчезающихъ о рѣшеніи судьбы.

А вершина горы уже вся вышла изъ таинственныхъ облаковъ и сіяла, какъ факелъ, надъ синею мглой долины. И хотя не было на ней ни громовержца Кронида, ни другихъ олимпійцевъ, только горная вершина, свѣтъ солнца и высокое небо, но Ктезиппъ ясно чувствовалъ, что вся природа до послѣдней былинки проникнута біеніемъ единой таинственной жизни. Чье-то дыханіе слышалось въ ласкающемъ вѣяніи воздуха, чей-то голосъ звучалъ чудною гармоніей, чьи-то чуались невидимые шаги въ торжественномъ шествіи сіяющаго дня. И еще человекъ стоялъ на освѣщенной вершинѣ и простиралъ руки въ молчаливомъ восторгѣ и могучемъ стремленіи.

Мгновеніе — и все исчезло, и сіяніе обыкновеннаго дня показалось проснувшейся душѣ Ктезиппа жалкими сумерками въ сравненіи съ улетѣвшимъ ощущеніемъ природы, проникнутой вѣяніемъ единой, невѣдомой жизни.

.
Въ глубокомъ молчаніи выслушали ученики погибшаго философа странный рассказъ Ктезиппа. Платонъ первый прервалъ молчаніе.

— Изслѣдуемъ,—сказалъ онъ,—сонъ и его значеніе.

— Изслѣдуемъ,—отвѣтили остальные.

СУДНЫЙ ДЕНЬ.

(„ІОМЪ-КИПУРЪ“ *).

(Малорусская сказка).

Огонь погасъ, а мѣсяцъ всходитъ,
Въ лѣсу пасется волколакъ...

(Шевченко).

Вотъ что: выйди ты, человѣче, въ ясную ночь изъ своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочекъ, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, какъ по небу ходитъ ясный мѣсяцъ, какъ мигаютъ и искрятся звѣзды, какъ встаютъ отъ земли легкія тучи и бредутъ куда-то, одна за другой, будто запоздалые странники ноч-

*) Черезъ десять дней послѣ еврейскаго новаго года, который празднуется раннею осенью, наступаетъ у евреевъ праздникъ Іомъ-Кипуръ (очищенія). Мѣстное христіанское населеніе называетъ этотъ день „суднымъ днемъ“. Существуетъ повѣрье, что въ этотъ день еврейскій чортъ, Халуунъ, уноситъ изъ синагоги одного еврея. Къ этому повѣрью подали поводъ, вѣроятно, чрезвычайно трогательные и исполненные особенной драматической экспрессіи обряды, сопровождающіе празднованіе Іомъ-Кипура и совершающіеся въ маленькихъ городишкахъ Западнаго края на-виду у христіанскаго населенія.

ною дорогой... А лёсъ стоитъ заколдованный и слушаетъ, какія чары встаютъ въ немъ съ полуночи, а сонная рѣчка бѣжитъ и журчитъ и бормочетъ что-то надбережнымъ яворамъ... И скажи ты мнѣ, послѣ этого, человѣче божій: чего только, какихъ чудесъ не можетъ случиться вонъ въ этой божьей хаткѣ, что люди называютъ бѣлымъ свѣтомъ?

Все можетъ случиться. Вотъ съ знакомымъ моимъ, новокаменскимъ мельникомъ, тоже разъ приключилась исторія... Если вамъ еще никто не рассказывалъ, такъ я, пожалуй, расскажу, только ужъ вы не требуйте, чтобъ я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь, потому что хоть слыхалъ я ее отъ самого мельника, а все-таки и до сихъ поръ не знаю: было это на самомъ дѣлѣ, или не было...

Ну, да ужъ было или не было, а рассказывать надо, какъ было.

Разъ вечеромъ, послѣ вечерней службы въ Новой Каменкѣ,—а мельница отъ села верстахъ этакъ въ полоторыхъ, не болѣе,—мельникъ вернулся къ себѣ что-то не очень въ духѣ. А отчего бы ему быть не въ духѣ, этого онъ и самъ толкомъ не сказалъ бы. Въ церкви все шло какъ слѣдуетъ, и нашъ мельникъ, горланъ не изъ послѣднихъ, читалъ на клиросѣ такъ громко, да такъ быстро, что и привычные люди удивлялись. „Вотъ какъ чешетъ, вражій сынъ,—говорили добрые люди съ великимъ респектомъ,—хоть бы тебѣ одно слово понять можно было. Чистое колесо: вертѣтся-катѣтся и знаешь, что есть въ немъ спицы, а поди-ка углади хоть

одну. Такъ вотъ и онъ читаетъ: рѣчь какъ кованое колесо по камню гремитъ, а слово ни за какія деньги не ухватишь“.

А мельникъ слушалъ, что люди промежъ себя говорятъ, и радовался. Умѣлъ-таки потрудиться для Господа-Бога: языкомъ, какъ иной здоровенный парубокъ цѣпомъ на току, молотилъ, такъ что даже въ горлѣ въ концу пересохло и очи на лобъ полѣзли.

Послѣ службы батюшка къ себѣ мельника позвалъ, чаемъ напоилъ, да и графинчикъ съ травникомъ на столъ поставили полный, а со стола убрали пустой. Послѣ этого мѣсяцъ уже стоялъ высоко надъ полями и дрожалъ отраженіемъ въ маленькой, но быстрой рѣчкѣ Каменкѣ, когда мельникъ вышелъ изъ поповскаго дома и пошелъ по селу, къ себѣ на мельницу.

Изъ сельскихъ людей кто уже спалъ, кто сидѣлъ при свѣтѣ каганцовъ въ хатахъ за вечерей, а были и такіе, которыхъ теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидѣли себѣ старые люди на призьбахъ (заваленкахъ), а молодые подъ тынами, въ густой тѣни отъ хатъ да отъ вишневыхъ садовъ, такъ что и разглядѣть было невозможно, и только тихій говоръ людской слышался и тамъ и сямъ, а то и сдержанный смѣхъ или иной разъ—неосторожный поцѣлуй какой-нибудь молодой пары... Эй, мало ли что дѣется порой въ густой тѣни подъ вишнями вотъ въ такую ясную да теплую ночь!

Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видѣли мельника, потому что онъ шелъ самую середину улицы по мѣсяцу. И потому кое-гдѣ ему говорили:

— Добрый вечеръ, господинъ мельникъ. А не отъ батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились такъ долго?

Всѣ знали, что больше не отъ кого ему и идти, но мельнику это было пріятно, и онъ отвѣчалъ не безъ гордости и не задерживая шагу:

— Ага, загостился-таки немного!—и шелъ себѣ дальше прегордою поступью...

А иные такъ и не говорили мельнику „здравствуйте“, а сидѣли тихенько подъ навѣсами и только ждали, чтобы онъ прошелъ поскорѣе и не замѣтилъ бы, что они тутъ. Но не такой былъ человѣкъ мельникъ, чтобы пройти мимо или позабыть тѣхъ людей, которые ему должны за муку или за помолъ, или просто взяли у него денегъ за проценты. Ничего, что ихъ плохо было видно въ тѣни и что они молчали, будто воды набрали въ ротъ,—мельникъ все-таки останавливался и говорилъ самъ:

— А здоровеньки были! Тутъ вы? Молчите или не молчите, это какъ себѣ хотите, а мнѣ должно припаять, потому что срокъ завтра, утромъ-раненько. А я ждать не стану, вотъ что!

И послѣ этого опять шелъ дальше по улицѣ и его тѣнь бѣжала съ нимъ рядомъ, да такая черная-пречерная, что мельникъ, человѣкъ книжный и всегда готовый при случаѣ пошевелить мозгами, думалъ про себя:

— Вотъ какая черная тѣнь, даже удивительно!... На человѣкѣ надѣта свитка бѣлѣе муки, а тѣнь отъ нея чернѣе сажи...

Тутъ поровнялся онъ съ шинкомъ жида Янвеля, что

стоялъ на горкѣ, недалеко уже отъ выѣзда. Шабашъ уже кончился съ закатомъ солнца, но все-таки въ шинкѣ хозяина не было, а сидѣлъ жидовскій наймитъ Харько, который всегда замѣнялъ Янкеля и его бахорей по шабашамъ и въ праздники. Онъ зажигалъ имъ свѣчи и принималъ своими руками деньги отъ людей, потому что жида—это ужъ всему свѣту извѣстно—строго наблюдаютъ свою вѣру: ни за что въ праздникъ ни свѣчей не зажгутъ, ни денегъ въ руки не возьмутъ,—грѣхъ! Все это за нихъ и дѣлалъ наймитъ Харько, изъ отставныхъ солдатъ, а Янкель, или Янкелѣха, а то и бахори только слѣдили зоркими очами, чтобы какъ-нибудь пятакъ или тамъ двадцатка вмѣсто выручки не попали какимъ-нибудь способомъ въ карманъ къ Харьку. „Хитрый народъ, ой и хитрый же!—думалъ про себя мельникъ.— Умѣютъ и Богу своему угодить, и грошей не упустятъ. Да и разумный народъ, это тоже надо сказать,—гдѣ нашимъ!“

Онъ остановился у входа въ шинокъ, на площадкѣ, крѣпко утопанной множествомъ людскихъ ногъ, что толклись тутъ и въ базаръ, и въ простые дни, всю недѣлю, —и спросилъ:

— Янкель! Эй, Янкель! Дома ты, или можетъ тебя нѣту?

— Нѣту, не видишь что ли?—отвѣчалъ наймитъ изъ-за стойки.

— А гдѣ?

— Гдѣ?—въ городѣ, вотъ гдѣ,—отвѣчалъ наймитъ.— Вы, господинъ мельникъ, развѣ не знаете, какой у нихъ день?

— А какой?

— Юмъ-вицуръ!

„Вотъ объяснилъ, такъ объяснилъ!“ — подумалъ про себя мельникъ. А надо вамъ сказать, наймитъ этотъ, хоть и былъ себѣ простой наймитъ, да не то, что простой, а еще и жидовскій,—все-таки человѣкъ былъ письменный, служивый и прегордый. Любилъ задирать носъ кверху и величаться, а особливо передъ мельникомъ. На влиросѣ тоже читалъ, пожалуй, не хуже самого мельника, только что голосъ имѣлъ съ трещиной и забиралъ въ носъ. Поэтому въ Часословѣ еще могъ съ Филиппомъ Гладкимъ тягаться, а ужъ въ Апостолѣ никакимъ способомъ. За то въ чемъ другомъ ни за что бывало не уступить. Мельникъ скажетъ одно слово, а онъ ему на-встрѣчу другое, да какъ разъ еще противное. Мельникъ скажетъ иной разъ „не знаю“, а наймитъ тотчасъ: „а я такъ знаю“. Непріятный человѣкъ... Вотъ и теперь загнулъ такое слово, что мельникъ даже подъ шапкою ногтями заскребъ, а самъ еще радуется.

— Да вы можете и теперь не догадались, какой это день?

— А что мнѣ и знать всякій жидовскій праздникъ!—отвѣтилъ мельникъ съ досадой.—Развѣ я у нихъ служу или что?

— Всякій? То-то вотъ и есть, что не всякій! Сегодня у нихъ такой праздникъ, что только разъ въ годъ и случается. Да это еще что! А вотъ я вамъ что скажу: такого другого праздника на всемъ свѣтѣ ни у одного народа не бываетъ.

— Ну, вы скажете!

— Про Хапуна, я думаю, и вы слышали.

— А!

Мельникъ только свиснулъ,—какъ же это онъ въ самомъ дѣлѣ не догадался,—и заглянулъ въ окна жидовской хаты: тамъ, на полу, были разостланы сѣно и трава, въ двойныхъ и тройныхъ свѣтильникахъ горѣли тонкія сальныя свѣчи-мока́нки и слышалось жужжаніе какъ будто отъ нѣсколькихъ здоровенныхъ, въ ростъ человѣка, пчелъ. То молодая, недавно еще взятая Янкелемъ, вторая жена и нѣсколько жиденятъ, закрывъ глаза и чмокая губами, жужжали какія-то молитвы, въ которыхъ слова схватить было невозможно. Однако же, было что-то такое въ этомъ моленіи удивительное: казалось, кто-то другой сидитъ внутри жидовъ, сидитъ и плачетъ, и причитаетъ, воспоминаетъ и проситъ. А кого и о чемъ?—кто ихъ знаетъ! Только какъ будто бы уже не о шинкѣ и не о деньгахъ...

У мельника стало отъ той жидовской молитвы что-то сумно на душѣ—и жутко, и жалко. Онъ переглянулся съ наймитомъ, которому тоже слышно было жужжаніе изъ-за корчемной двери, и сказалъ:

— Молятся!... Такъ, говоришь, Янкель поѣхалъ въ городъ?

— Поѣхалъ.

— И что ему за охота? Ну, какъ его-то какъ разъ Хапунъ и цапнетъ?

— То-то и оно!—отвѣтилъ наймитъ.—Кабы тамъ на меня, то даромъ, что я воевалъ со всякимъ бусурманъ

скимъ народомъ и имѣю медаль,—а ни за какія бы, кажется, карбованцы не поѣхалъ. Сидѣлъ бы себѣ въ хатѣ,—небось изъ хаты не выхватить.

— А почему? Если ужъ кого схватить, то схватить и въ хатѣ. Почему въ хатѣ нельзя?

— Почему!... Чудно и спрашивать, почему. Если вамъ нужно выбрать шапку или хоть рукавицы, вы куда за ними пойдете?

— Да никуда, какъ въ лавку.

— А почему въ лавку?

— Вотъ еще! Потому, что въ лавкѣ шапокъ видимо-невидимо.

— Вотъ то-то и оно. Посмотрѣли бы вы теперь въ синагогѣ: тамъ тоже жидовъ видимо-невидимо! Толкуются, плачутъ, кричатъ такъ, что по всему городу слышно, отъ заставы и до заставы. А гдѣ толкунъ мошвары толчется, туда и птица летитъ. Дуракъ бы былъ и Хапунъ, еслибы сталъ, вмѣсто того, по лѣсамъ, да по селамъ рыскать и высматривать. Ему только одинъ день въ году и дается, а онъ бы его такъ весь и пролеталъ понапрасну. Еще въ которой деревнѣ есть жидъ, а въ которой можетъ и не найдется.

— Ну, такихъ мало.

— Хоть мало, а все-таки... Притомъ изъ многолюдства и выбирать много лучше.

Оба замолчали. Мельникъ подумалъ, что опять его наймать зашибъ хитрыми словами, и ему стало опять непріятно. А изъ оконъ все несло жужжаніе, и плачь, и причитаніе жидовъ.

— Можетъ батька отмаливаютъ?—сказалъ мельникъ.

— А все можетъ быть.

— Да это еще правда ли?—заговорилъ мельникъ, которому захотѣлось и наймита подразнить, да и жиды, по человѣчеству, стало-таки немного жалко.—Можетъ такъ люди брешутъ! Одинъ дурень сбреднетъ, а другой и повѣритъ.

Наймиту эти слова не понравились.

— Это бываетъ,—сказалъ онъ:—иной человѣкъ такъ языкомъ ляпнетъ, какъ мертвый теленокъ хвостомъ махнетъ. Вотъ хоть бы и вы на этотъ разъ: развѣ это я самъ выдумалъ, или мой отецъ, или свать, когда это извѣстно всему крещеному народу?

— А вы-жь сами видѣли? — задорно спросилъ мельникъ, котораго тоже ухватили за сердце презрительныя наймитовы слова.

А надо вамъ знать, что мельникъ, когда входилъ въ азартъ, то говаривалъ иногда, что не хочетъ знать самого чорта, пока его ему не покажутъ вотъ такъ, какъ на ладони. А теперь онъ какъ разъ былъ въ самомъ азартѣ.

— А вы-жь,—говорить,—сами видѣли? А когда не видали, то и не говорите, что оно есть, вотъ что!

Наймиту, хоть и отставной солдатъ и человѣкъ бойкій, а тутъ спустил маленько голосу и даже что-то закашлялся. Ну, да не такой—волеъ его заѣшь!—и онъ человѣкъ былъ, чтобы совсѣмъ спасовать.

— Лгать не стану,—говорить,—самъ никогда не видалъ. А вы, господинъ мельникъ, когда-нибудь Кіевъ видѣли?

— Нѣтъ, не видѣлъ, тоже лгать не буду.

— А онъ-таки есть, хоть вы его и не видали.

Тутъ мельникъ на такое ясное слово совсѣмъ вынулъ глаза.

— Вотъ что правда, то правда,— согласился онъ:— таки Кіевъ есть, хоть я его не видѣлъ... Видно, надо вѣрить, когда добрые люди говорятъ. Я, видите, того... я хотѣлъ спросить, отъ кого-жъ вы слышали?

— Ба! отъ кого? А вы отъ кого про Кіевъ слышали?

— Тю-тю! Вотъ же и языкъ у васъ, такъ языкъ. Чистая бритва, чтобъ ему отсохнуть!

— Нечего моему языку отсыхать, а вы лучше вѣрьте людямъ, если уже всѣ люди говорятъ. Если всѣ говорятъ, то значить это правда. А не была бы это правда, то всѣ не говорили бы, а говорили бы одни только брехуны, вотъ что!

— Тю-тю-тю!... Да остановись ты хоть на одну минуту! А то долбить словами по башкѣ, какъ макогономъ по ступѣ. Я-жъ уже и самъ вижу, что не въ тотъ переулокъ завернулъ... А только, видишь ты, я - бѣ хотѣлъ знать, откуда она взялась, такая людская намолевка...

— А оттуда и взялась, что это каждый годъ бываетъ. Чтó бываетъ, о томъ и люди говорятъ, а чего не бываетъ, о томъ и говорить не стоить...

— А, вотъ человѣкъ какой! Да нѣтъ, погоди, я таки схвачу твою рѣчь за хвостъ, а то вертится, какъ дурная кобыла на топчакѣ. Скажи же ты мнѣ, наконецъ, что-жъ такое бываетъ, вотъ что!

— Эге-ге! такъ видно вы и этого не знаете, что бываетъ въ судный день?...

— Зналъ, то-бъ и не спрашивалъ. Слышу давно, — люди болтають, вотъ какъ и ты: Хапунъ, Хапунъ,—а въ какой разумъ это говорится, и не знаю.

— Такъ бы вы сразу и говорили, что не знаете, я-бъ вамъ давно и рассказалъ, а то не люблю я такихъ гордыхъ людей: ему надо горѣлки, такъ онъ прежде о водѣ заговариваетъ: „вотъ бы и выпилъ воды, да не вкусна“. Если хотите знать, такъ я и расскажу, потому что я побывалъ-таки на свѣтѣ, не то что вы, домосѣды. Я и въ городѣ живалъ не по одному году, и у жидовъ не первый разъ служу.

— А не грѣхъ тебѣ?—усомнился мельникъ.

— Другому кому грѣхъ, а солдату все можно! Намъ такая и бумага выдается.

— Развѣ что бумага...

Послѣ этого уже солдатъ рассказалъ мельнику дружелюбно всю правду про Хапуна и про то, какъ онъ въ этотъ день ежегодно хватаетъ по одному жида.

Хапунъ, надо и вамъ сказать, когда и вы, какъ мельникъ, этого не знаете, есть особенный такой жидовскій чортъ. Онъ, скажемъ, во всемъ остальномъ похожъ и на нашего чорта, такой же черпый и съ такими же рогами, и крылья у него—какъ у здоровеннаго нетопыря; только носить пейсы, да ермолку и силу имѣетъ надъ одними жидами. Повстрѣчайся ему папъ братъ, христіанинъ, хоть о самую полночь, гдѣ нибудь въ пустырѣ или хоть надъ самымъ омутомъ, онъ только убѣжитъ, какъ пугливая собака. А надъ жидами дается ему воля: каждый годъ выбираетъ себѣ по одному...

Тутъ ужъ, само собою, надо ему выбирать получше. Вѣдь подумайте: на весь годъ!

Для этого-то вотъ выбора и назначается *іомъ-кипуръ*, судный день. Жиды задолго уже до того дня молятся, плачутъ, рвутъ на себѣ одежду и даже головы зачѣмъ-то обсыпаютъ золой изъ печки. Народъ трусливый! Да оно, положимъ, хоть до кого доведись, въ такомъ не-пріятномъ положеніи, пожалуй, заплачешь. Передъ вечеромъ всѣ моются въ рѣчкѣ или на ставахъ *), а какъ зайдетъ солнце,—идутъ бѣдняги въ свою школу **), и ужъ какой оттуда крикъ слышится, такъ не приведи Богъ: всѣ орутъ въ голосъ, а глаза отъ страху закрываютъ... А уже въ это время, какъ только небо погаснетъ и станетъ на немъ вечерняя звѣзда, Хапунъ вылетаетъ изъ своего мѣста и вьется надъ „школой“, и въ окна бьетъ крыломъ, и высматриваетъ себѣ добычу. Но вотъ когда уже настоящій страхъ нападаетъ на жидовъ, такъ это въ самую полночь. Они нарочно зажигаютъ всѣ свѣчи, чтобы не было такъ жутко, падаютъ всѣ на полъ и начинаютъ кричать, какъ будто ихъ кто рѣжетъ. И когда они такъ лежатъ и надрываются, — Хапунъ, какъ большой воронъ, влетаетъ въ горницу; всѣ слышатъ, какъ отъ его крыльевъ хододъ идетъ по сердцамъ, а тотъ, котораго онъ высмотрѣлъ ранѣе, чувствуетъ, какъ въ его спину впиваются чортовы когти.

*) Ставъ—прудь.

**) Простой народъ въ Юго - западномъ краѣ называетъ синагоги школами.

А! рассказывать объ этомъ, и то даже морозъ по-за шкурой пройдетъ, а каково-то бѣдному жиду!... Само-сабою,—кричить во все горло. Ну, да кто тутъ услышитъ, когда и всѣ тоже галдятъ, какъ сумасшедшіе. А можетъ кто изъ сосѣдей и слышитъ, такъ что-жь тутъ дѣлать,—радъ, что не ему выпала злая доля!...

Наймитъ Харько самъ слыхалъ не одинъ разъ, какъ послѣ того въ мѣстечкѣ разносился звукъ трубы, да такой звонкій, жалобный и протяжный... Это служба изъ школы посылаетъ трубный звукъ вдогонку своему бѣдному брату, между тѣмъ какъ другіе надѣваютъ въ передней „патынки“, потому что въ школу входятъ въ однихъ чулкахъ, и тихо расходятся по домамъ. Видѣлъ также Харько, какъ они останавливались кучками противъ мѣсяца и бормотали что-то, и подымались на цыпочки, глядя въ ночное небо... А въ это время, когда уже всѣ до одного разойдутся, на полу въ передней комнатѣ сиротливо стоитъ себѣ еще пара „патынковъ“ и ждетъ своего хозяина... Э! сколько бы ни ждала, никогда не дождется, потому что въ этотъ часъ надъ полями и лѣсами, надъ горами, ярами и долинами Хапунъ тащить хозяина патынковъ по воздуху, взмахивая крыльями и хоронясь отъ христіанскаго глаза... Радъ, проклятый, когда ночь выпадетъ облачная, да темная. А ежели тихая, да ясная, какъ вотъ сегодня, что мѣсяцъ свѣтитъ изо всѣхъ силъ, то, пожалуй, напрасно чертѣва и труды принималъ...

— А почему?—спросилъ у наймита мельникъ и испугался самъ, какъ бы говорливый Харько не началъ

его опять долбить за это укоризненными словами. Но тотъ на этотъ разъ отвѣтилъ спокойно:

— А потому, что вотъ видите вы: стѣить любому, даже и не хитрому крещеному человѣку, хоть бы и вамъ, напимѣрь, кривнуть чертякъ: „Кинь! Это мое!“ — онъ тотчасъ же и выпустить жида. Затрепыхаетъ крыльями, закричитъ жалобно, какъ подстрѣленный шулакъ*), и полетитъ себѣ дальше, оставшись на весь годъ безъ поживы. А жидъ упадетъ на землю. Хорошо, если невысоко падать, или угодить себѣ въ болото, на мягкое мѣсто. А то, все равно, пропадетъ безъ всякой пользы... Ни себѣ, ни чертякъ!

— Вотъ такъ штука!—сказалъ мельникъ въ раздумьи и со страхомъ поглядѣлъ на небо, съ котораго мѣсяцъ, дѣйствительно, свѣтилъ изо всей мочи. Небо было чисто и только между луною и лѣсомъ, что чернѣлся вдали за рѣчкой, проворно летѣло небольшое облачко, какъ темная пухинка. Облако, какъ облако, но вотъ что показалось мельнику немного странно: кажись и вѣтру нѣтъ, и листъ на вѣстахъ стоитъ—не шелохнется, какъ заколдованный, а облако летитъ, какъ птица, и прямо къ городу.

— А поглядите-ка... что я вамъ покажу, — сказалъ мельникъ наймиту.

Тотъ вышелъ изъ шинка и, опершись спиной о косякъ, сказалъ хладнокровно:

— Ну, такъ что-жь? Нашли что показывать: облакъ, такъ и облакъ? А Богъ съ нимъ...

*) Коршунъ.

— Да вы поглядите-ка еще,—вѣтеръ есть?

— Та-та-та-а... Вотъ оно что!—догадался наймитъ.—

И прямо въ городъ мандруетъ...

И оба почесали затылки, задравши головы кверху.

А изъ оконъ по-прежнему несло жидовское жужжаніе, виднѣлись желтыя, вытянутыя лица, шапки на затылкѣ, закрытые глаза, неподвижныя губы... Жиденята плакали и надрывались, и опять мельнику показалось, что кто-то другой внутри ихъ плачетъ и молить о чемъ-то невѣдомомъ, давно-давно утраченномъ и на половину уже позабытомъ...

— А! пора и домой,—очнулся мельникъ.—А я-было хотѣлъ гроши Янкелю отдать...

— Можно. Я принимаю за нихъ, — сказалъ на это наймитъ, глядя въ сторону.

Но мельникъ притворился, что не слыхалъ этихъ словъ. Деньги были не такія маленькія, чтобы вотъ такъ, просто, отдать какому-нибудь наймиту, да еще пройди-свѣту, отставному солдату. Съ такими деньгами онъ, пожалуй, взялъ бы себѣ, какъ говорится, ноги за поясъ, да и убрался бы не только изъ села, а даже изъ губерніи. Ищи потомъ вѣтра въ чистомъ полѣ!

— Прощайте-ка,—сказалъ поэтому мельникъ.

— Прощайте и вы! А деньги я-таки принялъ бы.

— Не беспокойте себя: отдамъ и самому.

— Это какъ себѣ хотите. А взять и я взялъ бы, беспокойство не большое. Ну, пора уже и шинокъ запи-
рять. Видно, кромѣ васъ, никакая собака уже не завер-
нетъ сегодня.

Наймитъ опять почесалъ себѣ о косякъ спину, по-свисталъ какъ-то несовсѣмъ пріятно вслѣдъ мельнику и сталъ запирать двери, на которыхъ были намалеваны бѣлою краскою кварта, рюмка и жестяной крючокъ (шкваликъ). А мельникъ спустился съ пригорочка и пошелъ вдоль улицы, сверкая бѣлою свиткою, а за нимъ опять побѣжала по землѣ черная-пречерная тѣнь.

Но теперь мельникъ раздумывалъ уже не о своей тѣни, а совсѣмъ-таки о другомъ...

II.

Мельникъ прошелъ не болѣе десяти сажень, какъ въ садочкѣ по-за тыномъ что-то зашуршало и зашумѣло, будто вспорхнули двѣ большія птицы. Но это были не птицы, а какой-то парубокъ съ дѣвкой, испуганные тѣмъ, что мельникъ сразу вышелъ изъ тѣни. Впрочемъ, парубокъ видно былъ не изъ страшливыхъ: отойдя еще подальше въ тѣнь, такъ что едва бѣлѣли подъ вишнями двѣ фигуры, онъ крѣпкою рукой придержалъ всполохнувшуюся дѣвушку и опять повелъ тихія рѣчи. А пройдя еще немного, мельникъ услышалъ что-то такое, что даже остановился отъ большой досады...

— А ты,—не знаю какъ тебя,—видно-таки здѣловъ цѣловаться. Чмокаешь такъ, какъ соловей въ кусточкахъ,—сказалъ онъ, подойдя къ самому тыну.

— А тебѣ, собачій сынъ, надо въ чужія двери свой носъ совать?—отвѣтилъ парубокъ изъ тѣни.—Такъ вотъ

погоди, я и тебя поцѣлую дручкомъ по ногамъ. Будешь впередъ знать, какъ людямъ дѣлать помѣху...

— Тьфу! — сказалъ мельникъ, отходя. — Подумаешь, какую важную работу дѣлаетъ... А онъ и всего-то цѣлуется. Да и подлый же какой-то парубокъ, какъ чмокаетъ, даже человѣку стало какъ будто завидно.

Онъ постоялъ, подумалъ, почесалъ въ головѣ и потомъ, привернувши къ сторонкѣ, занесъ ногу черезъ тынъ и пошелъ огородомъ ко вдовиной избушкѣ, что стояла немного поодаль, край села, подъ высокою топoley... Хатка была малюсенькая, да еще сгорбилась и похилилась къ землѣ. Оконце было такое крохотное, что его, пожалуй, трудно было бы и разглядѣть, будь ночь сколько-нибудь потемнѣе. Но теперь хатка вся такъ и горѣла отъ мѣсячнаго свѣта; солома на ней казалась золотая, а стѣна серебряная, и оконце чернѣло на стѣнѣ, какъ прищуренный глазъ. Огня въ окнѣ не было. Должно быть у старухи съ дочкой нечѣмъ было вечерять, не зачѣмъ и свѣтить. Мельникъ постоялъ, потомъ тихонько стукнулъ два раза въ оконце и отошелъ къ сторонѣ.

Недолго еще и постоялъ, какъ двѣ полныя дѣвичьи руки крѣпко обвили въ округъ его шеи, а межъ усовъ такъ даже загорѣлось что-то, какъ приникли къ мельниковымъ устамъ горячія дѣвичьи губы. Э, что тутъ рассказывать! Если васъ кто такъ цѣловалъ, то вы и сами знаете, а если никогда съ вами ничего такого не было, то не стоить вамъ и говорить.

— Филиппко мой, милый, желанный! — говорила лас-

каясь дѣвушка, — пришелъ-таки... А я ужъ я ждала — за-
ждалась, думала изсохну безъ тебя, какъ та былинка
безъ воды...

„Э, не изсохла-таки, слава тебѣ, Господи! — подумалъ про себя мельникъ, прижимая рукой не очень-то худощавый станъ дѣвушки. — Слава Богу, еще ничего“.

— Когда же рушникі готовить будемъ? — заговорила дѣвушка, все еще держа руки на плечахъ Филиппа и обдавая его горячимъ взглядомъ, какъ осенняя ночь, черныхъ очей. — Вѣдь ужъ скоро Филипповки.

Эта рѣчь пришлась мельнику не такъ по вкусу, какъ дѣвичьи поцѣлуи. „Видишь ты, куда гнѣтъ, — подумалъ онъ про себя. — Эхъ, Филиппъ, Филиппъ, задастъ она тебѣ теперь потасовку“. Но все-таки, набравшись храбрости и отведя свои глаза въ сторону, онъ промолвилъ:

— Э, какая ты, Галю, ласая. Сейчасъ тебѣ и рушники. Какъ же это можно, когда я теперь самъ мельникъ и скоро можетъ стану первый богатырь (богачъ) на селѣ, а ты — бѣдная вдовина дочка.

Дѣвку шатнуло отъ того слова, будто ее ужалила змѣя. Она отскочила отъ Филиппа и схватилась рукою за сердце.

— А я думала... охъ, бѣдная-жъ моя голова!... Такъ чего-жъ это ты, подлый человѣкъ, стучалъ въ оконце?

— Эге! — отвѣтилъ мельникъ, — чего стучалъ... А что же мнѣ и не стучать, если твоя мать должна мнѣ не одну рублевку. А тутъ ты выскочила, да прямо цѣловаться. Что-жъ мнѣ... Я тоже умѣю цѣловаться не хуже людей!

И онъ опять протянулъ къ ней руку, но только что его рука коснулась дѣвичьяго стана, какъ станъ этотъ вздрогнулъ, будто дѣвкѣ ужалила гадюка.

— Геть!—крикнула она такъ сердито, что мельникъ попятился назадъ.—Я тебѣ не бумажка рублевая, что ты меня хватаешь, будто свою. Вотъ подойди еще, я тебя такъ огрѣю, что ты послѣ того забудешь ласовать на три года...

Мельникъ растерялся.

— Вотъ какая гордычка! А что я, прости Господи, жидъ что ли тебѣ дался, что ты вотъ такъ паскудно лаешься?

— А то не жидъ, что ли? За полтину уже рубль на-ростишь, да еще тебѣ мало: ко мнѣ полѣзъ за процен-тами. Геть!—говорю тебѣ,—постылый!

— Ну, дѣвка!—сказалъ мельникъ, опасливо закрывая лицо ладонью, какъ бы въ самомъ дѣлѣ не засвѣтила кулакомъ.—Такой дѣвки я еще и не видывалъ. Я вижу, съ тобой умному человѣку и говорить нельзя. Ступай, посылай сюда мать!

Но старуха уже и безъ того вышла изъ хаты и низко кланялась мельнику. Тому это больше понравилось, чѣмъ разговоръ съ дочкой. Онъ подбоченился и его черная тѣнь на стѣнѣ такъ задрала голову, что мельникъ и самъ уже подумалъ, какъ это у нея не свалится шапка.

— А знаешь ты, старая, зачѣмъ я это пришелъ?—говорить мельникъ старухѣ.

— Охъ, какъ мнѣ бѣдной не знать! Видно ты пришелъ за моими деньгами...

— Хе! не за твоими, старая,—засмѣлся мельникъ,—а за своими собственными. Я-жь не разбойникъ какой, чтобы по ночамъ за чужими деньгами въ чужой домъ приходить.

— А вотъ же таки за чужими и пошелъ,—задорно сказала опять дѣвка, взявшись въ боки и наступая на мельника,—не за своими же!

— Фу, скажѣнная *) дѣвка!—сказалъ тутъ мельникъ, отступивши еще шага на два.—Ей-Богу, такой скажѣнной дѣвки во всемъ селѣ не сыщется. Да не то что въ селѣ, а и во всей губерніи. Ну, подумай ты, какое слово сказала! Да не будь вотъ тутъ одна твоя мать, что, пожалуй, и не пойдеть въ свидѣтели, такъ я бы тебя въ судъ потянулъ за безчестье! Эй, одумайся ты хоть немного, дѣвка!

— А что мнѣ одуматься, когда это чистая правда!

— Какая-жь это правда, когда старая у меня брала да и не выплатила?

— Брешешь, брешешь, какъ рудая собака! Когда былъ еще *подсыткой* **), да со мной женихался, хотѣлъ въ домъ идти, и не говорилъ, что назадъ потребуешь. А какъ дядько померъ, да самъ ты сталъ мельникомъ, такъ весь долгъ уже перебралъ и еще тебѣ мало?

— А мука?

— Ну, что мука?... За муку сколько слѣдовало?

— По копѣ ***) воть сколько! Дешевле никто не от-

*) Сумасшедшая.

**) Подсыпка—работникъ на мельницѣ, засыпающій зерно на жернова.

***) *Копѣ* въ малороссійскомъ счетѣ значить 60. *Копѣ* грошей—30 копѣекъ.

дасть, хоть куда хочешь поѣзжай, хоть себя отдай въ придачу.

— А съ насъ ты сколько уже перебралъ?

— Тю-тю, куда махнула! Языкъ у тебя тоже... не хуже Харька. Да и я-жь тебѣ на то отвѣчу: а проценты? Ну, что взяла?

Но дѣвка уже ничего не отвѣчала. Съ дѣвками оно часто такъ бываетъ,—это и мельникъ примѣчалъ: говорить-говорить, лопочеть-лопочеть, какъ мельница на всѣхъ поставкахъ, да вдругъ и станеть... Подумаешь, воды не хватило... Такъ гдѣ! Какъ разъ полились рѣкой горькія слезы и отошла въ сторону, все утирая глаза широкимъ рукавомъ бѣлой сорочки.

— Отъ такъ!—сказалъ мельникъ, чуть-чуть растерявшись, а все-таки довольный.—Чего-бъ это я кидался на людей. Не лаялась бы, такъ нечего бы и плакать.

— Молчи, молчи, молчи ты, постылая тварюка!

— Молчи же и ты, когда такъ!

— Молчи уже, молчи, моя доню,—прибавила старая мать, тяжело вздохнувши. Старуха боялась, видно, разсердить мельника. Видно у старухи нечѣмъ было плакать въ этотъ срокъ.

— Не стану молчать, мамо, не стану, не стану!—отвѣтила дѣвушка, точно въ мельницѣ опять пошли ворочаться всѣ колеса.—Вотъ же не стану молчать, а коли хотите вы знать, то еще и очи ему выпарапаю, чтобы не смѣлъ на меня славу напрасно наводить, да въ окна стучать, да цѣловаться!... Зачѣмъ стучалъ, говори, а то какъ хвачу за чуприну, то не погляжу, что ты мель-

чикъ и богатырь. Небось, прежде не гордился, самъ женихался, да ласковыми словами сыпалъ. А теперь ужъ ность задралъ, что и шапка на макушкѣ не удержится!

— Ой, доню, молчи уже, моя сирота!—сокрушенно вздохнувъ, опять промолвила старуха.—Иди вотъ лучше въ хату, иди! Да иди же, доченька, послушайся старой матери! А вы, панъ мельникъ, не взыщите на глупой дѣвкѣ. Молодой разумъ съ молодымъ сердцемъ—что молодое пиво на хмѣлю: и мутно, и бурлить. А устоится, такъ станетъ людямъ на усладу.

— А мнѣ что?—сказалъ мельникъ.—Мнѣ отъ нея ни горечи, ни улады не нужно, потому что я вамъ не ровня. Мнѣ мои деньги подай, старая, то я на вашу хату и глядѣть не стану.

— Охъ, нѣтъ же у насъ! Подожди еще, заработаемъ съ дочкой вдвоемъ, то и отдамъ. Охъ, горе мое, Филиппушка, и съ тобою, и съ нею. Ты-жъ самъ знаешь, я тебя какъ сына любила, не думала, не гадала, что ты съ меня, старой, тѣ долги поверстаешь... Хоть бы дочку, что ли, замужъ отдать, и женихи есть добрые,—такъ вотъ не идетъ же ни за кого, хоть ты что хочешь. Съ тѣхъ поръ, какъ ты съ нею женихался, будто заворожилъ дѣвку. Лучше, говорить, меня въ сырую землю живую закопайте. Дурная и я была, что позволяла вамъ до зори вотъ тутъ простаивать... Ой, лихо мнѣ!...

— А какъ же мнѣ быть?—сказалъ мельникъ.—Ты, старая, этихъ дѣлъ не понимаешь: у богатаго человѣка расходъ большой. Вотъ я жиду долженъ, такъ отдаю, отдавайте и вы мнѣ.

— Подожди еще хоть съ мѣсяцъ.

Мельникъ поскребъ въ головѣ и подумалъ. Маленько-таки разжалобила его старуха, да и Галина узорная сорочка недалеко бѣлѣла. Не хотѣлось почему-то Филиппу, чтобы вовсе его дѣвушка обругала. Поэтому онъ подался.

— А я, смотри, за это еще десять грошей накинута. Лучше отдала бы.

— Ахъ, что же дѣлать! Видно моя доля такая,—вздохнула старуха.

— Ну, значить такъ оно и будетъ. Я не жидъ, я-таки добрый себѣ человѣкъ. Другой бы, ужъ я вѣрно знаю, накинута бы двадцатку, а я накинута десять грошиковъ и подожду еще до Филипповыхъ. Да смотри, тогда уже стану жаловаться въ правленіи.

И онъ, не поклонившись, повернулся и пошелъ себѣ за околицу, даже не оглядываясь на избушку, у которой долго еще бѣлѣла узорная сорочка,—бѣлѣла на черной тѣни подъ вишенъемъ, какъ бѣлѣлая звѣздочка,—и нельзя было мельнику видѣть, какъ плакали черныя очи, какъ тянулись къ нему бѣлыя руки, какъ вздыхала дѣвичья грудь.

— Не плачь, доню, не плачь, ясочко,—говорила старая Прися.—Не плачь, видно такая Божія воля.

— Охъ, мамо, мамо, хоть бы дала ты мнѣ очи ему выпарпать! Можетъ мнѣ стало бы легче...

III.

Послѣ этого мысли мельника стали какъ-то еще скучнѣе.

— Вотъ, что-то все не такъ идетъ на этомъ свѣтѣ,— думалъ онъ про себя.—Какъ-то человѣку все бываетъ непріятно, а отчего — и не придумаешь... Вотъ, дѣвка прогнала... Развѣ я виноватъ, что она бѣдная? Была бы ровня, развѣ я не взялъ бы ее? Сейчасъ же взялъ бы... Жидомъ назвала, эге-ге!... Кабы я былъ жидъ, да имѣлъ такія деньги, да торговлю... да развѣ такъ сталъ бы я жить, какъ теперь? Нѣтъ, не такъ! Теперь что и за жизнь моя: работай на мельницѣ самъ, ночь не доспи, днемъ не доѣшь; гляди за водой, чтобъ не утекла, гляди за камнемъ, гляди за валомъ, гляди на валу за шестернями, гляди на шестерняхъ за пальцами, чтобы не повыскачили, да чтобы забирали ровно... Э! гляди еще и за проклятымъ работникомъ - подсыпкой. Развѣ можно положиться на наймита? Только уйди на минуту, сейчасъ и онъ, подлый человѣкъ, куда-нибудь въ дѣвкамъ утреплется... А, собачья жизнь мельника, просто-таки собачья! Правда, съ тѣхъ поръ, какъ дядько—царствіе ему небесное!—убухался съ пьяныхъ глазъ въ омутъ,— я сталъ самъ себѣ хозяинъ и деньжонки-таки стали заглядывать въ мои карманы... Такъ опять что въ нихъ? За рублемъ какимъ-нибудь ходишь-ходишь, ругаютъ тебя и за глаза, да и въ глаза не стыдятся, а много ли прибытку?—пустяки! Никогда крещеному человѣку не перепадетъ столько, какъ жиду. Вотъ когда бы еще жидъ унесла нелегкая изъ села, тогда, пожалуй, можно бы и

развернуться. Ни къ кому не пошли бы, какъ ко мнѣ, и за копѣйкой, когда надо на подати, и за товаромъ. Ге! можно бы и шиночекъ, пожалуй, открыть... А на мельницѣ или бы кого посадилъ, или хоть продалъ бы. Ну ее! Какъ-то все человѣкъ еще не человѣкъ, пока работаетъ. То ли дѣло, когда отъ грошика грошикъ самъ родится. Этого только дуракъ не понимаетъ... Заведи себѣ пару свиней; глядишь—свинья звѣрь плодущій—черезъ годъ ужъ чуть не стадо! Такъ вотъ и деньги: пускаешь ихъ по глупымъ людямъ, будто на пастбище, только не зѣвай, да умѣй опять согнать по времени: отъ гроша родится десять грошей, отъ карбованца—десять карбованцевъ...

Тутъ мельникъ вышелъ уже на самый гребень дороги, откуда начинался пологій спускъ въ рѣкѣ. Впереди уже слышно было... такъ, чуть-чуть, когда подыхивалъ ночной вѣтерокъ, какъ сонная вода звенить въ лоткахъ. А сзади, оглянувшись еще разъ, мельникъ увидѣлъ спящее въ садахъ село и подъ высокими тополями маленькую вдовину хатку... Онъ остановился и подумалъ немного, почесываясь въ головѣ.

— Э! дуракъ я былъ бы,—сказалъ онъ наконецъ, пускаясь въ дальнѣйшій путь.—Пожалуй, не выдумай дядько въ ту ночь, напившись наливочки, залѣзть въ омутъ,—теперь меня бы уже окрутили съ Галею... Тю, какой дурень былъ бы!... А и сладко же, правда, цѣлуется эта дѣвка, у-у какъ сладко!... Вотъ и говорю, что какъ-то все не такъ дѣлается на этомъ свѣтѣ. Еслибъ къ такому личику да хорошее приданое... ну, хоть такое, какъ

III.

Послѣ этого мысли мельника стали какъ-то еще скучнѣе.

— Вотъ, что-то все не такъ идетъ на этомъ свѣтѣ,— думалъ онъ про себя.—Какъ-то человѣку все бываетъ непріятно, а отчего — и не придумаешь... Вотъ, дѣвка прогнала... Развѣ я виноватъ, что она бѣдная? Была бы ровня, развѣ я не взялъ бы ее? Сейчасъ же взялъ бы... Жидомъ назвала, эге-ге!... Кабы я былъ жидъ, да имѣлъ такія деньги, да торговлю... да развѣ такъ сталъ бы я жить, какъ теперь? Нѣтъ, не такъ! Теперь что и за жизнь моя: работай на мельницѣ самъ, ночь не доспи, днемъ не доѣшь; гляди за водой, чтобъ не утекла, гляди за камнемъ, гляди за валомъ, гляди на валу за шестернями, гляди на шестерняхъ за пальцами, чтобы не повскочили, да чтобы забирали ровно... Э! гляди еще и за проклятымъ работникомъ - подсыпкой. Развѣ можно положиться на наймита? Только уйди на минуту, сейчасъ и онъ, подлый человѣкъ, куда-нибудь къ дѣвкамъ утреплется... А, собачья жизнь мельника, просто-таки собачья! Правда, съ тѣхъ поръ, какъ дядько—царствіе ему небесное!—убухался съ пьяныхъ глазъ въ омутъ,— я сталъ самъ себѣ хозяинъ и деньжонки-таки стали заглядывать въ мои карманы... Такъ опять чтò въ нихъ? За рублемъ какимъ-нибудь ходишь-ходишь, ругаютъ тебя и за глаза, да и въ глаза не стыдятся, а много ли прибытку?—пустяки! Никогда впрочемъ человѣку не перепадетъ столько, какъ жиду. Вотъ когда бы еще унесла нелегкая изъ села, тогда, пожалуй, мож...

шумъ воды въ лоткахъ слышался уже безъ перерывовъ, — мельникъ вдругъ остановился, какъ вкопанный, и ударилъ себя ладонью по лбу.

— Ба, вотъ была бы штука!... Право, хорошая штука была бы, ей-Богу! Вѣдь нынче какъ разъ судный день. Что, еслибъ жидовскому чорту полюбился какъ разъ нашъ шинкарь Янкель?... Да гдѣ! Не выйдетъ. Мало ли тамъ, въ городѣ, жидовъ? Къ тому же еще Янкель—жидище грузный, старый, да костистый, какъ ёршь. Что въ немъ толку? Нѣтъ, не такой онъ, мельникъ, счастливый человѣкъ, чтобы Хапунъ выбралъ себѣ изъ тысячи какъ разъ ихняго Янкеля.

На минуту въ головѣ мельника, какъ беспокойные муравьи, закопошились другія мысли:

— Эхъ Филиппъ, Филиппъ! Нехорошо и думать такое крещоному человѣку, что ты себѣ теперь думаешь. Опомнись! Вѣдь у Янкеля останутся дѣти, будетъ кому долгъ отдать... А второе-таки и грѣшно, —Янкель тебѣ худого не дѣлалъ. Можетъ другимъ и есть за что поругать стараго шинкаря, такъ вѣдь съ другихъ-то и ты самъ не прочь взять лихву...

Но на эти непріятныя мысли, что стали-было покусывать его совѣсть, какъ собачонки, мельникъ выпустилъ другія, еще посердитѣе:

— Все-таки жидюга, такъ жидюга, не ровня же крещоному человѣку. Если я и беру лихву,—ну, и беру, этого нельзя сказать, что не беру,—такъ вѣдь лучше же, я думаю, отдать процентъ своему брату, крещоному, чѣмъ некрещоному жиду.

Въ эту минуту и ударило въ послѣдній разъ на колокольнѣ.

Должно-быть звонарь, Иванъ Кадило, заснулъ себѣ подъ церковью и дергалъ веревку спросонокъ, — такъ долго вызванивалась полночь. За то въ послѣдній разъ, обрадовавшись концу, онъ бухнулъ такъ здѣрово, что мельникъ даже вздрогнулъ, когда звонъ загудѣлъ изъ-за горы, надъ его головою, и понесся черезъ рѣчку, надъ лѣсомъ, въ далекія поля, по которымъ вьется дорога къ городу...

— Вотъ теперь уже всѣ спать на свѣтѣ,—подумалъ про себя мельникъ, и что-то его ухватило за сердце...— Всѣ спать себѣ, кому гдѣ надо, только жиды толкуются и плачутъ въ своей школѣ, да я стою вотъ тутъ, какъ непогребенная душа, надъ омутомъ и думаю нехорошее...

И показалось ему въ тотъ часъ все какъ-то странно... „Слышу, говоритъ, что это звонъ затихаетъ въ полѣ, а самому кажется, будто кто невидимка бѣжитъ по шляху и стонетъ... Вижу, что лѣсъ за рѣчкой стоитъ весь въ росѣ и свѣтится роса отъ мѣсяца, а самъ думаю: какъ же это его въ лѣтнюю ночь задержало морознымъ инеемъ? А какъ вспомнилъ еще, что въ омутѣ дядько утопъ, а я не мало-таки радовался тому случаю, — такъ и совсѣмъ оробѣлъ. Не знаю—на мельницу идти, не знаю—тутъ ужъ стоять...”

— Гаврило! Эй, Гаврило! — крикнулъ онъ тутъ подсыпѣй-работнику. — Такъ и есть, на мельницѣ пусто, а онъ, лодырѣ, опять помандровалъ на село, къ дѣвкамъ.

Вышелъ Филиппъ на свѣтлое мѣсто, на середину пло-

тины. Слышитъ: вода просасывается въ шлязахъ, а ему кажется, что это кто-то вращается изъ омута и карабкается на колеса...

— Э, лучше пойду-таки спать, — подумалъ онъ про себя... Только прежде еще разъ оглянулся.

Мѣсяцъ давно перебрался уже черезъ самую верхушку неба и смотрѣлся въ воду... Мельнику показалось удивительно, какъ это хватаетъ въ его маленькой рѣчкѣ столько глубины—и для мѣсяца, и для синяго неба со всѣми звѣздами, и для того маленькаго темнаго облачка, которое одно несется, легко и быстро, какъ пушинка, по направленію изъ города.

Но такъ какъ глаза его уже слипались, то удивлялся онъ не долго и, отворивъ отмычкой наружную дверь и запершись опять изнутри задвижкой, чтобы слышать, когда вернется гуляка-подсыпка, — отправился къ себѣ на постель...

IV.

— Эге-ге, встань, Филиппъ!... Вотъ такъ штука! — вдругъ подумалъ онъ, подымаясь въ темнотѣ съ постели, точно его кто стукнулъ молоткомъ по темени. — Да я-жъ и забылъ: вѣдь это возвращается изъ города то самое облако, которое недавно покатилося туда, да еще мы съ жидовскимъ наймитомъ дивились, что оно летитъ себѣ безъ вѣтру. Да и теперь вѣтеръ, кажись, не великъ и не съ той стороны. Погоди! Исторія, кажется, тутъ не простая...

Онъ вышелъ босикомъ на плотину и сталъ на самой серединѣ, почесывая себѣ брюхо и спину (на мельницѣ-таки было не безъ блохъ!). Въ спину ему подувалъ съ запруженной рѣки вѣтерокъ, а спереди прямѣхонько на него катилось облачко. Только теперь оно было уже не такое легкое, летѣло не такъ ровно и свободно, а будто слегка колыхалось и припадало, какъ подстрѣленная птица. Когда же оно налетѣло на луну, то мельникъ уже ясно понялъ, что это за исторія, потому что на свѣтломъ мѣсяцѣ такъ и вырѣзались трепещущія черныя крылья, а подъ ними еще что-то и какая-то скрюченная людская фигура, съ длинною, трясущеюся бородой...

— Э-эй! Вотъ тебѣ и штука,—подумалъ мельникъ.— Несетъ одного. Что-жь теперь дѣлать? Если крикнуть: — „Кинь, это мое!“ — такъ вѣдь, пожалуй, бѣдный жидъ расшибется или утонетъ. Высоко!

Но тутъ онъ увидѣлъ, что дѣло мѣняется: чортъ со своей ношей закружился въ воздухѣ и сталъ опускаться все ниже. „Видно пожадничалъ, да захватилъ себѣ ношу не подъ-силу,—подумалъ мельникъ.— Ну, теперь, пожалуй, можно бы и выручить жида,—все-таки живая душа, не сравняешь съ нечистымъ. Ну-ко, благословясь, крикну поздоровѣ!

Но, вмѣсто этого, самъ не знаетъ ужъ какъ, онъ изъ всѣхъ ногъ побѣжалъ съ плотины и спратался подъ густыми яворами, что мочили свои зеленныя вѣтки, какъ русалки, въ темной водѣ мельничнаго затора. Тутъ, подъ деревьями, было темно, какъ въ бочѣхъ, и мельникъ былъ увѣренъ, что никто его не увидитъ. А у него, надо ска-

зать истинную правду, въ это время уже и зубъ не падалъ на зубъ, а руки и ноги тряслись такъ, какъ мельничный рукавъ во время работы. Однако, брала-таки охота посмотрѣть, что́ будетъ дальше.

Чортъ со своею ношей то совсѣмъ припадалъ къ землѣ, то опять подымался выше лѣса, но было видно, что ему никакъ не справиться. Раза два онъ коснулся даже воды, и отъ жида пошли по рѣкѣ круги, но тотчасъ же чортяка взмахивалъ крыльями и взмывалъ со своею добычей какъ чайка, выдернувшая изъ воды крупную рыбу. Наконецъ, закатившись двумя или тремя широкими кругами въ воздухѣ, чортъ безсильно плелся на самую середину плотины и растянулся, какъ неживой, а полу-замученный; обмершій жидъ упалъ тутъ же рядомъ.

А надо вамъ сказать,—я какъ-то и забылъ,—что нашъ мельникъ уже давно узналъ, кого это приволокъ изъ города жидовскій Хапунъ. А узнавши,—что мнѣ таить, жогда и самъ онъ признавался въ этомъ!—обрадовался и повеселѣлъ: „а слава-жь тебѣ Господи,—сказалъ онъ про себя, — таки это не кто иной только нашъ новокаменскій шинкаръ! Ну, что-то будетъ дальше, а только кажется мнѣ такъ, что въ это дѣло мнѣ мѣшаться не слѣдуетъ, потому что двѣ собаки грызутся, третьей приставать незачѣмъ... Опять же моя хата съ краю, я ничего и не знаю... А еслибъ меня тутъ не было, — не обязанъ же я жида караулить...“

И еще про себя подумалъ: „Ну, Филиппушка, теперь твое время настаетъ въ Новой-Каменѣ!...“

V.

Долгое время оба — и бѣдный жидъ, и чортява — лежали на плотинѣ совсѣмъ безъ движенія. Луна уже стала краснѣть, закатываться и повисла надъ лѣсомъ, какъ будто ожидала только, что-то будетъ дальше... На селѣ крикнулъ-было хриплый пѣтухъ и тявнула раза два какая-то собака, которой вѣрно приснился дурной сонъ. Но ни другіе пѣтухи, ни другія собаки не отозвались, — видно до свѣту еще было порядочно далеко.

Мельникъ издрогъ и сталъ уже подумывать, что это все ему приснилось, тѣмъ болѣе, что на плотинѣ совсѣмъ потемнѣло и нельзя было разобрать, что тамъ такое чернѣетъ на срединѣ. Но когда долетѣлъ изъ села одинокій крикъ пѣтуха, въ кучкѣ что-то зашевелилось. Янкель поднялъ голову въ ермолѣй, потомъ оглядѣлся, привсталъ и тихонько, по журавлиному, приподнимая худыя ноги въ однихъ чулкахъ, попытался улепетнуть.

— Эй, эй! придержи его, а то вѣдь уйдетъ, — чуть-было не крикнулъ испугавшійся мельникъ, но увидѣлъ, что чортъ уже прихватилъ шинкаря за длинную фалду.

— погоди, — сказалъ онъ, — еще рано... Смотри ты, какой пряткій! Я не успѣлъ еще отдохнуть, а ты ужь собрался дальше. Тебѣ-то хорошо, а каково мнѣ тащить тебя такого здоровеннаго! Чуть не издохъ.

— Ну, — сказалъ жидъ, стараясь выдернуть фалду, — отдыхайте себѣ на свое здоровье, а я до своей корчмы и пѣшкомъ дойду.

Чортъ даже привсталъ.

— Чтò такое?.. Что, я тебѣ въ балагулы *), что ли, нанялся, возить тебя съ шабаша домой, собачій сынъ? Ты еще шутишь...

— Какóво могутъ быть шутки, — отвѣтилъ хитрый Янкель, прикидываясь, будто онъ совсѣмъ не понимаетъ, чего отъ него нужно чортякъ. — Я вамъ очень благодаренъ за то, что вы меня доставили досюдова, а отсюдова я дойду самъ. Это даже вовсе недалекова разстояніе. Зачѣмъ вамъ себя беспокоить?

Чортъ ажъ подскочилъ отъ злости. Онъ какъ-то затрепыхался на одномъ мѣстѣ какъ курица, когда ей отрѣжутъ голову, и сразу подшибъ Янкеля крыломъ, а самъ опять принялся дышать какъ кузнечный мѣхъ.

— Вотъ такъ! — подумалъ про себя мельникъ. — Хоть оно, можетъ-быть, и грѣшно хвалить чорта, а этого я все-таки похваляю, — этого, видно, своего не упустить.

Янкель, присѣвъ, сталъ очень громко кричать. Тутъ уже и чортъ не могъ ничего подѣлать: извѣстно, что пока у жида душа держится, до тѣхъ поръ ему никакимъ способомъ не зажмешь глотку, — все будетъ голосить. „Да что толку, — подумалъ мельникъ, оглядываясь на пустую мельницу. — Подсыпая теперь гуляетъ себѣ съ дѣвками, а то и лежитъ гдѣ-нибудь пьяный подъ тыномъ“.

*) *Балагула* — извѣстный въ Западномъ краѣ специально-еврейскій экипажъ, нѣчто вроде еврейскаго длинжанса: длинная телѣга, забранная холщевымъ верхомъ, запряженная парой лошадей, она бываетъ биткомъ набита евреями и ихъ рухлядью (*бебѣхами*). Балагулой же называется и возница.

Въ отвѣтъ на жалобный плачъ бѣднаго Янкеля только сонная лягушка квакнула на болотѣ, да бугай, ночная проклятая птица, провинудся въ очеретѣ и бухнулъ раза два, точно въ пустую бочку: бу-у, бу-у!... Мѣсяцъ, какъ будто убѣдившись, что дѣло съ жидомъ покончено, опустился окончательно за лѣсъ, и на мельницу, на плотину, на рѣку пала густая темнота, а надъ омутомъ закурился бѣлый туманъ.

Чортъ безпечно затрепыхалъ крыльями, потомъ опять легъ, заложилъ руки за голову и засмѣялся.

— Кричи себѣ, сколько хочешь. На мельницѣ пусто.

— А вы почему знаете? — огрызнулся еврей и продолжалъ голосить, обращаясь уже прямо къ мельнику:

— Господинъ мельникъ, ой господинъ мельникъ! Серебряный, золотой, брилліантовый господинъ! Пожалуйста, выйдите сюда на одну, самую коротенькую секунду и скажите только три слова, три самыхъ маленькихъ слова. Я бы вамъ за это подарилъ половину долга.

— Весь будетъ мой! — сказала что-то въ головѣ у мельника.

Жидъ пересталъ кричать, понутивъ голову, и горько-прегорько заплакалъ.

Прошло еще сколько-то времени. Мѣсяцъ совсѣмъ ушелъ уже съ неба и послѣдніе отблески угасли на самыхъ высокихъ деревьяхъ. Все на землѣ и на небѣ, казалось, заснуло самымъ крѣпкимъ сномъ, нигдѣ не слышно было ни одного звука, только еврей тихо плакалъ, приговаривая:

— Ой, моя Сура, ой мои дѣтки, мои бѣдныя дѣтки!... Мои бѣдныя дѣтки, мои цыпята!... Вы спите себѣ и ничего не знаете, гдѣ теперь вашъ татѣ... Ой-вай!...

Мельника отъ этихъ словъ что-то крѣпко ухватило за сердце.

— Вотъ,—подумалъ онъ,—хоть бы уже скорѣе конецъ. А то, видишь ты, какая лѣнивая чортяка... И чего бы я такъ долго мучилъ бѣднаго жида!

Онъ переступилъ отъ нетерпѣнія съ ноги на ногу, и подъ ногой у него хруснула вѣтвь. Чортъ, видимо еще усталый, лѣниво повернулъ голову, а еврей вытянулъ шею, какъ сторожекая птица. Онъ съ полминуты всматривался въ темноту между яворами и потомъ покачалъ головой. „Не замѣтилъ“, подумалъ мельникъ.

Чортъ немного отдышался и сѣлъ, все еще сгорбившись, на плотинѣ. Надъ плотиной, хоть было темно, мельникъ ясно увидѣлъ пару роговъ, какъ у молодого телка, которые такъ и вырѣзались на бѣломъ туманѣ, что подымался изъ омута.

— Совсѣмъ какъ нашъ!—подумалъ мельникъ и почувствовалъ себя такъ, какъ будто проглотилъ что-то очень холодное.

Въ это время онъ замѣтилъ, что жидъ толкаетъ чорта локтемъ.

— Что ты толкаешься?—спросилъ тотъ.

— Пстѣ! Я что вамъ хочу сказать...

— Что?

— Скажите вы мнѣ на милость, и что это у васъ за мода—хватать непременно бѣднаго жида... Почему вы

не возьмете себѣ лучше хорошаго гбѣ. Вотъ тутъ живетъ недалеко отличный мельникъ...

Чортъ глубоко вздохнулъ. Можетъ и ему стало-таки скучно около пустой мельницы надъ омутомъ, только онъ пустился въ разговоръ съ жидомъ. Приподнявъ съ головы ермолку,—а надо вамъ сказать, что на немъ дѣйствительно, какъ и говорилъ наймитъ, была надѣта ермолка, изъ-подъ которой висѣли длинные пейсы,—онъ заскребъ когтями въ головѣ такъ сильно, какъ самый влющій котъ скребетъ по доскѣ, когда отъ него уйдетъ мышь,—и потомъ сказалъ:

— Видишь ты! Я уже тебѣ скажу всю правду... бы и самъ былъ не прочь, вмѣсто васъ, жидовъ, схватить себѣ какаго-нибудь хорошаго гбѣ... Да нѣтъ, не могу...

— Пхе! И почему это не можно? Это савово легкво дѣло...

— Не могу, — сила не возьметъ!

— Удивительно. А почему не можете?

— Почему? А почему кошка хватаетъ мышу, а лисицу не схватить?

— Ну-у, пустое это дѣло, — лисицу схватитьхо рошая собака! Извините меня пожалуйста, а я вамъ скажу, что вы настоящая хорошая собака!

Чортъ вздохнулъ.

— Эхъ, Янкель, не знаешь ты нашего дѣла! Къ нимъ я не могу и приступить.

— А позвольте спроси-ть, что тутъ долго приступить, что тутъ за большово хитрость? Я самъ знаю,

какъ вы меня сразу хавинули, что я не успѣлъ даже и крикнуть.

Чортъ весело засмѣялся, такъ что даже спугнулъ какую-то ночную птицу на болотѣ, и сказалъ:

— Что правда, то правда: васъ хватать легко... А знаешь ты почему?

— Ну-у?

— Потому что вы и сами хѣпаете здѣрово. Я тебѣ скажу, что такого грѣшнаго народа, какъ вы, жида, и нѣтъ другого на свѣтѣ.

— Ой-вай, удивительно! А какѣво же это на насъ грѣха?

— А вотъ послушай...

Тутъ чортъ повернулся къ жиду и сталъ считать по пальцамъ.

— Дерете съ людей проценты—разъ!

— Разъ!—повторилъ Янкель, тоже загибая палецъ.

— Людскими пѣтомъ-кровью кормитесь—два!

— Два!

— Спаиваете людей водкой—три!

— Три.

— Да еще горѣлку разбавляете водой—четыре!

— Ну, пускай себѣ четыре. А еще?

— Мало тебѣ, что ли? Ай, Янкель, Янкель!

— Ну, я не говорю, что этого мало, а только я говорю, что вы не знаете своего собственного дѣла. Вы думаете, мельникъ не беретъ проценты, вы думаете, мельникъ не кормится людскимъ пѣтомъ и кровью?...

— Ну, не брешь ты на мельника. Не такой онъ че-

ловѣе, онъ человѣкъ крещеный! А крещеный человекъ долженъ пожалѣть не только своихъ, а еще и чужихъ, вотъ хотя бы и васъ, жидовъ. Поэтому-то и трудно мнѣ къ крещеному приступиться.

— Ой-вай, какѣво это ошибка!— крикнулъ жидъ весело.— Ну, такъ я вамъ вотъ что буду говорить...

Онъ вскочилъ, и чортъ также приподнялся, и оба стояли другъ противъ друга. Жидъ что-то прошепталъ, указавъ черезъ спину на яворы, и, загнувъ палецъ, показалъ его чорту:

— Разъ!

— Брешешь, не можетъ этого быть!— сказалъ чортъ, немного даже испугавшись, и самъ посмотрѣлъ на яворы, гдѣ притаился Филиппъ.

— Пхе, я лучше знаю! А вы погодите.

Онъ опять пошепталъ и сказалъ:

— Два! А это вотъ,—и онъ еще разъ зашепталъ чорту на ухо,—будетъ три, какъ честный еврей!...

Чортъ покачалъ головой и повторилъ въ раздумьи:

— Не можетъ быть.

— Давайте объ закладъ побьемся. Если моя правда, то вы черезъ годъ меня отпустите цѣлаго и еще заплатите мнѣ убытки...

— Ха! я согласенъ. Вотъ это было бы штука, такъ штука! Тогда бы я попробовалъ свои силы...

— Ну, я вамъ говорю, вы сдѣлаете славный гешефтъ!...

Въ это время на селѣ крикнулъ тотъ же пѣтухъ, и хотя крикъ былъ такой же сонный и на него опять

никто нигдѣ не отделился среди молчаливой ночи, но Хапунъ встрепенулся.

— Э! ты мнѣ тутъ все сказки рассказываешь, а я и уши развѣсилъ. Лучше синица въ руки, чѣмъ журавль въ небѣ. Собирайся!

Онъ взмахнулъ крыльями, взлетѣлъ сажени на двѣ надъ плотиною и опять, какъ коршунъ, кинулся на бѣднаго Янкеля, запустивши въ спину его лапсердака свои когти и прилаживаясь къ полету...

Охъ, и жалобно же кричалъ старый Янкель, протягивая руки туда, гдѣ за горой стояла на селѣ его корчма, и называя по имени жену и дѣтокъ:

— Ой моя Сурке, ой Шлѣмка, Ителе, Мовше! Ой господинъ мельникъ, господинъ мельникъ, пожалуйста заступитесь, скажите три слова. Я-жъ вижу васъ, вотъ вы стоите тутъ, подъ яворомъ. Пожалѣйте бѣднаго жидка, вѣдь и жидъ тоже имѣетъ живую душу.

Очень жалобно причиталъ бѣдный Янкель! У мельника будто кто схватилъ рукою сердце и сжалъ въ горсти. А чертенокъ точно ждалъ чего,—все трепыхался крыльями, какъ молодой стрепетъ, не умѣющій летать, и тихо-тихо размахивалъ Янкелемъ надъ плотиною...

— Вотъ подлый чертенокъ,—думалъ про себя мельникъ, прятаясь получше за яворомъ,—только мучаетъ бѣднаго жидка! А тамъ, гляди, и пѣтухи еще запойутъ...

И только онъ подумалъ это, какъ чортъ захохоталъ на всю рѣку и разомъ взвился кверху... Мельникъ задралъ голову, но черезъ минуту чортъ казался уже не

больше вороны, потомъ воробья, потомъ мелькнулъ какъ муха, какъ комарикъ, и исчезъ.

А на мельника тутъ-то и напалъ настоящій страхъ: затряслись колѣнки, застучали зубы, волосы поднялись дыбомъ, такъ что будь на немъ въ это время шапка, то непременно свалилась бы, и ужъ самъ онъ не помнитъ хорошенъко, какъ его ноги занесли на мельницу, въ каморку...

VI.

— Стуть-стукъ!..

— Стукъ-стукъ-стукъ!... Стукъ-стукъ!...

Что-то стучало въ дверь мельницы, такъ что гулъ ходилъ по всему зданію, отдаваясь во всѣхъ углахъ. Мельникъ подумалъ, ужъ не чортяка ли вернулся,—не даромъ шептался о чемъ-то съ жидомъ,—и потому онъ заперлся съ головою въ подушку.

— Стукъ-стукъ!... Стукъ-стукъ!... Эй, хозяинъ, отчиняй!

— Не отчиню.

— А почему такъ не отчините?

Мельникъ приподнялъ голову.

— Э, кажись, голосъ подсыпки Гаврила... Гаврило, ты?

— А то кто?

— Побожись!

— Ну!

— Побожись.

— Да ну же, ей-Богу, я! Гдѣ-жъ это видано, чтобъ я да не я былъ? Еще и божись. Вотъ чудасія!...

Мельникъ все-таки повѣрилъ не сразу. Онъ взошелъ на-верхъ и тохонько посмотрѣлъ изъ оконца, что было надъ дверьми. Дѣйствительно, внизу у стѣны спокойно стоялъ подсыпка и дѣлалъ такое дѣло, что, пожалуй, никто и не слыхалъ, чтобы черти когда-нибудь такое дѣлали. У мельника отлегло отъ сердца, онъ сошелъ внизъ и отперъ дверь.

Подсыпку даже отшатнуло, когда онъ увидѣлъ мельника въ дверяхъ.

— Э! хозяинъ, что такое съ вами?

— А что?

— Да побойся Бога, зачѣмъ это ты морду всю въ мукѣ вымазалъ?—бѣлая, какъ стѣна!

— А ты, часомъ, не по-надъ рѣчкою ли шель?

— А по-надъ рѣчкою.

— А не глядѣлъ ли, часомъ, вверху?

— А можетъ глядѣлъ и вверху.

— А не видалъ ли, часомъ, того?...

— Кого?

— Кого!... Дурень! Того, что хапнулъ шинкаря Ян-желя.

— А какой его бѣсъ хапнулъ?

— Какой!... Извѣстно какой—жидовскій, Хапунъ! Не знаешь развѣ, какой у нихъ сегодня день?...

Подсыпка посмотрѣлъ на мельника мутнымъ взглядомъ и спросилъ:

— А вы на селѣ, часомъ, не были?

— Былъ.

— А въ шинокъ, часомъ, не заходили?

— Заходили...

— А горѣлки, часомъ, не выпили?

— Тыфу! Вотъ и говори съ дурнемъ. Я-жь своими глазами вотъ сейчасъ видѣлъ: чортака на плотинѣ отдыхалъ вмѣстѣ съ жидомъ.

— Гдѣ?

— Вотъ тутъ, на самой серединѣ.

— Ну, и что?

— Ну, и...—мельникъ свиснулъ и махнулъ рукою по воздуху.

Подсыпка посмотрѣлъ на плотину, потомъ, задравши голову, на небо и почесалъ въ чупринѣ.

— Э, вотъ это такъ чудасія! Что-жь теперь будетъ? Какъ же теперь безъ жида?

— А на что тебѣ непременно жидъ, а?

— Да не то что мнѣ... А все-таки... Э, не говорите, хозяинъ: безъ жида какъ-то оно не того... безъ жида не можно и быть...

— Тю!... Дурень, такъ дурень и есть!

— Э, что вы лаетесь! Я и самъ не скажу, что я умный, а все-таки знаю, что просо, а что гречка; работать иду на мельницу, а водку пить—въ шинокъ. Вотъ вы и скажите мнѣ, когда вы такой умный: кто-жь у насъ теперь будетъ шинковать?

— Кто?

— А таки кто?

— А можетъ и я!

— Вы?

Подсыпка посмотрѣлъ на мельника, вылупивши глаза, потомъ покачалъ головою, щелкнулъ языкомъ и сказалъ:

— А, развѣ что такъ!

Тутъ только мельникъ замѣтилъ, что подсыпку плохо держать ноги и что парубки опять подбили ему лѣвый глазъ. Да и хара же была у этого подсыпки, сказать правду, такая паскудная, что всякому человѣку, при взглядѣ на нее, хотѣлось непременно плюнуть. А поди ты! До дѣвчатъ былъ самый проворный человѣкъ и не разъ-таки парни дѣлали на него облаву, а когда удавалось изловить, то бивали до полусмерти... Что бивали, это, конечно, еще не большое диво, а то чудно, что было-таки за что бить!

„Вотъ вѣдь нѣтъ на свѣтѣ такой паскудной хари,—подумалъ, глядя на него, мельникъ,—которую бы ни одна дѣвка не полюбила. А то и двѣ, и три, и десять... Тѣфу ты пропасть!...“

— Вотъ что, Гаврилушко,—сказалъ все-таки мельникъ ласковымъ голосомъ,—поди лягъ со мною. Когда человѣкъ видѣлъ такое, чтó я видѣлъ, такъ что-то бываетъ страшно.

— А мнѣ что? То и лягу.

Черезъ минуту какую-нибудь подсыпка началъ уже посвистывать носомъ. А скажу вамъ,—я разъ тоже на мельницѣ ночевалъ,—такого свистуна носомъ, какъ тотъ подсыпка, другого и не слыхалъ. Кто этого не любитъ, такъ ужъ съ нимъ въ одной хатѣ не ложись,—всю ночь бывало не уснешь...

— Гаврило,—сказалъ мельникъ,—эй, Гаврило!

— А что еще, чего бы я это и самъ не спалъ, и другому не давалъ?

— Били тебя опять?

— Ну, такъ что?

— Гдѣ?

— Отъ, все надо вамъ знать. На Коднѣ!

— Ужъ и на Коднѣ?... Зачѣмъ тебя туда несло?

— Зачѣмъ... Чего бы я спрашивалъ, гы-гы-гы!...

— Мало тебѣ ново-каменскихъ дѣвокъ!

— Тьфу! Миѣ на нихъ и смотрѣть уже на ново-каменскихъ обридло. Ни одной по миѣ нѣтъ.

— А Галя вдовина?

— Галя... А что-жъ такое Галя?

— А ты къ ней ходилъ?

— Такъ неужели же нѣтъ?

Мельника даже подвинуло на постели.

— Брепешъ, собачій сынъ, чтобы твоей матери лихорадка!

— Вотъ же и не брешу, я и никогда не брешу. Пускай за меня умные брепуть.

Подсыпка зѣвнулъ и сказалъ засыпающимъ голосомъ:

— Помните, хозяинъ, какъ у меня правый глазъ на всю недѣлю запухъ, что и не было видно...

— Ну?

— Она это, собачья дочка, такъ угощаетъ... Тьфу на нее, вотъ что!... А то еще: Галя!

— „Развѣ что такъ“,—подумалъ мельникъ.—Гаврило, а Гаврило!... Отъ, собачій сынъ, опять засвистѣлъ... Гаврило!

— Что еще? Загорѣлось, что ли?

— Хочешь ты жениться?

— Сапоговъ еще не спилъ. Вотъ сошью, тогда и подумаю.

— А я бы тебѣ справилъ чоботы на дегтю... И шапку, и поясъ.

— Развѣ что такъ. А вотъ я что вамъ скажу, такъ это будетъ еще умнѣе.

— А что?

— А то, что уже на селѣ пѣтухи поютъ. Слышите, какъ заводятъ?

А и правда: на селѣ, можетъ-быть въ Галиной хатѣ, кричалъ-надрывался горланъ-пѣтухъ: ку-ка-ре-ку-у...

— Ку-ка-ре-ку-у... ку-у... ку-у... отвѣчали ему на голоса и ближніе, и дальніе, съ другого конца села, такъ что отъ пѣтушиныхъ голосовъ точно въ котлѣ кипѣло, да и въ стѣнахъ каморки побѣлѣли уже всѣ, да же самыя маленькія, щели.

Мельникъ сладко зѣвнулъ.

— Ну, теперь они далеко. Шутка сказать: пока пробило двѣнадцать, ужъ онъ изъ города до моей мельницы долетѣлъ. Ге-ге, теперь поминай Янкеля какъ звали... Вотъ штука, такъ штука! Если эту штуку кому-нибудь рассказать, то еще, пожалуй, брехуномъ назовутъ. А мнѣ что брехать: сами завтра увидятъ. Мнѣ объ этомъ, пожалуй, и говорить не стѣитъ. Еще скажутъ про меня, что я... Э, да, что тутъ толковать! Когда бы я самъ жида убилъ, или что-нибудь такое, тогда былъ бы въ отвѣтъ, а тутъ я непричемъ. Что мнѣ было мѣшаться

въ это дѣло? Моя хата съ краю, я ничего не знаю. Ъшь пирогъ съ грибами, а держи языкъ за зубами; ду-рень кричить, а разумный молчить... Вотъ и я себѣ молчалъ!...

Такъ говорилъ самъ себѣ мельникъ Филиппъ, чтобы было легче на совѣсти, и только когда уже вовсе сталъ засыпать, то изъ какого-то уголка въ его сердцѣ выползла, какъ жаба изъ норы, такая мысль:

— Ну, Филиппъ, настало твое время!

Эта мысль прогнала у него изъ головы всѣ другія и сѣла хозяйкою.

Съ тѣмъ и заснулъ.

VII.

Вотъ раненько утромъ, роса еще блеститъ на травѣ, а мельникъ уже одѣлся и идетъ по дорогѣ въ село. Приходить на село, а тамъ ужъ люди спуютъ, какъ въ муравейникѣ муравьи: „Эй! не слыхали вы новость? Вмѣсто шинкаря привезли изъ городу одни патынки“.

Вотъ было въ то утро въ Новой-Каменкѣ и разговоровъ, и пересудовъ, да не мало-таки и грѣха!

Вдова Янкеля, получивъ вмѣсто мужа пару патынокъ, совсѣмъ растерялась и не знала что дѣлать. Вдобавокъ еще Янкель, съ большого ума, да не надѣявшись, что его заберетъ Хапунъ, захватилъ съ собою въ городъ всю выручку и всѣ долговья росписки съ бумажникомъ. Конечно, могъ ли бѣдный жидъ думать, что изъ цѣлаго кагала выхватитъ именно его.

— Вотъ такъ-то всегда человѣкъ: не чувствуетъ, не гадаетъ, что надъ нимъ невзгода, какъ тотъ Хапунъ, летаетъ, — толковали про себя громадскіе люди, покачивая головами и расходясь отъ шинка, гдѣ молодая еврейка и ея бахори (дѣти) бились объ землю и рвали на себѣ волосы. А, между прочимъ, каждый думалъ про себя: „вотъ вѣрно и моя записъ улетѣла теперь къ чорту на куличьи!“

Э, сказать правду, такъ не очень много нашлось въ громадѣ такихъ людей, у которыхъ заговорила маленько совѣсть: „а таки не грѣхъ бы отдать жидамъ если не съ процентами, то хоть чистыя деньги...“ А если ужъ говорить всю правду, цѣликомъ, то никто не отдалъ ни ломанаго шеляга...

Не отдалъ и мельникъ. Ну, да мельникъ себя въ счетъ не ставилъ.

Вотъ вдова Янкеля и просила, и молила, и въ ногахъ валялась, и даже бахорей заставляла по землѣ ползать, чтобы добрые господа-громадяне согласились отдать хоть по полтинѣ за рубль, хоть по двадцати грошей, чтобы имъ всѣмъ, сиротамъ, не подохнуть съ голоду, да какъ-нибудь до городу добраться. И не одинъ-таки хозяинъ съ добрымъ сердцемъ растрогался до такой степени, что слезы текли по усамъ, и кое-кто толкнулъ-таки локтемъ сосѣда:

— Побоялись бы вы Бога, сосѣдъ! Вы-жь, кажется что-то такое должны были жиду. Отдали бы вотъ... Ей-Богу, надо бы вамъ хоть сколько-нибудь отдать!

Но сосѣдъ только скребъ чуприну подъ шапкой.

— А что мнѣ отдавать, когда я ему самому, какъ онъ въ городѣ ѣхалъ, своими руками всѣ деньги принесъ, до послѣдняго грошика. Второй разъ стану платить, что ли? Вотъ вы, сосѣдъ, другое дѣло...

— А почему это другое дѣло, когда какъ разъ то же самое, какъ и у васъ? Незадолго до отъѣзда пришелъ ко мнѣ Янкель, да какъ сталъ просить: отдай, да отдай!— я и отдалъ.

Мельникъ слушалъ все это, и у мельника болѣло сердце: вотъ народъ! Эхъ, народъ какой! Нисколько не боятся Бога! Такъ же, видно,—только доведись,—и со мною расчитаются... Ну, панове-громадо, видно вамъ плохо не клади,—какъ разъ утятете; да и кто вамъ палецъ въ ротъ сунетъ, тотъ чистый дуракъ!... Нѣтъ, ужъ отъ меня не дождетесь: я-таки не буду дурнемъ. Вы мнѣ этакъ въ кашу не наплюете. Лучше ужъ я самъ вамъ наплюю!

Одна только старая Прися принесла жидовкѣ двадцатка яицъ да половину новины и отдала за сколько-то грошей, чтѣ осталась должна шинкарю.

— Бери, небѣго, не взыщи! Осталось тамъ за мною еще сколько-то, такъ отдамъ, какъ Богъ дастъ. Послѣднее и то принесла.

— Вотъ хитрая баба! — обозлился опять мельникъ.— Вчера мнѣ ничего не отдала, а для жидовки такъ вотъ же и нашлось. Ну, и народъ! Старымъ и то нельзя стало вѣрить. Крещонному человѣку не могла отдать, а поганой жидовѣ все приволокла. Погоди, старая, сочтусь я съ тобою послѣ...

Вотъ собрала Янкелѣха своихъ бахорей, продала за безцѣнокъ „бебѣхи“ и водку, какая осталась,—а и осталось немного: Янкель хотѣлъ изъ городу бочку везти, да еще люди говорили, будто Харько нацѣдилъ себѣ изъ остатковъ ведерко-другое,—и побрела пѣшкомъ изъ Новой-Каменки. Бахори за нею... Двухъ несла на рукахъ, третій тащился, ухватаясь за юбку, а двое старшихъ бѣжали въ припрыжку...

И опять міряне скребли свои потѣлицы (затылки). У кого была совѣсть, тотъ себѣ думалъ: „Хоть бы подводу дать за жидовскія деньги, все бы немного на душѣ полегчало“. Да видите, побоялся каждый: пожалуй, люди догадаются, что, значить, онъ съ жидомъ не разсчитался. А мельникъ опять думалъ: „ну, народъ! Вотъ такъ же и меня рады будутъ спровадить, если я когда-нибудь спотыкнусь или дамъ маху“.

Такъ-то бѣдная вдова и поплелась себѣ въ городъ, и ужъ Богъ ее знаетъ, что тамъ съ нею подѣялось. Можетъ присосалась гдѣ съ дѣтьми къ какому-нибудь дѣлу, а можетъ и пропали всѣ до одного съ голоду. Всего бываетъ! А впрочемъ, жида своего не покидаютъ. Худо-худо, а все-таки дадутъ какъ-нибудь прожить на свѣтѣ.

Стала послѣ этого громада толковать, кто-жъ теперь у нихъ, въ Новой-Каменкѣ, будетъ шинкаремъ. Потому что, видите ли, хоть Янкеля не стало, хоть и шинкарка и шинкарята побрели въ свѣтъ за-очи, а шинокъ все стоялъ себѣ на пригорочкѣ и на дверяхъ остались намазанные бѣлою краской кварта и жестяной врючокъ; ну, и все остальное было на мѣстѣ.

И даже Харько сидѣлъ себѣ на пригорочкѣ и поку- ривалъ люльку, выжидая, кого-то Богъ пошлетъ ему въ ховяева.

Правда, одинъ разъ, подѣ вечеръ, когда громадскіе люди стояли у пустой корчмы и разговаривали о томъ, кто теперь у нихъ будетъ шинковать и корчмарить, — подошелъ къ нимъ батюшка и, низенько поклонясь всѣмъ (громада—великій человѣкъ, передъ громадою не грѣхъ поклониться хоть и батюшкѣ), началъ говорить о томъ, что вотъ хорошо бы составить приговоръ и ши- ноу*закрѣпить на вѣки вѣчные. Онъ бы, батюшка, и бу- магу своею рукой написалъ и отослалъ бы ее къ пре- освященному. И было бы все это весьма радостно, и благолѣпно, и міру преблагополучно.

Старые люди, а за стариками и бабы, стали-было го- ворить, что это батюшкина чистая правда, а мельнику то слово показалось совсѣмъ неправильно и даже обидно.

„Вотъ тебѣ и батько!—подумалъ онъ съ сердцемъ,— вотъ тебѣ и пріятель! Даромъ что самъ меня не разъ водочкой угощалъ. А тутъ вотъ, поглядите, что придумалъ. Да еще и потаился, ничего мнѣ не сказалъ раньше. Ай, батько-батько! Да нѣтъ, погоди еще, панъ-отче, что будетъ...“

— Вотъ это-таки, батюшка, ваша правда, — льстиво заговорилъ онъ, — что отъ той бумаги будетъ благопо- лучно... А только не знаю я кому: громадѣ или вамъ. Сами вы, — не взъщите на моемъ словѣ! — завсегда во- дочку изъ города привозите, то вамъ и не надо шинка. А

таки и то вамъ на руку, что владыка станетъ вашу бумагу читать да похваливать.

Вотъ вѣдь какую хитрую рѣчь подвелъ подъ этого батьку, что и самъ себѣ дивился. „Э! — подумалъ онъ про себя, — дайте Филиппу Гладкому шинокъ въ руки забрать, то онъ уже всѣхъ умнѣе будетъ“.

Громада вся такъ и зареготала въ голосъ, а батюшка только плюнулъ отъ великой досады, нахлобучилъ соломенную шляпу и пошелъ себѣ прочь отъ шинка по улицѣ, будто не за тѣмъ и приходилъ, а будто шелъ себѣ на вечернюю прогулку.

А мельникъ повернулся къ людямъ и говоритъ:

— Э! не то батько совѣтуетъ, что надо. А вотъ я, чтобъ вамъ свои головы не турбовать, придумалъ, какъ міръ изъ бѣды вызволить. И жиды у насъ на селѣ не будутъ, и челоуѣку всегда можно будетъ выпить чарочку по своей волѣ.

— А скажи, скажи, мы послушаемъ, — отвѣтили люди.

Ну, что ужъ тутъ рассказывать много, да долго! Ужь, я думаю, вы и безъ того догадались, что мельникъ задумалъ самъ корчмарить въ той самой жидовской корчмѣ. А задумавши, поговорилъ хорошенько съ громадою, угостилъ-таки кого надо, въ земскомъ судѣ съ исправникомъ умненько потолковалъ, въ уѣздномъ — съ подсудкомъ, потомъ съ казначеемъ, а наконецъ-таки со ставнымъ приставомъ и съ акцизнымъ надзирателемъ.

Вернувшись послѣ всего этого на село, пошелъ мельникъ къ шинку, а тамъ сидитъ Харько и покуриваетъ

на пригорочкѣ люльку. Мельникъ только мотнулъ ему головой, какъ Харько,—хоть и гордый человѣкъ,—тотчасъ вскочилъ на ровныя ноги и подбѣжалъ къ нему.

— Ну, что скажешь? — спросилъ у него мельникъ.

— А что мнѣ говорить? Подожду, не скажете ли вы мнѣ чего-нибудь...

— То-то!

Не сталъ уже теперь мельника словами гвоздить, а сгребъ въ обѣ руки картузъ и, выслушавши, что ему сказалъ Филиппъ, отвѣтилъ умненько:

— Радъ стараться для вашей хозяйской милости!...

И сталъ мельникъ шинковать и пановать въ Новой-Каменкѣ лучше Янкеля, и сталъ сдавать людямъ на выпасъ свои карбованцы, а какъ придетъ срокъ—сгонять ихъ опять въ свою скрыню, вмѣстѣ съ приплодомъ. И никто ужъ ему не мѣшалъ въ Новой-Каменкѣ.

А что люди не разъ отъ него плакали горькими слезами,—ну, и это тоже правда, а правду нигуда не дѣнешь. Таки плакали не мало: можетъ не меньше, чѣмъ отъ Янкеля, а можетъ еще и побольше,—этого ужъ я вамъ не скажу навѣрное. Кто тамъ мѣрилъ мѣрою людское горе, кто считалъ счетомъ людскія слезы?...

Э! никто не мѣрилъ, никто и не считалъ, а старые люди такъ говорятъ: идетъ или ходитъ, на одно выходитъ, что кляукой, что палкой—все спинѣ не сладко... Не знаю какъ кто, а я думаю, что это правда...

VIII.

Вотъ, признаться вамъ, и не хотѣлось бы мнѣ про своего пріятеля такое рассказывать, а дѣлать нечего: началъ, такъ надо довести до конца; изъ пѣсни, говорится, и слова одного не выкинешь... Притомъ, если ужъ и самъ мельникъ не скрываетъ, такъ зачѣмъ я стану скрывать?...

А штука, видите, въ томъ, что надъ старою вдовой, да надъ молоденькою вдовиной Галей задумалъ мой мельникъ такое нехорошее дѣло, что ужъ, навѣрное, ни одному жиду и въ голову не придетъ.

Это ужъ вѣрно! Старому Янкелю только и нужна была людская копѣйка. Бывало, гдѣ хотъ краемъ уха слышитъ, что у человѣка болтается въ карманѣ рубль или хотъ два, такъ у него сейчасъ и засверлитъ въ сердцѣ, сейчасъ и придумываетъ такую причину, чтобы того рубля, какъ карася изъ чужого пруда, выудить да перепустить къ себѣ для разводу. Удалось,—онъ и радуется себѣ со своей Суркой.

Ну, а ужъ мельнику этого мало. Янкель самъ передъ всякимъ человѣкомъ въ три погибели гнулъся, а мельникъ людей гнетъ, а самъ голову деретъ кверху, какъ индюкъ. Янкель, бывало, юркнетъ къ становому съ задняго хода и трѣсится у порога, а мельникъ валится на ерыльцо, какъ въ свою хату. Янкеля если подъ пьяную руку кто и въ ухо зайдетъ, такъ онъ сильно не обижался: повизжитъ да и перестанетъ, развѣ потомъ выторгуетъ лишній пятакъ. А мельникъ и самъ не одному

христіанину такъ чурипу скубнетъ, что, пожалуй, и въ рукахъ останется, а изъ глазъ искры, какъ на кузницѣ изъ-подъ молота, посыплются... Да, вотъ какое дѣло: мельнику и денежки отдай, и почетъ. И отдавали, нечего грѣха таить. Передъ иконою люди низко кланялись, а передъ моимъ пріятелемъ еще ниже.

А ему все что-то мало. Ходить сердитый, да невеселый, будто его щенокъ какой за сердце теребитъ. И все себѣ думаетъ:

„А не такъ что-то на свѣтѣ устроено,—нѣтъ, не такъ! Что-то человѣку и съ деньгами не такъ весело, какъ бы хотѣлось“.

Вотъ разъ Харько его и спрашиваетъ:

— А что вы это, хозяинъ, невеселый все ходите, будто кто васъ въ помой окунулъ? Чего еще ваша хозяйская душа хочетъ?

Мельникъ ему и признался.

— Можетъ, еслибъ я женился, то стало бы мнѣ повеселѣе.

— Такъ и оженитесь, на здоровье вамъ.

— То-то вотъ и оно. А какъ тутъ ожениться, когда дѣло не выходить, съ какой стороны за него ни ухватись? Я ужъ скажу тебѣ правду: какъ былъ я еще не мельникъ, а только подсыпца, то любилъ тутъ на селѣ съ Галей вдовиной, можетъ знаешь... И еслибъ дядько не утопъ, то былъ бы я уже женатый. А теперь самъ ты рассуди: вѣдь я ей не ровня.

— Какая тутъ ровня! Вамъ теперь только и жениться, что на богача Макогона дочкѣ, на Мотрѣ.

— Вотъ! Я и самъ вижу, и люди говорятъ всѣ однимъ голосомъ, что до моимъ деньгамъ Макогоновъ какъ разъ придутся... Такъ опять... очень она противная. Сидитъ цѣлый день, какъ здоровая копна сѣна, да все только сѣмечки лущить. Накидаетъ за день кругомъ себя скорлупъ, что снѣгу. Какъ взгляну на нее окомъ, такъ будто кто меня за носъ возьметъ да и отворотить отъ нея насильно... То ли дѣло Галя!... Вотъ и говорю: не такъ какъ-то на свѣтѣ устроено. Одну полюбилъ бы,—хватъ, а деньги-то у другой... Вотъ изсохну когда-нибудь, какъ былинка... Свѣтомъ гнушаюсь...

Солдатъ вынулъ изъ рта свою носогрѣйку, сплюнулъ въ сторону и говорить:

— Плохо! Другой человекъ ни за что и не придумалъ бы, какъ этому дѣлу помочь, а я присовѣтую, такъ не пожалѣете, что послушались. А пожалуй еще отдадите новые сапоги, что остались отъ Опанаса въ залогъ, а?...

— Ну? За такое дѣло и сапоговъ не жаль, только вѣрно ли ты придумалъ?...

И дѣйствительно, придумалъ подлый солдатъ,—бѣсъ его не взялъ!—такое придумалъ, что еслибъ все вышло по его слову, да немного пораньше,—теперь ужъ на мельникѣ черти, пожалуй, на томъ свѣтѣ воду бы давно возили, и я бы вамъ эту исторію не рассказывалъ...

— Вотъ,—говорить,—слушайте хорошенько. Стало-быть есть васъ трое людей,—одинъ мужикъ да двѣ дѣвки. И стало-быть нельзя никакъ одному на двухъ жениться, потому что вы не турецкой вѣры.

„Вотъ, подлый, какъ все вѣрно сказалъ!—подумаль-мельникъ.—Что-то будетъ дальше?“

— Хорошо! Какъ вы богатый человѣкъ и Мотря богатая невѣста, такъ тутъ ужъ и малому ребенку ясно, кто на комъ долженъ жениться. Посылайте сватовъ къ старому Макогону.

— Правда! Да только я это зналъ и безъ тебя... А какъ же съ Галей?

— А вы дослушали до конца? Или можетъ сами знаете, что я хотѣлъ сказать?...

— Ну-ну, ужъ и осердился!

— Вы всякаго человѣка разсердите. Не такой я человѣкъ, чтобы начать рѣчь, да и не кончить. Будетъ и о Галѣ рѣчь. Она васъ любила?

— А такъ такъ!

— А вы-жъ тогда кто были, какъ она васъ любила?

— Подсыпка.

— Такъ это опять малый ребенокъ пойметъ: когда дѣвка любила подсыпку, то и быть ей замужемъ за подсыпкой.

Мельникъ вынулъ глаза и въ головѣ у него, точно на мельницѣ въ помолъ, все пошло кругомъ.

— Да я же теперь не подсыпка!

— Вотъ бѣда какая! А развѣ у васъ на мельницѣ нѣтъ подсыпки?...

— Это Гаврило?... Э-э, вотъ ты что придумалъ... Пускай же, когда такъ, онъ тебѣ и сапоги дарить за такую придумку. А я скажу на это, что не дождетъ ни онъ,

ни его дядя съ тетками, чтобъ я такое дѣло потерпѣлъ. Вотъ лучше пойду, да ноги ему и переломая.

— А, какой горячій человѣкъ, хоть яйца въ немъ пеки!... Да я-жь совсѣмъ другое хотѣлъ вамъ сказать, а вы ужъ и скипѣли, и полились черезъ край.

— А что-жь ты еще послѣ такой штуки можешь сказать, когда мнѣ это не нравится?

— А вы послушайте.

Харько вынулъ люльку изо рта, посмотрѣлъ на мельника, прищуривши одинъ глазъ, и такъ прицѣлилъ языкомъ, что у того сразу стало веселѣе на сердцѣ...

— А вы, говорю, ее любили и бѣдную?...

— То-то что любилъ!...

— Ну, такъ и любите себѣ на здоровье, когда она будетъ за подсыпкой. Вотъ теперь и моей рѣчи конецъ: вотъ вы всѣ трое и будете жить на одной мельницѣ, а четвертый дурень не въ счетъ... Ага! теперь поняли, чѣмъ я васъ угощаю, медомъ или дегтемъ? Нѣтъ, Харьковъ били не по головѣ, а куда слѣдуетъ, оттого и умный вышелъ: знаетъ кому достанется орѣхъ, кому скорлупа, а кому новые сапоги...

— А можетъ еще и не выйдетъ это дѣло?

— Почему-жь ему не выйти?

— Мало ли почему. Вотъ старый Макогонъ не согласится.

— Вотъ! Когда-бъ я съ нимъ не говорилъ!...

— Ну?

— То-то. Ъхалъ изъ городу съ водкой, а онъ — на-

встрѣчу. То, да се, и говорю: „Вотъ вашей дочери женихъ — нашъ мельникъ“.

— А онъ что?

„— Не дождетъ, говорить, ваша бабушка! Что, говорить, онъ стóбитъ?“

— А ты что?

— А я говорю: „Дѣйствительно, бабушка не дождетъ, потому что она—царство небесное!—у насъ давно померла. А вы видно не знаете, что нашего жиды, вотъ уже около году, унесъ чертака?“

„—А когда такъ,— говорить,—то дѣло другое: какъ жиды на селѣ не стало, то и мельникъ—стоющій чело-вѣкъ...“

— Ну, хорошо, Макогонъ согласится. Такъ еще Галы пойдеть ли за подсыпку?...

— Э, какъ дѣвѣу съ матерью погонять изъ хаты, то рада будетъ жить и на мельницѣ.

— Такъ-то оно такъ...

IX.

Мельникъ почесался. А дѣлу этому, вотъ что я вамъ рассказываю, уже идетъ не день, а безъ малаго цѣлый годъ. Не успѣлъ какъ-то мельникъ и оглянуться,—куда дѣвались и Филипповки, и Великій постъ, и весна, и лѣто. И стоитъ мельникъ опять у порога шинка, а подлѣ, опершись спиной о косякъ, Харько. Глядь, а на небѣ такой самый мѣсяцъ, какъ годъ назадъ былъ, и такъ же

рѣчка искрится, и улица такая же бѣлая, и такая же черная тѣнь лежитъ съ мельникомъ рядомъ на серебряной землѣ. И что-то такое мельнику вспомнилось.

— Э, послушай, Харько!

— А что?

— Какой сегодня день?

— Понедѣльникъ.

— А тогда, помнишь, какъ разъ суббота была.

— Мало ли ихъ было субботъ...

— Тогда, годъ назадъ, въ судный день.

— А, вотъ вы что вспомнили! Да, тогда была суббота.

— А теперь когда у нихъ судный день придется?

— Вотъ я и самъ не скажу, когда онъ придется.

Жиды по близости нѣтъ, такъ и не знаю.

— А небо, гляди, какое чистое, какъ разъ такое, какъ и въ тотъ день...

И мельникъ со страхомъ посмотрѣлъ на окна жидовской хаты,—не увидитъ ли опять, какъ жиденята мотаютъ головами, и жужжать, и молятся о своемъ батькѣ, котораго Хапунъ тащить надъ полями и долинами...

Э, нѣтъ! То все уже прошло. Отъ Янкеля не осталось, должно быть, и косточекъ, сироты пошли по дальнему свѣту, а въ хатѣ темно, какъ въ могилѣ... И на душѣ у мельника такъ же темно, какъ въ этой пустой жидовской хатѣ. „Вотъ, не выручилъ я жиды, осиротилъ жиденятъ,—подумалъ онъ про себя.—А теперь что-то такое затѣваю со вдовиной дочкой...“

— Эй, хорошо ли оно у насъ будетъ?—спросилъ онъ Харька.

— А чѣмъ плохо? Оно, правда, есть и такіе люди, что меду не ѣдятъ. Можеть вы изъ такихъ...

— Не изъ такихъ я, а все-таки... Ну, прощай!

— Прощайте и вы.

Мельникъ пошелъ съ пригорка, а Харько опять посвисталъ ему вслѣдъ. Посвисталъ ему хоть и не такъ обидно, какъ тотъ разъ, а все-таки мельника задѣло за живое.

— А ты что свищешь, вражій сынъ?—сказалъ онъ, обернувшись.

— Вотъ ужъ и посвистать нельзя стало человѣку!—обидѣлся Харько.—Я у капитана въ денщикахъ жилъ, и то свисталъ себѣ, а у васъ нельзя.

„Правда,—подумалъ мельникъ,—отчего бы ему и не свистать. А только зачѣмъ это все такъ дѣлается, какъ въ тотъ вечеръ?...“

Онъ пошелъ съ пригорка, а Харько все-таки посвисталъ еще, хоть и тише... Пошелъ мельникъ мимо вишневыхъ садовъ, глядъ—опять будто двѣ большихъ птицы порхнули въ травѣ, и опять въ тѣни бѣлѣетъ высокая смушковая шапка, да дѣвичья шитая сорочка, и кто-то чмокаетъ такъ, что въ кустахъ отдается... Тьфу ты пропасть! Не сталъ ужъ тутъ мельникъ и усовѣщивать проклятаго парня,—боялся, что тотъ ему отвѣтитъ какъ разъ по-прошлогоднему... И подошелъ нашъ Филиппъ тихими шагами ко вдовину перелазу.

Вотъ и хатка горитъ подъ мѣсяцемъ, и оконце жмурится, и высокій тополь купается себѣ въ мѣсячномъ свѣтѣ... Мельникъ постоялъ у перелаза, почесался подъ шапкой и опять занесъ ногу черезъ тынъ.

Стукъ-стукъ!

„Охъ, и будетъ опять буча, какъ тотъ разъ, а то и похуже,—подумалъ про себя мельникъ. — Проклятый Харько своими проклятыми словами такъ мнѣ все хорошо расписалъ... А теперь, какъ станешь вспоминать, оно и не того... и не выходитъ въ тѣхъ словахъ настоящаго толку. Э, что будетъ, то и будетъ!“—И онъ брякнулъ опять.

Вотъ въ оконцѣ промелькнуло блѣлое лицо и черныя очи.

— Мамо моя, мамонько,—зашептала Галя.—А это же опять проклятушій мельникъ подъ оконцемъ стоитъ, да по стеклу брякаетъ.

— Ой, доню! Выйди ты, серденько, спроси, чего ихъ милости надо...

— Вышли бы вы, мамо, сами.

— Не здоровится мнѣ. Да и не меня ему, старую, надо. Что-то я ужъ изъ ума выжила, ничего не понимаю,—а вы, молодые, можетъ какъ-нибудь и сговоритесь ладкомъ. Ты у меня разумница...

„Эхъ, не выскочить на этотъ разъ, не обойметъ, не поцѣлуетъ хоть ошибкой, какъ тогда!...“—подумалъ про себя мельникъ, и таки угадалъ: вышла дѣвка тихонько изъ хаты и стала себѣ поодоль, сложивъ руки подъ блѣлою грудью.

— А чего это опять стучишь?

Эхъ, горько слушать такія холодныя слова отъ дѣвки, съ которою прежде человѣкъ горячо любился... Хотѣлось мельнику охватить дѣвичій станъ, да показать ей

сейчасъ, зачѣмъ стучалъ, и даже, правду сказать, уже пододвинулся онъ бочкомъ-бочкомъ къ Галѣ, да вспомнилъ, что еще надо Харьковы слова высказать, и говорить:

— А что мнѣ и не стучать, когда вы мнѣ столько задолжали, что никогда и не выплатитесь... Того и хата ваша не стѣить.

— А когда знаешь, что никогда не выплатимъ, то незачѣмъ и стучать по ночамъ, безбожный человѣкъ! Старую мать у меня въ могилу гонишь.

— А какой ее бѣсъ, Галю, въ могилу гонить. Если бы ты только захотѣла, я бы твоей матери старость успокоилъ.

— Брешешь все!

— Нѣтъ, не брешу! Ой, Галю, Галю, не могу я такъ жить, чтобы съ тобой не любиться!...

— Бреши, какъ собака на вѣтеръ... А кто задумалъ въ Макогону сватовъ засылать?

— Да ужъ думалъ или нѣтъ, а я тебѣ щирую правду говорю, хоть прикажи побожиться: сохну безъ тебя и вяну... Ой, какъ та былиночка въ полѣ, какъ тотъ яворъ, что ему вода подмыла ворни...

— Ой, что-жъ это такое, мамо моя родная! Чтò этотъ человѣкъ вотъ тутъ говорить?... Ой, бѣдная я, бѣдная сиротинка, сейчасъ ему повѣрю... Филиппею, да какъ же это ты надумалъ, да какъ же это у насъ будетъ?...

Филиппъ не далъ ей договорить, осторожно отошелъ шага на два и говорить:

— А вотъ какъ будетъ у насъ, я тебѣ сейчасъ по

порядку расскажу, а ты, если ты умная дѣвѣа, послушаешься меня. Да только, смотри, уговоръ: слушай ты меня ухомъ, да отвѣчай языкомъ, а руками чтобы ни-ни! А то я разсержусь.

— Чудно что-то ты принимаешься, — сказала Галя, сложивши руки. — Ну, я послушаю, а только смотри, если ты опять дурницу (глупости) понесешь, тогда и не проси ты своего бога...

— Э, не дурницу... Вотъ видишь ты... какъ это Харько начиналъ...

— Харько? А что тутъ между нами Харьку еще начинать?

— Э, помолчи, а то я не скажу ничего хорошаго... Отвѣчай: ты меня любила?

— Ну, стала бы я такую скверную харю цѣловать, когда-бъ не любила?...

— А я кто тогда былъ: подсыпка, или нѣтъ?

— А подсыпка. Далъ бы Богъ, чтобъ и никогда не былъ мельникомъ.

— Тю! не говори лишнихъ словъ, а то я собоюсь... Выходить такъ, что ты любила подсыпку, такъ, значить, и судьба тебѣ выйти замужъ за подсыпку и жить на мельницѣ. А какъ я тебя прежде любилъ, такъ и послѣ буду любить, хоть бы сватался къ десяти Мотрямъ...

Галя даже глаза себѣ протерла, — не снится ли ей сонъ.

— А что это ты такое несешь, человѣче? Или я вовсе дура, или у тебя въ головѣ одной клепки не хватаетъ. Какъ же это я пойду за подсыпку, когда ты теперь

мельникъ? И какъ ты на мнѣ женишься, когда сватовъ пошлешь къ Мотрѣ, а?... Что ты это несешь, человѣче, перекрестись ты лѣвой рукой.

— Вотъ еще!—сказалъ мельникъ.—Развѣ же у меня на мельницѣ нѣтъ подсыпки? А Гаврило... чѣмъ тебѣ не подсыпка? Что маленько дурень, это правда, такъ намъ это, Галечко, еще лучше, я тебѣ по правдѣ скажу.

Тутъ только дѣвка разобрала, куда мельникъ клонить хитрую рѣчь. Какъ всплеснетъ вдругъ руками, да какъ заголосить:

— Ой, мамо, мамонько, что онъ тутъ говоритъ! Да это-жъ онъ, видно, въ турки хочетъ записаться, да двухъ женъ завести. Тащи, мамонько, вочергу изъ хаты, а я покажѣсть своими руками съ нимъ расправлюсь...

Да на мельника, а мельникъ отъ нея... Отбѣжалъ до перелаза, сталъ на немъ ногой и говорить:

— А, такъ-то ты, гадюка! Такъ выбирайтесь обѣ съ матерью изъ хаты. Завтра отберу за долги. Геть!

А она ему:

— Выбирайся и ты, турка, сейчасъ изъ моего саду, пока онъ мой. А то какъ вцѣплюсь вотъ сейчасъ ногтями, то и Мотря твоя не узнаетъ, гдѣ у тебя что было,—не то что двухъ любить, и одна на тебя безглазаго глядѣть не станетъ.

Вотъ и говори съ нею! Плюнулъ мельникъ, скоренько соскочилъ съ тына и пошелъ изъ села сердитый. Вышелъ на гребень горы, откуда уже слышно было, какъ вода въ лоткахъ шумить, тамъ еще обернулся и погрозилъ кулакомъ...

А въ это время какъ разъ: динь, дин-н-ъ...

Опять зазвонили на селѣ, на звонницѣ, самую полночь...

Х.

Мельникъ подошелъ къ своей мельницѣ, а мельница вся въ росѣ, и мѣсяцъ свѣтитъ, и лѣсъ стоитъ и сверкаетъ, и бугай, проекая птица, бухаетъ въ очеретахъ, не спитъ, будто поджидаетъ кого, будто кого выкликаетъ изъ оута...

Жутко стало мельнику Филиппу.

— Эй, Гаврило!—крикнулъ онъ на мельницу.

— У-у, у-у,—отозвался съ болота бугай, а на мельницѣ никто ни чи-чирекъ.

— „Э, проекалый парубокъ! Опять помандровалъ къ дѣвкамъ...“—подумалъ мельникъ, и не захотѣлось что-то ему идти въ пустую мельницу. Хоть и привыкъ, а все-таки вспоминалось иной разъ, что подъ мельничнымъ поломъ, промежду сваями, не одни рыбы да ужи плаваютъ въ темной водѣ...

Онъ оглянулся къ городу. Тихо, свѣтло, туманъ чуть-чуть закурился надъ рѣчкой, что уплываетъ себѣ за лѣсъ, и не видно ея въ свѣтлой мглѣ... А на небѣ ни облачка...

Назадъ посмотрѣлъ и опять подивился, откуда въ его запрудѣ столько глубины: и для мѣсяца, и для звѣздъ, и для всего синяго неба...

Глядь, а въ водѣ по-надъ звѣздами будто комарикъ

летить... Приглядѣлся, — выросъ комарикъ какъ муха, потомъ сталъ какъ воробей, какъ ворона, а вотъ ужъ какъ здоровый шулякъ.

— Чуръ тебѣ, пекъ тебѣ *), — сказалъ мельникъ и, поднявъ глаза, увидѣлъ, что это не въ водѣ, а по воздуху летитъ что-то прямо къ мельницѣ.

— А бей тебя сила Господня! Это видно опять Хапунъ въ городъ поспѣшаетъ за добычей. Видишь ты, собачья вѣра, какъ залѣнился на этотъ разъ: полночь пробило, а онъ еще только въ дорогу собрался...

Онъ стоялъ такъ, съ задранною головой, а по воздуху, уже какъ орелъ, летѣло, кружась, облако и опускалось книзу; а изъ того облака что-то жужжало... такъ, какъ въ хорошемъ пчелиномъ рою, когда рой вылетитъ изъ пасѣки поверхъ саду...

— А, опять у меня на плотинѣ отдыхать задумалъ? Видишь ты, какую себѣ моду завелъ. Погоди, поставлю на тотъ годъ „фигуру“ (крестъ), — такъ, не бойсь, не станешь по дорогѣ, какъ панъ въ заѣзжіе дома, на мою плотину заѣзжать... Э, а что-жъ это онъ такъ шумитъ, какъ змѣекъ съ трещоткой, что ребята запускаютъ въ городѣ? Надо, видно, опять за яворомъ притаиться, да посмотрѣть.

Не успѣлъ отбѣжать къ яворамъ, поглядѣлъ вверху и чуть не крикнулъ отъ страха... Видитъ — гость уже близко надъ мельничною крышей, да еще въ рукахъ держитъ... Вотъ ни за что и не угадаете, чтъ такое принесъ чортяка въ когтяхъ...

*) „Цуръ тобі, пекъ тобі!“ — заклинаніе.

Жида Янкеля! Да, того самого Янкеля, котораго годъ назадъ утащилъ, теперь приволокъ обратно. Держить Янкеля крѣпко за спину, а Янкель держитъ въ рукахъ большущій узелъ, завязанный въ простынѣ, и оба ругаются въ воздухѣ, да такъ шибко, будто десять жидовъ заспорили на базарѣ изъ-за одного мужика...

Камнемъ упалъ чортъ на плотину. Еслибъ не мягкій узелъ, то, пожалуй, Янкелю не собрать бы и костей. Потомъ оба сразу вскочили на ноги и давай опять галдѣть.

— Ой-ой!... И что это за свинство,—закричалъ Янкель:—не можете вы полегче на землю спуститься!... думаю, у васъ въ рукахъ живой человѣкъ.

— Человѣкъ, да еще узелъ, чтобъ вамъ обоимъ провалиться сквозь землю!...

— Пхе! Чѣмъ вамъ мѣшаетъ мой узелокъ: я его самъ держу, васъ не заставляю...

— Узелокъ! Цѣлая гора всякихъ бебѣховъ. Насилу дотащилъ, у-ухъ! На это и уговора не было...

— Ну, а гдѣ это видано, чтобы человѣкъ ѣхалъ въ дорогу безъ вещей?... Везете человѣка, везите и вещи, это ужъ и безъ всякаго уговора можно понимать... Развѣ можно хозяину свое добро бросить?... Вы, я давно вижу, хотите обмануть бѣднаго Янкеля, такъ и придираетесь...

— А!... Кто тебя, лисицу, обманетъ, тотъ и трехъ дѣнь не проживетъ. Я ужъ не радъ, что и связался...

— Вы думаете, я очень радъ, что познакомился и-съ-вами? Ой-вай, важный пурицъ!... А вы лучше ска-

жите мнѣ, какой у насъ уговоръ былъ. Ну, вы можетъ забыли, такъ я вамъ припомню: мы бились объ закладъ. Можетъ вы скажете: мы не бились объ закладъ? Вотъ это будетъ хорошее дѣло!

— Кто тебѣ говорить, что не бились? Развѣ я тебѣ сказалъ, что не бились?

— Ну, какъ же вамъ и сказать, что не бились, когда мы бились вотъ здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ. Можетъ вы не помните... о чѣмъ, такъ я сейчасъ припомню. Вы говорите: жида берутъ процентъ, жида спаиваютъ народъ, жида жалѣютъ своихъ, а чужихъ не жалѣютъ, оттого всѣ говорятъ: чтобъ ихъ черти взяли! Ну, можетъ вы этого не говорили, а я можетъ вамъ не отвѣтилъ на это: вотъ тутъ стоитъ мельникъ за яворомъ. Еслибъ онъ жалѣлъ бѣднаго жида, то крикнулъ бы вамъ: „Господинъ чортъ, выдайте,—у него жена, дѣти“. Но онъ не крикнетъ... Разъ!

„Вотъ какъ угадалъ, подлый!“ — подумалъ про себя мельникъ, а чортъ сказалъ:

— Ну, разъ!

— А еще я говорю, помните мое слово: какъ меня здѣсь не станетъ, мельникъ откроетъ шинокъ и станетъ разбавлять водку; а проценты онъ и теперь деретъ какъ слѣдуетъ... Два!

— Ну, два!—подтвердилъ чортъ, а мельникъ поскребебъ въ головѣ: „Какъ это онъ все могъ угадать, проклятый!“

— А еще я говорю: намъ чужіе желаютъ, чтобы насъ черти взяли, это правда... А какъ вы думаете, еслибъ здѣсь сейчасъ были наши жидаки, да увидѣли, что вы

со мной хотите дѣлать,—какой бы они тутъ гевалтъ подняли, а? А объ мельникѣ черезъ годъ, кого ни спросите, свои братья скажутъ: а пусть его чортъ унесетъ... Три!

— Ну, три... Я и не отрекаюсь.

— Вотъ это хорошій интересъ былъ бы, еслибъ вы еще отрекались. Какой бы вы были послѣ этого честный еврейскій чортъ? А вы лучше скажите, какой уговоръ.

— Я все исполнилъ: оставилъ тебя на годъ живымъ—разъ. Принесъ сюда—два...

— А три? Что же будетъ три?

— Чего еще? Выиграешь закладъ,—отпущу тебя на всѣ четыре стороны.

— А убытки?... Развѣ вы не должны вернуть мнѣ убытки?...

— Убытки? Какіе-жъ у тебя могутъ быть убытки, когда мы тебѣ дали торговать у насъ безъ всякихъ патентовъ цѣлый годъ?... Ну, что? Такой барышъ на землѣ въ три года не возьмешь... Смотри самъ: я тебя захватилъ отсюда въ одномъ лапсердакѣ, даже безъ патентовъ, а сюда какой ты узелъ приволокъ, а?... Откуда же онъ взялся, если у тебя все были убытки?

— Ой-вай, Опять узломъ попрекаете!... Что я себѣ тамъ торговалъ, это мое счастье... Развѣ вы считали мой барышъ? А я вамъ скажу по-правдѣ, что я отъ вашей торговли и тамъ взялъ чистый убытокъ, и тутъ, на землѣ, годъ потерялъ...

— Ахъ ты, ширлатанъ!—крикнулъ чортъ.

— Я ширлатанъ? Нѣтъ, это вы самъ ширлатанъ, шейгицъ, лайдакъ, паршивецъ!...

Тутъ они опять заспорили такъ шибко, что уже нельзя было разобрать ни слова. Оба махали руками, оба трясли ермолками и поднимались на цыпочки, какъ два пѣтуха, готовые кинуться въ бой. Наконецъ, чортъ спохватился первый:

— А еще неизвѣстно, кто выигралъ! Что мельникъ тебя не пожалѣлъ, это правда, а остальное еще посмотримъ, еще надо у людей спросить, можетъ онъ и не подумалъ открыть шинокъ.

„Два открылъ!—почесался опять мельникъ.—Э, надо было хоть годикъ обождать,—остался бы Янкель въ дуракахъ, а то тутъ что-то такое неладное выходитъ...“

И онъ оглянулся на свою мельницу: нельзя ли тихонько, по-за мельницей, махнуть на село. Но въ это время въ лѣсу, за плотиной, слышались чьи-то неровные шаги и бормотаніе. Янкель схватилъ на плечи свой узелъ и бѣгомъ побѣжалъ къ тѣмъ же яворамъ. Мельникъ едва успѣлъ спрятаться за толстую ветлу, какъ оба—и чортъ, и Янкель—были уже тутъ...

— Давай живо какую-нибудь одѣжу,—сказалъ чортъ,—кто-то идетъ!...

Янкель развернулъ узелъ и сталъ выбирать изъ него что похуже, а въ это время на концѣ плотины показался подсыпка Гаврило. Свитка на Гаврилѣ драная, съ одного плеча спущена, шапка на боку, а босыя ноги все одна съ другой спорятъ: одной хочется направо, а другая, на зло, налѣво наровить. Одна опять въ свою сторону потянетъ, а другая такъ бѣднаго подсыпку къ себѣ кинетъ, что вотъ-вотъ голова въ одно мѣсто уле-

титъ, а спина съ ногами въ другое. Такъ вотъ и идетъ бѣдный паренъ, выписывая по всей плотинѣ узоры, отъ одного края до другого, а впередъ что-то мало подвигается.

Видитъ чертяка, что у Янкеля не скоро сторгуешь одежду, а подсыпка совсѣмъ пьянъ, и махнулъ рукой: вышелъ себѣ да и сталъ посрединѣ плотины въ своемъ собственномъ видѣ. Извѣстно, съ пьяными людьми какая чорту церемонія!

— Здравствуйте, говорятъ, добрый человѣкъ! А гдѣ это вы такъ намалёвались?...

Тутъ только мельникъ въ первый разъ замѣтилъ, какой Гаврило сталъ за годъ оборванный и несчастный. А все оттого: что у хозяина заработаетъ, у хозяина и пропѣтъ; денегъ отъ мельника давно уже не видалъ, а все забиралъ водкой. Подошелъ подсыпка вплоть къ самому чорту, уперся сразу обѣими ногами въ гать и сказалъ:

— Тпру-у-у... Вотъ бѣсовы ноги съ норовомъ какимъ! Когда надо, не идутъ, а какъ увидѣли, что у человѣка передъ самымъ носомъ торчитъ что-то, тутъ онѣ и прутъ себѣ впередъ. А ты это что такое, я что-то не разберу никакъ...

— Я себѣ, съ позволенія вашего, чертяка...

— Ну-у? Брешешь, я думаю. Э!... А пожалуй, твоя правда. Таки и рога, и хвостъ,—все какъ слѣдуетъ. А пейсы по бокамъ морды зачѣмъ?

— Да я себѣ, не въ обиду вамъ сказать, жидовскій чортъ.

— А!... Вотъ видишь ты, какая чудасія. Расскажи я людямъ, что видѣлъ твою милость, такъ никто и не повѣритъ... Такъ это не ты ли въ прошломъ годѣ стараго Янкеля уволокъ?

— Ну, ну! Я самый.

— А теперь же кого? Меня, что ли? То я и закричу, ей-Богу закричу... Ты еще не знаешь, какая у меня глотка.

— Э, не кричи напрасно, добрый человѣкъ. На что ты мнѣ дался?...

— Можетъ мельника? Позвать тебѣ, такъ я и позову. Э, нѣтъ, постой! А кто-жь у насъ шинковать стапетъ?

— А у него развѣ есть шинокъ?

— У него?... Нѣтъ, у него два: одинъ на селѣ, а другой при дорогѣ...

— Ха-ха-ха! Не оттого ли тебѣ мельника и жалко?

— Ой! какъ ты смѣешься здорово... Ха! Не такой я человѣкъ, чтобъ его пожалѣть... Нѣтъ, не такъ сказалъ!... Это онъ не такой человѣкъ, чтобъ я его пожалѣлъ. Онъ думаетъ, Гаврилко—дурень... Ну, это-таки правда: я себѣ не очень умный человѣкъ, не взыщите вы съ меня. А все-таки, когда ѣмъ, то въ чужой ротъ ваши не кладу, я только въ свой. И какъ оженюсь, то для себя, а какъ не оженюсь, то опять для себя же. Правду я говорю, или нѣтъ?

— Правда оно—правда, ну, а только я не знаю, къ чему она клонить.

— Хе, можетъ тебѣ не надо знать, то ты и не знаешь, а какъ мнѣ надо знать, то я и знаю, зачѣмъ онъ

меня оженить хочетъ. Ой, знаю я хорошо, даромъ-что я не очень догадливый человѣкъ. Вотъ и тотъ разъ, какъ вы Янкеля схапали, я объ немъ пожалѣлъ: „кто-жь теперь, говорю хозяину, у насъ шинковать будетъ?“ А онъ и говоритъ: „Тю, дурень! Развѣ не найдется кому? А хоть бы и я вотъ!“ Такъ и теперь: возьмете вы себѣ мельника,—найдется у насъ кому жидовать и безъ него... Ну, а я тебѣ, добрый человѣкъ... тѣфу, тѣфу, не взыщите, ваша милость! Вотъ же человѣкомъ называлъ поганаго чорта... Теперь я тебѣ вотъ что скажу: что-то мнѣ того, что-то спать хочется. Ты себѣ какъ хочешь... бери его себѣ самъ, а я пойду лягу, вотъ что, потому что я маленько нездоровъ. Вотъ и будетъ хорошо.. Ага!...

Тутъ подсыпка опять сталъ заплетать ногами и на-силу отперъ двери, какъ уже повалился и захрапѣлъ.

Чортъ весело засмѣялся и, ставъ на краю плотины, моргнулъ Янкелю подъ яворы:

— А кажется твоя правда, Янкель. Что-то выходитъ похоже...

Янкель смотрѣлъ на свѣтъ какія-то шаровары, чтобы не дать чорту новыхъ, и только мотнулъ головой, а въ это время за рѣкой, по дорогѣ изъ лѣсу, показалась пара воловъ. Волы сонно качали головами, телѣга чуть-чуть поскрипывала колесами, а на телѣгѣ лежалъ мужикъ Опанасъ Нескорый, безъ свитки, безъ шапки и сапоговъ, и во все горло оралъ пѣсни.

Добрый былъ мужикъ Опанасъ, да только бѣдняга очень водку любилъ. Бывало, только снарядится куда выѣхать, а ужъ Харько у шинка сторожить и кличетъ:

— Не выпить ли тебѣ чарочку, Нескорый? Куда то-ропиться?

Онъ и выпьетъ.

Выѣдетъ послѣ того за село, черезъ плотину, а тамъ ужь, у другого шиночка, самъ мельникъ влечетъ:

— А не выпьешь ли чарочку, Нескорый? Куда тебѣ поспѣшать?

Онъ и тутъ выпьетъ. Глядишь—и вернется домой никуда не ѣздивши.

Да, добрый былъ мужикъ, а видно судьба ему судила пропадать гдѣ-нибудь промежду двумя шинками... А все-таки человѣкъ былъ себѣ веселый, и все, бывало, пѣсни поетъ. Вѣдь бываетъ же у человѣка такой нравъ: весь пропьется, и баба сердитая дома дожидается, а онъ какъ пѣсню или прибаутку сложилъ, такъ думаетъ, что горе избылъ. Такъ и теперь: лежитъ себѣ въ телѣгѣ и поетъ во все горло, что даже лягушки съ берега видаются въ воду:

Волю мои крутороги

Идутъ по дорогѣ...

А меня не носятъ ноги,

Ой, не носятъ ноги!

Пропилъ свитку и чоботья,

И шапку съ затылка...

А у мельника въ шиночкѣ

Хороша горѣлка...

— Эй, а какая тамъ бѣсова тварюка посередь гати стоитъ, что и воламъ не пройти?... Вотъ, когда бы лѣнь было мнѣ сойти съ воза, я-бъ тебѣ показалъ

какъ посередь дороги становиться... Цобъ, цобъ, цоб-бе!...

— Постой на одну минуту, добрый человекъ,—сказалъ чортъ сладкимъ голосомъ.—Мнѣ бы съ тобой потолковать немного...

— Немного! Ну, толкуй, а то некогда. Пожалуй, въ Каменкѣ шинокъ заперли, такъ и не достучишься... А что ты скажешь, не знаю, какъ тебя назвать... Ну?

— О комъ это ты такую хорошую пѣсню пѣлъ?

— Спасибо, что похвалилъ. Пѣлъ я объ мельникѣ, что вотъ тутъ на мельницѣ живетъ, а что хороша ли пѣсня или нѣтъ, то лучше мнѣ знать, потому что я себѣ самъ пою. Можетъ кто отъ той пѣсни скачетъ, а кто и плачетъ, вотъ что... Цобъ, цобъ, цоб-бе! Да ты все еще стоишь?

— Стою.

— Чего-жъ ты еще стоишь?

— Въ пѣснѣ твоей говорится, что горѣлка у мельника хороша?

— Вотъ ты какой... хитрый! Человекъ и пѣсню еще до конца не допѣлъ, а онъ ужъ придрался къ слову. Гдѣ ужъ у бѣса хороша!... Ты, видно, не слыхалъ поговорки: впередъ батька не лѣзь въ пекло, а то опередишь батька и того... нехорошо будетъ. Когда такъ, то я лучше тебѣ до конца спою:

А у мельника въ шиночкѣ

Хороша горѣлка...

Ой, горѣлки двѣ бутылки

И... воды бутылка...

— Ну, что, все стоишь? Чего-жь тебѣ, когда такъ, еще надо? Вотъ я сейчасъ вылѣзу-таки съ воза, посмотрю, долго ли ты тогда настоишься вотъ тутъ, а?... Что ты себѣ подумашь, если я начну тебя угощать батогомъ?...

— Сейчасъ, сейчасъ уйду, добрый человекъ. Только скажи еще: а что ты себѣ подумалъ бы, когда бы здѣшняго мельника чортъ забралъ, какъ и Янкеля?...

— А что мнѣ думать?—ничего и не подумаю... Таки, сказать по правдѣ, и схапаетъ когда-нибудь, непременно-таки схапаетъ. Э, да ты, вижу, все стоишь.... Ну, вылѣзаю съ воза. Гляди, ужъ и ногу одну поднялъ...

— Ну, ну! Поѣзжай себѣ, когда ты такой сердитый.

— Ушелъ ты?

— Ушелъ.

— Цобъ, цобъ, цоб-бе!

Опять волы закачали рогами, заскрипѣли ярма и занозы, и возъ покатился на другой конецъ гати, а Опанасъ запѣлъ свою пѣсню:

Волы мои крутороги
Прибавляйте бѣгу!
Пропилъ мельнику колеса,
Пропью и телѣгу...

Колеса стукнули, съѣзжая съ гати, и пѣсня Опанаса стала затихать на горѣ.

Не успѣла еще стихнуть, какъ послышалась другая, изъ-за рѣки. Такъ и звепѣли, такъ и заливались женскіе голоса, сначала далеко, а тамъ уже и въ лѣсу. Видно гдѣ-нибудь дожинали дѣвчата съ молодыцами, а

можетъ и отаву на дальнемъ покосѣ сгребали, а теперь шли себѣ поздною дорогой и пѣли, чтобы не страшно было лѣсомъ идти.

Чертяка разомъ шмыгнулъ къ Янкелю подъ вербы.

— А ну, давай же чего-нибудь поскорѣе!

Янкель ткнулъ ему какую-то рвань. Чортъ кинулъ ее на землю и ухватился за узелъ.

— А! что ты мнѣ даешь, какъ нищему, что стыдно будетъ и показаться. Давай получше!

Чортъ выхватилъ, что ему было нужно, мигомъ свернулись у него крылья, мягеія, какъ у негопырѣ, мигомъ вскочилъ въ широкіе, какъ море, синіе штаны, надѣлъ все остальное, подтянулся поясомъ, а рога покрылъ смушковой шапкой. Только хвостъ высунулся поверхъ толенища и бѣгалъ по песку, какъ змѣя...

Вотъ послѣ этого чмокнулъ, топнулъ, подбоченился, посунулся на-встрѣчу молодежи,—ни взять, ни дать, какой-нибудь добрый мѣщанинъ или подпановеъ изъ экономовъ,—и сталъ на серединѣ плотины.

А пѣсня все ближе, да все звончѣе,—ужь такъ и вѣтъ по-надъ землей да подъ яснымъ мѣсяцемъ, что, кажется, весь свѣтъ разбудить середь ночи. Да вдругъ и оборвалась сразу...

Сыпнули молодежи изъ лѣсу, будто кто маковъ цвѣтъ изъ передника на землю просыпалъ,—увидѣли на плотинѣ хвостатаго щеголя и сбились въ кучу у конца гати.

— А что оно такое вонъ тамъ стоитъ?—спросила одна.

— Да это мельникъ,—говорить другая.

— Какой мельникъ,—и не похожъ!

— Можетъ, подсыпка.

— Тю, дурная! Гдѣ у подсыпки такая одѣжа?...

— А отзовись ты, когда ты что доброе,—крикнула вдова Бучилиха, что видно была побойчѣе другихъ.

Чортъ издали поклонился и потомъ подошелъ поближе, выкидывая ногами и фигурой выкрутасы, какъ стоящій подпанокъ, что хочетъ казаться паномъ, и сказалъ:

— А не бойтесь, ласточки вы мои! Я себѣ человекъ молодой, а зла вамъ не сдѣлаю. Идите себѣ спокойно...

Молодицы и дѣвки взопли на гать, поталкивая одна другую, и скоро окружили чертяку... Э, не всегда такъ пріятно, какъ окружать человека десятокъ-другой вотъ такихъ вострухъ и начнѣть пронизывать быстрыми очами, да поталкивать одна другую локтемъ, да посмѣиваться. Чертяку стало-таки немного коробить да врючить, какъ бересту на огнѣ,—ужь и не знаетъ, какъ ступить, какъ повернуться. А онѣ все пересмѣиваютъ:

— Гляди,—говорить одна,—какой длинный.

— Да какой чернявый, какъ жуекъ.

— Да долгоногій, какъ паукъ.

— Да пригорбленный.

— Носъ, какъ у совы.

— Еще и пейсы изъ-подъ козацкой шапки. Ой, да онъ, видно, изъ жидовъ!

„Вотъ такъ его, такъ его, мои ласточки, — подумаль про себя мельникъ, глядя изъ-за корявой ветлы.—Вспомните, галочки мои, какъ Филиппко съ вами, бывало, пѣсни

пѣлъ да хороводы водилъ. А теперь вотъ какая бѣда: выручайте-жъ меня, какъ муху изъ паутины“. Еще, кажется, еслибъ его такъ пощипать хоть съ минуту,—провалился бы чертяка сквозь землю...

Но старая Бучилиха остановила дѣвчатъ:

— Цуръ вамъ, сороки! Совсѣмъ парубка засмѣяли, что у него и носъ опустился книзу, и руки-ноги обвисли... А скажи ты намъ, небораче, кого ты тутъ надъ омутомъ дожидаться?

— Мельника.

— Пріятель ему, видно?

„Чтобъ такимъ пріятелямъ моимъ всѣмъ провалиться сквозь землю!“—хотѣлъ крикнуть Филиппъ, да голосъ не пошелъ изъ горла, а чертяка отвѣчаетъ:

— Не то, чтобы большой пріятель, а такъ себѣ: со- считаться за старое надо.

— А давно ты его не видалъ?

— Давненько.

— Ну, такъ теперь и не узнаешь. Добрый былъ когда-то парубокъ, а теперь ужъ такъ голову задралъ, что и кочергой до носа не достанешь.

— Ну?

— То-то... Не правду я говорю, дѣвоньки?

— А правда, правда, правда!—застрекотала вся стая.

— Тю! тише немножко, — закричалъ чортъ, затыкая уши,—отъ лучше скажите, что это съ нимъ подѣялось и съ какихъ поръ?

— А съ тѣхъ поръ, какъ богачомъ сталъ.

— Да деньги сталъ раздавать въ лихву.

— Да шиновъ открылъ.

— Да мужа моего, Опанаса, съ проклятымъ Харь-
комъ такъ окрутилъ, что ужъ мужику и ходу нигуда,
кромѣ кабака, не стало.

— Да и нашихъ мужей да батьковъ спонилъ всѣхъ
до-чиста.

— Я ужъ и руки свои обила, и чуприну до остатка
у мужика выскубла, а все не помогаетъ.

— А у меня такъ, у самой, всю косу мужикъ вы-
дралъ, пьяный.

— Ой, ой лихо памъ съ нимъ, съ проклятымъ мель-
никомъ!—заголосила какая-то, и вмѣсто недавней пѣсни
пошли надъ рѣкой вопли да бабы причитанья.

Поскребъ-таки Филиппъ свой затылокъ слушая,
какъ за него заступаются молодницы. А чортъ видно
совсѣмъ оправился. Смотритъ искоса, да потираетъ
руки.

— Э! это еще что,—звонко перекричала всѣхъ вдова
Бучилиха.—А слышали вы, что онъ надъ Галей надъ
вдовиной задумалъ?

„Тьфу! — плюнулъ мельникъ. — Вотъ сороки прокля-
тыя! О чемъ ихъ не спрашиваютъ, и то имъ нужно раз-
сказать... И какъ онѣ только узнали? То дѣло было се-
годня на селѣ, а онѣ ужъ на покосѣ все дочиста знаютъ...
Ну, и бабы, зачѣмъ только ихъ Богъ на свѣтъ Божій
выпускаетъ?...“

— А что бы такое надъ вдовиной дочкой мой пріятель затѣялъ?—спросилъ чортъ, глядя по сторонамъ такъ,
какъ будто это дѣло ему не очень даже и любопытно.

И пошли тутъ сороки выкладывать, и выложили, одна передъ другой, все до-чиста...

Чортъ помоталъ головой.

— Ай-ай-ай! Вотъ это такъ ужъ нехорошо! Этого ужъ, я думаю, никто и отъ прежняго шинкаря Янкеля не видалъ.

— О! да гдѣ же такое жиду придумать?

— Вотъ еще!

— Вотъ вижу я, мои кралечки, мои зазуленьки, не очень-то вы моего пріятеля любите...

— А пускай же его всѣ черти полюбятъ, а отъ насъ не дождется...

— Ой-ой-ой! Вотъ видно не много вы ему добра желаете...

— Пускай его потрясетъ трясця (лихорадка)!

— Пускай лѣзетъ въ омутъ за дядькомъ!

— Э, пусть и его чертяка схапаетъ, какъ того Янкеля!...

Всѣ засмѣялись.

— А правда твоя, Олено, потому что онъ хуже жида.

— Жидъ, по крайней мѣрѣ, не ласовалъ, оставлялъ хоть дѣвчатъ въ покоѣ, зналъ свою Сурку.

Чортъ даже подпрыгнулъ на мѣстѣ.

— Ну, спасибо вамъ, ласточки мои, за ваше привѣтливое слово... А не пора ли вамъ ужъ идти дальше?

А самъ откинулъ голову, какъ пѣтухъ, что хочетъ закричать на зарѣ погромче, и захохоталъ, не выдержалъ. Да захохоталъ опять такъ, что даже вся нечистая сила прокинулась на днѣ рѣчки и пошли надъ омутомъ круги...

А дѣвки отъ того смѣха шарахнулись такъ, какъ стая воробьевъ, когда въ нихъ кинутъ камнемъ: будто вѣтромъ ихъ сдуло сразу съ плотины...

Пошли у мельника по шкурѣ мурашки и взглянулъ онъ на дорогу къ селу; „а какъ бы это,—думаетъ себѣ,—пріударить и мнѣ хорошенько за дѣвками. Когда-то бѣгалъ не хуже людей“. Да вдругъ и отлегло у него отъ сердца, потому что, видитъ, опять идетъ къ мельничной гати человѣкъ, да еще не кто-нибудь, а самый его наймитъ—Харько.

„Вотъ, кусни-ка этого, — подумалъ онъ про себя, — авось зубы обломаетъ. Это мой человѣкъ“.

XI.

Наймитъ шелъ босикомъ, въ красной кумачной рубахѣ, съ фуражкой, безъ козырька, на затылкѣ, и несъ на палкѣ новенькіе Опанасовы сапоги, отъ которыхъ такъ и разило дегтемъ по всей плотинѣ. „Вотъ какой скорый!—подумалъ мельникъ,—ужь и взялъ себѣ чоботы... Ну, да ничего это. На этого я человѣка крѣпко теперь надѣюсь“.

Увидѣвъ на серединѣ плотины незнакомаго человѣка, наймитъ подумалъ, что это какой-нибудь волочуга-грабитель хочетъ отнять у него сапоги. Поэтому онъ остановился въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Хапуна и сказалъ:

— Вотъ что: лучше и не подходи,—не отдамъ!

— Что ты, спохватись, добрый человѣкъ! Развѣ я самъ безъ сапогъ? Погляди, еще лучше твоихъ.

— Такъ что же ты тутъ выросъ ночью, какъ корявая верба надъ омутомъ?

— А я, видишь ли, хочу тебѣ задать одинъ вопросъ.

— Чудно! Загадку, что ли? Кто же это тебѣ рассказаль, что я всякую загадку лучше всѣхъ разгадаю?

— Га! слыхаль-таки отъ людей.

Солдатъ поставилъ сапоги на-земь и, вынувъ кисеть, сталъ набивать себѣ трубочку. Потомъ выкресаль изъ кремня огоньку и, раскуривая подъ носомъ густое кúрево, сказалъ:

— Ну, теперь вываливай: какія тамъ у тебя загадки?

— Да не то чтобы загадки, а такъ... Кто здѣсь, потвоему, самый лучшій человекъ?

— Я!

— Э, почему такъ?... Нѣтъ ли кого получше?

— Да ты спрашиваешь: какъ по-моему?... Ну, такъ я самъ себя ни за кого не отдамъ.

— Правда твоя. А мельникъ... какой человекъ?

— Мельникъ?...

Солдатъ выпустилъ изо рта такой клубъ дыма, какъ бѣлый конскій хвостъ на мѣсячномъ свѣтѣ, и искоса поглядѣлъ на чорта.

— А вы, часомъ, не изъ акцизу?

— Нѣтъ.

— Можетъ, не при полиціи ли гдѣ служите... по какой тайности?

— Да нѣтъ же!... Такой умникъ, а не умѣетъ отличить простого человека отъ непростого.

— Кто это тебѣ сказалъ?... Да я у тебя въ востяхъ и

то все вижу... А что спросилъ, такъ это такъ себѣ, на всякій случай. Такъ ты говоришь: какой человѣкъ мельникъ?

— Эге!

— Такъ себѣ человѣкъ: не высокій, не низкій... изъ небольшихъ середній.

— Э, не то ты говоришь!...

— Не то? А чтѣ бы такое еще тебѣ сказать... Можетъ, хочешь знать, гдѣ у него бородавка?

— Ты, я вижу, любишь морочить, а мнѣ некогда. Скажи попросту: хорошій мельникъ человѣкъ, или плохой?

Солдатъ опять пустилъ изо рта цѣлый хвостъ дыму и сказалъ:

— А ты-таки скорый человѣкъ, любишь кушать не разжевавши.

Чортъ вылупилъ глаза, а у мельника отъ радости запрыгало сердце.

„Вотъ языкъ, такъ языкъ, — подумалъ онъ. — А я еще сколько разъ желалъ, чтобъ онъ у него отвалился. Эге, вотъ и пригодился, — смотрите, какъ чертаку отбреетъ!...“

— Любишь кушать не разжевавши, я тебѣ говорю! — строго повторилъ солдатъ. — Такъ тебѣ и скажи: хорошій человѣкъ, или нѣтъ? Для меня, вотъ, всякій человѣкъ хорошъ. Я, братъ, изъ всякой печи хлѣбъ ѣдалъ. Гдѣ бы тебѣ подавиться, а я и не поперхнусь!... Э, что ты себѣ думаешь: на дурака напалъ, что ли?

„Вотъ такъ, вотъ-таки такъ его, — сказалъ про себя мельникъ и даже подпрыгнулъ отъ радости. — Я не ѣ бу-

ду, когда у него чортъ черезъ полчаса не станетъ глупѣе овцы! Я на крылосѣ читаю, что никто слова не пойметъ... такъ оттого, что скоро. А онъ вотъ и тихо говоритъ, а поди-ка пойми, что сказалъ...”

Дѣйствительно, бѣдный чертяка заскребъ въ головѣ такъ сильно, что мало не стянулъ шапки.

— Постоите-ка, служба,—сказалъ онъ.—Что-то, видится, мы съ вами ѣдемъ-ѣдемъ, да не доѣдемъ. Не въ тотъ переулочекъ завернули...

— Не знаю, какъ ты, а я изъ всякаго переулка выѣду.

— Да вѣдь я у васъ спрашиваю: хорошій мельникъ человѣкъ, или нѣтъ... А вы куда меня завезли?

— А дай же я у тебя спрошу: вода хороша, или нѣтъ?

— Вода?... А чѣмъ же плоха?

— А когда есть квасъ, тогда отъ воды отвернешься,—нехороша.

— Пожалуй, нехороша.

— А когда стоитъ на столѣ пиво, такъ тебѣ и квасу не надо.

— Вотъ и это правда.

— А поднеси чарочку горѣлки, и на пиво не поглядишь?

— Такъ-то оно такъ...

— Вотъ то-то и оно-то!

Чорта ударило въ потъ и изъ-подъ свитки хвостъ у него такъ и забѣгалъ по землѣ,—даже пыль поднялась на плотинѣ. А солдаты уже вскинулъ палку съ сапогами на плечи, чтобъ идти далѣе, да въ это время чер-

такъ догадался, чѣмъ его взять. Отошелъ себѣ шага на три и говорить:

— Ну, идите, когда такъ, своей дорогой. А я тутъ обожду: не пойдетъ ли, случаемъ, солдатъ Харитонъ Трегубенко.

Солдатъ остановился.

— А тебѣ на что его?

— Да такъ!... Говорили, солдатъ Трегубенко—умный человѣкъ: можетъ ввести и вывести. Я и подумалъ, не вы ли это сами будете. А вижу, нѣтъ! Съ вами путаешься кругомъ, а на дорогу никакъ не выйдешь...

Солдатъ поставилъ сапоги на-земь.

— А ну, спроси у меня еще.

— Э, что тутъ и спрашивать!

— А ты попробуй.

— Ну, вотъ что. Скажи мнѣ: кто былъ лучше—Янкель шинкаръ, или мельникъ?

— Вотъ такъ бы и говорилъ сразу, а то не люблю такихъ людей, что подлѣ самага мосту ищутъ броду. Иному человѣку лучше десять верстъ исколесить проселками, чѣмъ одну версту прямою дорогой. Вотъ и я тебѣ сейчасъ все толкомъ, по пунктамъ, какъ говорится, скажу: у Янкеля былъ шинокъ, а у мельника—два.

„Э, что-то ужъ и не такъ заговорилъ,—подумалъ съ горестью мельникъ.—Пожалуй, объ этомъ лучше бы и не заговаривать...“

А солдатъ говорить дальше:

— У Янкеля я ходилъ въ лаптяхъ, а тутъ у меня и сапоги выросли...

— А откуда они выросли?

— Хе, откуда!... Въ нашемъ дѣлѣ все такъ, какъ въ колодцѣ съ двумя ведрами: одно полнѣетъ, другое пустѣетъ,—одно идетъ вверхъ, другое внизъ. У меня были лапти,—стали сапоги. А погляди ты на Опанаса Нескорого: былъ въ сапогахъ, теперь сталъ босой, потому что дурень. А къ умному ведро приходитъ полное, уходитъ пустое... Понялъ?

Чортъ слушалъ внимательно и сказалъ:

— Постой! Кажется, подъѣзжаемъ помаленьку, какъ разъ, куда надо.

— То-то! Я про то и сразу тебѣ говорилъ: назови ты мнѣ Янзеля хоть квасомъ, такъ мельникъ будетъ пиво, а еслибъ ты подаль мнѣ добраго вина, то я бы и отъ пива отступился...

У чорта кончикъ хвоста такъ рѣзко забѣгалъ по плотинѣ, что даже Харько замѣтилъ. Онъ выпустилъ клубъ дыму прямо чорту въ лицо и будто нечаянно прищемилъ хвостъ ногою. Чортъ подпрыгнулъ и завизжалъ, какъ здоровая собака; оба испугались, у обоихъ раскрылись глаза, и оба стояли съ полминуты, глядя другъ на друга и не говоря ни одного слова.

Наконецъ, Харько посвисталъ по-своему и сказалъ:

— Эге-ге-ге-è! Вотъ штука, такъ штука...

— А вы какъ думали?—отвѣтилъ чортъ.

— Вотъ вы какая птица!

— А вотъ, какъ меня видите...

— Такъ это вы значить того... въ прошломъ годѣ?...

— Ага!

— А теперь... за нимъ?

— Ну-ну... Что скажете?

Харько затаился, пыхнулъ дымомъ и отвѣтилъ:

— Бери! Не заплачу... Я человѣкъ бѣдный, мое дѣло—сторона. Сяду себѣ съ люлькой у шинка, буду третьяго дожидаться...

Чертяка опять захохоталъ, а солдатъ закинулъ сапоги на спину и пошелъ скорымъ шагомъ. А какъ проходилъ мимо купы яворовъ, то мельникъ слышалъ, что онъ бормочетъ:

— Вотъ оно что: одного унесъ, за другимъ прилетѣлъ... Ну, моя хата съ краю!... Засваталъ чортъ жида,—мельнику досталось приданое; теперь сватаетъ мельника, а приданое—мнѣ. Солдатъ кому ни служить, ни о комъ не тужить. Выручка на рукахъ,—пожалуй, можно и самому за дѣло приняться. Не станетъ теперь Харька Трегубенка, а будетъ Харитонъ Ивановичъ Трегубовъ... Только ужъ я не дуракъ: ночью на плотину меня никакими коврижками не заманишь...

И сталъ подыматься на гору.

Оглянувшись мельникъ кругомъ: а кто-жъ ему теперь поможетъ?—нѣтъ никого. Дорога потемнѣла, на болотѣ заввакала сонная лягушка, въ очеретахъ бухнулъ сердито бугай... А мѣсяцъ только краемъ ока выглядываетъ изъ-за лѣса: а что-то теперь будетъ съ мельникомъ Филипомъ?...

Глянулъ, моргнулъ и ушелъ себѣ за лѣса..

А на плотинѣ чортъ стоитъ, за бока держится, хо-

хочетъ. Дрожить отъ того хохота старая мельница, такъ что изъ щелей мучная пыль пылить; въ лѣсу всякая лѣсная нежить, а въ водѣ водяная—проснулись, забѣгали, показывается кто тѣнью изъ лѣсу, кто неясною марбѣй на водѣ; заходилъ и омутъ, закурился—задымился бѣлымъ туманомъ, и пошли по немъ круги. Глянулъ мельникъ—и обмеръ: изъ-подъ воды смотреть на него синее лицо съ тусклыми, неподвижными глазами и только длинные усы шевелятся, какъ у водяного таракана. Точь-въ-точь дядько Омелько выплываетъ изъ омута прямо къ яворамъ...

Жидъ Янкель давно уже пробрался тихонько на плотину, поднялъ одѣжу, которую скинулъ съ себя чортъ, и, шмыгнувъ подъ яворы, наскоро завязалъ узелъ. Не говорить уже ничего объ убыткахъ; да скажу вамъ, тутъ на всякаго человѣка напала бы робость. Какіе ужъ тутъ убытки!... Вскинулъ узелъ на плечи и тихонько зашлѣпалъ себѣ по тропинкѣ за мельницей, въ гору, за другими...

Пустился и мельникъ на свою мельницу,—хоть запелъ, да разбудить подсыпку. Только вышелъ изъ-подъ яворовъ, а чортъ—къ нему. Филиппъ отъ него, да за дверь, да въ каморку, да поскорѣе засвѣчать огни, чтобы не такъ было страшно, да упалъ на полъ и давай голосить во весь голосъ,—подумайте вотъ!—совсѣмъ такъ, какъ жиды въ своей школѣ...

А тотъ ужъ летаетъ-вьется надъ крышей, да въ оконце свою любопытную харю суетъ, да крыломъ бьетъ въ стекло,—не знаетъ, куда пробраться, чтобы захватить себѣ лакомый кусокъ...

Вдругъ—шась... Хлопнулось что-то объ полъ, будто здоровенная кошка упала. Это проклятый въ трубу влетѣлъ, ударился, подскочилъ... И слышитъ мельникъ: сидитъ уже на спинѣ и запускаетъ когти.

Ничего не подѣлаешь!...

Шась опять... Потемнѣло въ глазахъ, поволокъ мельника по темному, да тѣсному мѣсту; посыпалась глина, сажка поднялась тучей и вдругъ... Вотъ уже труба внизу, вмѣстѣ съ мельничною крышей, которая становится все меньше и меньше, будто и мельница, и плотина, и яворы, и омутъ падаютъ куда-то въ пропасть... А въ тихой мельничной запрудѣ, что лежитъ внизу гладкая, точно на тарелкѣ, виднѣется опрокинутое небо, и звѣзды мигаютъ себѣ тихонечко, вотъ какъ всегда... И еще видитъ мельникъ: въ той синей глубинѣ, перекрывая звѣзды, летитъ будто шулякъ, потомъ будто ворона, потомъ будто воробей, а вотъ ужъ какъ большая муха...

„А это-жъ онъ меня выволокъ такъ высоко,—подумалъ мельникъ. — Вотъ тебѣ, Филиппо, и доходъ, и богатство, и шинки, и роскошь. А нѣтъ ли тамъ гдѣ крещеной души, чтобы крикнула: „Кинь,—это мое!“

Нѣтъ никого! Прямо подъ нимъ спитъ себѣ мельница, и только изъ омута огромная усатая рожа утопшаго дядьки Омелька глядитъ стеклянными глазами и тихо моргаетъ усомъ...

Дальше, на гору подымается жидъ, сгорбившись подъ тяжелымъ бѣлымъ узломъ. Въ половинѣ горы Харько стоитъ и, покрывъ ладонью глаза, смотритъ въ небо. Э,

не подумаетъ онъ выручать хозяина, потому что вся выручка отъ шинка остается на его долю.

Вотъ разбѣянная стайка дѣвчатъ обогнала уже Опанаса Нескорого, съ его волами. Дѣвчата летятъ какъ сумасшедшія, а Нескорый хотъ и глядитъ прямо въ небо, лежа на возу, и хотъ душа у него добрая, но глаза его темны отъ водки, а языкъ какъ колода... Некому, некому крикнуть: „Кинь,—это мое!“

А вотъ и село. Вотъ запертый шинокъ, спящія хаты, садочки; вотъ и высокія тополя, и маленькая вдовина избышка. Сидитъ на заваленкѣ старая Прися съ дочкой и плачутъ обнявшись... А что-жь онѣ плачутъ? Не оттого ли, что завтра ихъ мельникъ прогонитъ изъ родной хаты?

Сжалось у мельника сердце. Э, пусть хотъ эти не поминуютъ меня лихомъ! Собрался съ духомъ и крикнулъ:

— А не плачь, Галю, не плачь, небого! Ужь прощаю вамъ всѣ долги и съ процентами... Ой, лихо мнѣ, хуже вашего: волочетъ меня нечистый, какъ паукъ маленькую мушку...

Видно чутью дѣвичье сердце... Гдѣ бы, кажется, услышать на такомъ дальнемъ разстояніи, а Галя все-таки дрогнула и подняла вверхъ черныя, заплаканныя очи...

— Прощайте вы, карія оченята, — вздыхаетъ мельникъ, да вдругъ видитъ: схватилась дѣвушка руками за грудь, да какъ наберетъ воздуху, да какъ крикнетъ:

— Кинь, проклятая чертяка! Кинь,—это мое!

Точно цѣпомъ, съ большого размаха, рѣзнуло чертяку по ушамъ: встрепенулъ, распустились когти, и по-

несся Филиппъ вниз, какъ перушко, поворачиваясь съ боку на бокъ.

Летить, а чертяка, какъ камень, за нимъ. Только долетить и придержать мельника, а Галя опять:

— Кинь, проклятый,—мое!

Онъ и отпустить, а мельникъ опять полетить, да такъ до трехъ разъ, а уже внизу и багно (болото), что между селомъ и мельницей, разстилается все шире, да шире.

Тар-рахъ! Ударился мельникъ въ мягкое багно со всего размаха, такъ что мочага вся колыхнулась, будто на пружинахъ, да снова мельника сажени на двѣ кверху и подкинула. Упалъ опять, схватился на ровныя ноги, да бѣгомъ-лѣтомъ, да черезъ спящаго подсыпку, да чуть не вышибъ съ петлями дверей—и ну подъ гору во всѣ лопатки чесать босикомъ... Самъ бѣжить и только вскрикиваетъ,—все ему кажется, вотъ-вотъ чертяка на него налетитъ.

Добѣжалъ до крайней избы, да черезъ тынъ лѣтомъ, да въ двери, да сталъ серѣдъ вдовиной избы и тутъ только опомнился:

— А вотъ я и у васъ, слава Богу!

ХІІ.

Вотъ вы подумайте себѣ, добрые люди, какую штуку устроилъ: рано поутру, еще и солнце только-что думаетъ всходить, и коровъ еще не выгоняли, а онъ безъ шапки, простоволосый, да безъ сапогъ, босой, да весь

рохристаный ввалился въ избу къ двумъ незамужнимъ бабамъ, ко вдовѣ съ молодой дочкой! Э, что тамъ еще безъ шапки: слава Богу, что хоть чего другого не потерялъ по дорогѣ, тогда бы ужъ навѣки бѣдныхъ бабъ осрамилъ!... Да еще и говорить: „А слава-жь Богу! Вотъ я и у васъ“.

Старуха только руками всплеснула. А Галя соскочила въ одной сорочкѣ съ лавки, да поскорѣе запаску на себя, да плахту, да къ мельнику:

— Ты что это, злодій, дѣлаешь? Опилсѣ, что ли, своей хаты не нашелъ, въ нашу вотъ такой ввалился, а?

А мельникъ стоитъ противъ нея, глядитъ пріятно, хоть и выпучивши маленько глаза, и говоритъ: „пу, бей себѣ сколько хочешь“.

Она его—разъ!

— Бей еще!

Она его и два.

— Вотъ такъ. Можетъ еще дашь?

Она и три. Да тутъ видитъ, что ему ничѣмъ-ничего, стоитъ себѣ и глядитъ на нее пріятнымъ окомъ, всплеснула руками и заплакала.

— Ой, лихо мнѣ, бѣдной сиротинкѣ, кто за меня заступится!... Ой, и что-жь это за человѣкъ за такой! Мало ему, что обманулъ меня, молодую, что въ турецкую вѣру хотѣлъ сманить, такъ еще и славу на меня, сироту, навелъ, на все село осрамилъ. А теперь вотъ поглядите на него, добрые люди: я его уже три раза ударила, а онъ хоть бы повернулся. Ой, и что-жь мнѣ еще

съ такимъ человѣкомъ дѣлать, научите меня! Я-жъ и не знаю уже...

А мельникъ спрашиваетъ:

— Ну, будешь еще бить или нѣтъ, говори прямо? Не будешь, такъ я ужъ на лавку сяду,—усталь.

У Гали опять-было заходили руки, да старуха догадалась первая, что тутъ что-то дѣло не очень простое, и говорить дочери:

— Погоди-жъ бо, дочка! Что ты, ничего хорошенько не спросивши, такъ прямо ладонями и плещешь по чужой щекѣ. Не видишь развѣ, парубокъ что-то съ глузду съѣхалъ (помѣшался). А скажи, небораче, откуда ты такой сюда ввалился, да еще говоришь: „Славу Богу, вотъ я и у васъ!“—когда тебѣ тутъ не надо бы и быть?...

Мельникъ протеръ глаза и говоритъ:

— Вотъ, скажите вы мнѣ, тетушка, по совѣсти: что, я сплю, или я по свѣту хожу? А со вчерашняго вечера прошла одна ночь, или цѣлый годъ, да я-жъ теперь къ вамъ со своей мельницы, или съ неба свалился?

— Тю! перекрестись ты, человѣче, лѣвой рукой! И что ты это такое несешь языкомъ, а? Видно тебѣ при-
снилось!

— Не знаю, пани-матко, не знаю, самъ ужъ ничего не знаю...

Сѣлъ-было на лавку, у окна, глядь—за окномъ, мимо хаты, по холодочку плетется шинкаръ Янкель съ огромнымъ узломъ на спинѣ. Мельникъ вскочилъ на ровныя ноги, показываетъ бабамъ въ окно и говорить:

— Это кто идетъ, а?

— Да это-жь нашъ Янкель.

— А что онъ несетъ?

— Узель, изъ городу.

— Такъ какъ же вы говорите, что мнѣ приснилось? Да вѣдь вотъ и жидъ воротился. Я его сейчасъ видѣлъ у мельницы, съ этимъ самымъ узломъ.

— А почему-жь бы ему и не воротиться?

— Да вѣдь его въ томъ году чортъ уволокъ—Хапунъ.

Ну, однимъ словомъ сказать, было тутъ много дива, какъ сталъ мельникъ рассказывать все, что съ нимъ случилось. А между тѣмъ, противъ хаты, на улицѣ, уже и народъ началъ набираться, да заглядывать въ окна, да судачить:

— Вотъ, говорятъ, это штука, такъ ужъ штука: мельникъ простоволосый да росхристаный, безъ сапоговъ и безъ шапки, черезъ поле прямо ко вдовѣ придралъ и сидитъ теперь въ хатѣ.

— Эй! скажи ты намъ, добрый человѣкъ, а къ кому ты это такой нарядный бѣгаешь: къ старой Присѣ, или можетъ къ молоденькой Галѣ?...

Ну, тутъ, я думаю, сами вы ужъ догадались, что такую славу на бѣдную дѣвушку навести напрасно нельзя. Пришлось мельнику жениться. Да и самъ Филиппъ признавался мнѣ не одинъ разъ, что Галю вдовину всегда любить, а послѣ той ночи, какъ побывалъ въ когтяхъ у нечистой силы, да Галя его вызволила,—такая она ему стала пріятная, что ужъ его бы никто и палкой отъ нея не могъ отогнать.

Живутъ теперь на мельницѣ и ужъ дѣтвору вывели. А о шинкѣ мельникъ больше не думалъ и процентовъ

не бралъ. И когда, бывало, при немъ станетъ кто толковать, чтобы спровадить жида Янкеля къ чортовой матери изъ села, онъ только рукой махнетъ.

— А шинокъ, — спрашиваетъ у такого человѣка, — какъ вы думаете, останется?

— А шинокъ останется, — куда-жъ его дѣвать?

— А кто-жъ въ немъ сидѣть будетъ?... Можетъ, часомъ, не вы ли?

— А что-жъ, пожалуй, и я бы сѣлъ. — Такъ онъ, бывало, только свиснетъ...

XIII.

Да, такъ вотъ какая исторія случилась съ мельникомъ, — такая исторія, что и до сихъ поръ никакъ не разберешь: было это все, или этого вовсе-таки не было. Если сказать — брехня, такъ не такой мельникъ человѣкъ, чтобы брехать. Да и подсыпка Гаврило тоже еще живетъ на мельницѣ, и хоть самъ признается, что здорово былъ пьянъ въ эту ночь, а все-таки помнить хорошо, какъ мельникъ ему самъ двери отворялъ и еще Гаврило замѣтилъ, что у хозяина лицо бѣлѣе муки. И Янкель пришелъ на зарѣ, и Опанасъ пріѣхалъ домой босой и пьяный... Значить, и присниться все это мельнику — не приснилось.

Ну, а опять же и то взять: какъ же оно могло быть, когда для этого всего нужно цѣлый годъ, а мельникъ на другое утро уже къ Галѣ прибѣжалъ босикомъ: еще

видѣли и дивились, что такая за нужда мельнику, во всѣ лопатки, босому, къ дѣвкѣ черезъ поле бѣжать.

Э, лучше ужь, я думаю, и не разбирать этого дѣла. Было оно тамъ, или не было, а только вотъ что я вамъ, отъ себя уже, скажу: можетъ есть у васъ гдѣ-нибудь знакомый мельникъ, или хоть не мельникъ, да такой человѣкъ, у котораго два шинка... Да еще, можетъ, жи-довъ ругаетъ, а самъ обдираетъ людей, какъ липку,—такъ прочитайте вы тому своему знакомому вотъ этотъ рассказъ. Ужъ я вамъ поручусь, дѣло пробованное, бросить онъ, можетъ, своего дѣла и не бросить,—ну, а вамъ чарку воды поднесетъ и, хоть на этотъ разъ, водой ее не разбавитъ.

Ну, а есть и такіе люди (это тоже дѣло виданное), что какъ выслушаютъ эту исторію, такъ и начнутъ лаяться на тебя, какъ собаки. Такъ я такимъ скажу вотъ что: лайте себѣ, сколько охота, а только я вамъ по-совѣтую по правдѣ: берегитесь, какъ бы не случилось чего съ вами, какъ съ мельникомъ.

Потому что, видите ли, новокаменскіе люди не разъ послѣ того видѣли того самаго чертяку: съ тѣхъ поръ, какъ попробовалъ мельника,—уже не хочетъ вернуться къ себѣ безъ хорошей добычи... Летаетъ, какъ оставшая птица, и все высматриваетъ...

Такъ вотъ, добрые люди, берегитесь вы немного, какъ бы не случилось съ вами чего недобраго...

А пока что, прощайте! Если рассказалось что не такъ, какъ бы вамъ хотѣлось,—не взыщите съ меня, простого человѣка...

О П Е Ч А Т К И:

Стран.	Строка.	Напечатано:	Слѣдовало:
63	14 сверху	смыкая тѣни,	смывая тѣни,
75	8 "	комната была наполнена;	комната была натоплена;
105	25 "	отказъ, какъ тестъ,	отказъ, какъ шесть,
113	15 "	мы ѣдетъ.	мы ѣдемъ.
118	11—12 "	о королевнахъ Ронцвы- нахъ	о королевнахъ Ренцве- нахъ
—	3 снизу	разговоры не плелись	разговоры не клеились
120	5 сверху	звенѣли други	звенѣли дуги
277	1 "	Это былъ мѣсяцъ и два дня спустя	Это было мѣсяцъ и два дня спустя



80.5

Stanford University Libraries



3 6105 015 015 071

PG

3467

.K6.A15

1887

v.2

DATE DUE

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA
94305

